

UNIwersytet WarMińsko-Mazurski w Olsztynie
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

Acta
Polono-
Ruthenica

XIX



WYDAWNICTWO
UNIwersytetu WarMińsko-Mazurskiego
OLSZTYN 2014

Komitety Redakcyjny

Ludmiła Babienko (Jekaterynburg), Irena Chowańska (Olsztyn, sekretarz), Jan Czykwin (Białystok), Wolfgang Gladrow (Berlin), Andrzej Ksenicz (Zielona Góra), Czesław Lachur (Opole), Natalia Lichina (Kaliningrad), Joanna Mianowska (Bydgoszcz), Leontij Mironiuk (Olsztyn), Walenty Piłat (Olsztyn, przewodniczący), Irena Rudziewicz (Olsztyn), Tatiana Rybalchenko (Toms), Michał Sarnowski (Wrocław), Andrzej Sitarski (Poznań), Swietłana Waulina (Kaliningrad), Alicja Wołodźko-Butkiewicz (Warszawa)

Recenzenci

Natalia Lichina, Leonid Malcew, Joanna Orzechowska, Elena Pociachina, Irena Rudziewicz, Michał Sarnowski, Małgorzata Semczuk-Jurska

Redaktor tomu

Walenty Piłat

Redaktor wydawniczy

Elżbieta Pietraszkiewicz

Projekt okładki

Barbara Lis-Romańczukowa

Adres redakcji

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM
ul. Kurta Obitz 1, 10-725 Olsztyn
tel./fax. 89 527 58 47, e-mail: acta.pol.rut@wp.pl

ISSN 1427-549X

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego • Olsztyn 2014

Wydawnictwo UWM

ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Ark. wyd. 21; ark. druk. 18

Nakład: egz. 125. Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 441

Od Redaktora

Powinowactwa polsko-wschodniosłowiańskie wciąż fascynują literaturoznawców, językoznawców i kulturoznawców. Potwierdza to niniejszy tom „Act Polono-Ruthenica”. W całości jest to interesujący przegląd badawczy różnych aspektów wzajemnych powiązań i oddziaływań literatur, kultur i języków wschodniosłowiańskich. Tym razem prezentujemy prace slawistów polskich, rosyjskich, ukraińskich i kazachskich. Okazuje się, że również w dalekim Kazachstanie ten obszar badań nie jest obcy tamtejszym slawistom.

Jak zawsze zachęcamy do współpracy z naszym periodykiem, licząc na interesujące i nowatorskie prace.

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat

Literaturoznawstwo

Lucija Abdullina

Wschodniokazachski Uniwersytet Państwowy im. Amanżołowa
w Ust-Kamenogorsku

**О некоторых параллелях в польской
и русской поэзии XIX–XX вв.
(поэма Густава Зелинского *Киргиз* и русский перевод
Георгия Гребенщикова)**

Предметом нашего интереса в аспекте польско-казахстанских литературных соответствий выбрана поэма Густава Зелинского *Киргиз* и ее перевод русскоязычным поэтом Казахстана Георгием Гребенщиковым. В истории польской литературы Густав Зелинский (1809–1881), значится „в ряду второстепенных писателей-романтиков середины XIX века”¹, вместе с тем, исследователи его творчества отмечают, что поэма *Киргиз* имела популярность среди современников и впоследствии была переведена на несколько европейских языков. В Польше в 1956 г. вышло двадцать второе издание поэмы в оригинале.

Поэтическое наследие Г. Зелинского невелико: поэмы *Киргиз* и *Степи*, *Конь бедуина*, *Антар*. *Восточная легенда*, историческая драма *Збигнев*, ряд стихотворений. Литературный путь ограничивается периодом его пребывания в ссылке. И только благодаря одному произведению Зелинский вошел в ряд классиков. Согласно *Новому энциклопедическому словарю* Брокгауз-Ефрон, поэма *Киргиз* дала Густаву Зелинскому „место среди классиков польской литературы по непреходящей свежести, оригинальности и поэтичности как содержания, так и формы”. Автор словарной статьи отмечает: „яркие и сильные картины степной природы соответствуют столь же ярким и сильным психологически-бытовым чертам обитателей степи; столь же первобытно дика и стихийна драма, разыгрываемая среди них”². Достаточно общая характеристика романтической

¹ Я. Одровонж-Пененжек, *Пушкин и польский романтик Густав Зелинский*, [в:] *Пушкин. Исследования и материалы*, Москва – Ленинград 1958, т. 2, с. 362–368, [online] <<http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/is2/is2-362-.htm>>.

² *Новый энциклопедический словарь*, изд. Брокгауз-Ефрон, т. VIII, с. 417.

стилистики текста поэмы не раскрывает художественных достоинств произведения и практически не объясняет причины популярности поэмы среди многочисленных романтических поэм с аналогичным сюжетом и системой персонажей.

Поэма *Киргиз* появилась в Вильно (Литва) в 1842 г. и, действительно, стала заметным событием в литературной жизни Польши. Не имея доступа к архивам, остановимся только на генеалогии автора: старинный шляхетский род и дворянское происхождение Зелинского объясняют свойственный ему буквально на уровне культурно-генетического кода дух патриотизма и независимости. Известные, благодаря исследованиям Януша Одровонж-Пененжека и Фаины Стекловой факты биографии (участие в восстании против царизма, поддержка повстанцев и последовавшая ссылка) демонстрируют свободолобивую и страстную личность Зелинского. Пребывание Зелинского в сибирской ссылке (после ареста, лишения всех прав, конфискации имущества) напоминает историческую биографию русских революционеров-декабристов с насыщенной интеллектуальной деятельностью на поселении.

Зелинский почти год прожил в Тобольске, затем около семи лет – в Ишиме (1835–1842). Здесь, на чужой земле, вдали от дома, началось и в какой-то степени завершилось формирование его поэтического дарования, о чем вполне точно высказался в начале XX в. литературовед Генрих Галле: „Живой проблеск таланта Зелинского разгорелся и погас в степях киргизских”³. Что же послужило причиной и поводом к возникновению и развитию литературного дара Зелинского. Януш Одровонж-Пененжек в цитированной уже нами статье называет круг общения поэта-изгнанника: польские ссыльные Адольф Янушкевич, друг Адама Мицкевича, автор путевых заметок о Казахстане, собиратель казахского фольклора, и Онуфрий Петрашкевич, один из основателей Общества филоматов. Исследователь, анализируя круг чтения Зелинского, делает заключение о наличии тесной связи его поэмы *Киргиз* с русской романтической поэзией (*Киргизский пленник. Повесть в стихах* Н. Муравьева, *Кавказский пленник* А. Пушкина), о чем свидетельствует сходство сюжетных линий, принципы обрисовки характеров: *Киргиз* Зелинского питался идеями русской поэзии, в частности восточных, «кавказских» поэм Пушкина, Лермонтова *Мцыри*, *Измаил-Бей*⁴.

³ Цит. по кн. Т.П. Савченкова, *Ишим и литература. Век XIX-й. Очерки по литературному краеведению и тексты-раритеты*, Издательство Ишимского государственного института им. П.П. Ершова, Ишим 2004, с. 253, [online] <www.ershov.ishimkultura.ru>.

⁴ Я. Одровонж-Пененжек, *op. cit.*

Материалы личных дневников Зелинского, которые тщательно изучил Одровонж-Пененжек, дают основание критику-биографу заключать, что начинающего поэта интересовала не только этнографическая обстановка и уклад жителей степи, но их переживания и представления. Достоверность бытописанию придают и использованные поэтом обиходные слова тюркского происхождения: „чадра”, „ергак”, „курдюк”, „калым”, „кумыс” и пр., которые поясняются в словаре местных понятий и терминов, сопровождающем текст.

На то, что это было не праздное любопытство образованного аристократа, указывают прочитанные Зелинским отрывки из обстоятельного труда *Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казацких орд и степей* под заглавием *Этнографические известия* (1832), опубликованные в „Литературной газете”, которые Зелинский читает одновременно с изучением трудов по философии и социологии. Автора, очевидно, интересовала не только местная экзотика, но и сама философия свободы.

В записных книжках Зелинского этого периода есть заметки о чтении им русских журналов „Современник”, „Журнал министерства народного просвещения”, „Москвитянин”. Таким образом, литературная среда, круг чтения формируют художественный вкус и творческий интерес Густава Зелинского к этнографической экзотике, окружавшей его и питающей любопытное воображение, личные наблюдения над реалиями аульной жизни казахов, называвшихся тогда киргизами, в окрестностях Ишима выводили дворянина-чужеземца на более масштабные размышления.

Сделав именно казаха героем своей поэмы, выбрав для названия своего произведения эту нарицательную номинацию, обозначив ею в одном лице обобщенно весь народ, думается, Зелинский не ограничивался целью воссоздать романтическую атрибутику. Идея вольности и ее свободолюбивый персонаж-символ выступают предметом философско-эстетического исследования автора.

Не будем пересказывать сюжет поэмы *Киргиз* – он довольно схематичен и условен, в романтической стилистике раскрыт характер главного героя, решен конфликт поэмы, использован типовой арсенал художественных средств описания. Что же отличает поэму Зелинского от аналогичных романтических произведений и объясняет сохраняющийся интерес к ней?

Узнаваемые этнографические детали создают устойчивую атмосферу достоверности времени и пространства и переключают внимание читателей непосредственно на побег главного героя из плена как единственно

возможный для него жизненный выбор. Лирическая интонация повествования поэмы не дает описываемым событиям, монологам и диалогам превратиться в отлитые формы романтических клише.

Описания бескрайних степных просторов и безымянный герой позволяют автору вывести бытовую сюжетную коллизию на другой, философско-ментальный, уровень. Главный персонаж обозначен в поэме только нарицательно: „киргиз” в заглавии и „Всадник” в самом тексте. Далее, показывая героя среди соплеменников, радушно принимающих гостя, автор так и не наделяет его индивидуальностью – именем собственным – какое, к примеру, есть у его возлюбленной – красавица Демеля, дочь главы этого племени. Сам же глава назван тоже нарицательно: просто Бием, его личный шаман – Старцем.

В поэме автор использует все три временных плана: настоящее, будущее и прошлое. Будущее возникает в пророческой песне Старца-шамана о путешествии (своем и Бия) на коне Пелигване в небеса, где уготована гибель хозяину аула от молнии, то есть молодого гостя. Прошлое рисуется в восприятии Бия в сценах убийства и мести. Вот здесь-то герой Зелинского и совершает свой главный выбор – зная о коварном замысле отца, Всадник, из любви к Демеле, отказывается от кровной мести и уговаривает девушку бежать. Бий пускается за ними в погоню, но, не сумев догнать, устраивает степной пожар, в котором влюбленные погибают. Всадник остается свободным только вне времени и пространства.

Историей „русского” *Киргиза* занимались уже названный нами польский литературовед Януш Одровонж-Пененжек и алма-атинская исследовательница творчества Зелинского Фаина Ивановна Стеклова. Ими установлено, что в 1843 г. журнал „Денница”, издаваемый Петром Дубровским в Варшаве, представил фрагмент *Киргиза* в польском оригинале и в русском параллельном прозаическом переводе. Поэма вновь привлекла к себе внимание русских переводчиков в 1872 г.: в журнале „Дело” НД. [В.И. Немирович-Данченко] поместил *Отрывок из поэмы „Киргиз” (С польского)*, сопроводив „примечанием переводчика”, в котором, между прочим, говорится: „Прекрасная польская поэма *Киргиз*, окончание которой мы перевели, давно известна всем любителям славянской поэзии”⁵.

В 1910 г. товарищество „Бытовая Сибирь” в Томске издало полный перевод поэмы на русский язык, который сопровождался этнографически

⁵ Ф.И. Стеклова, *Густав Зелинский – автор поэмы „Киргиз”*, [в:] *Филологический сборник*, Алма-Ата 1963, вып. 2, с. 196–209.

точными рисунками художников Г. Гуркина и В. Белослюдова. Переводчик – Георгий Дмитриевич Гребенщиков, уроженец Восточного Казахстана, популярный в 1910–20-х гг., большую часть жизни провел за рубежом, многие его произведения на родине не издавались.

Гребенщиков в предисловии к своему переводу писал: „Чуткий и талантливый автор поэмы *Киргиз* – польский поэт Густав Зелинский, бурю событий 1831 года заброшенный к нам в Сибирь, а затем и в Киргизские Степи, окружая романтический сюжет своей поэмы столь разнообразной и узорчато-нежной рамкой из душистых и живых цветов степной жизни, будто знал, что в наши дни она не даст уже ни тех ярких образов, ни тех звучных мелодий, какие вдохновляли поэта еще так сравнительно недавно. Обширный и оригинальный мир кочевника киргиза, еще недавно находившийся в полном расцвете поэтической воли – быстро на наших глазах начинает блекнуть [...]”⁶.

Несколько слов о Гребенщикове: изучать историю и культуру Степи он начал как этнограф и фольклорист, занимался собиранием и литературной обработкой легенд, притчей, сказок. Биографы Гребенщикова вполне обоснованно утверждают, что с переводом поэмы Зелинского *Киргиз* мотивы казахской степи прочно входят в творчество Г.Д. Гребенщикова. В предисловии к своему переводу он четко формулирует свою авторскую позицию: „Пройдет еще немного лет и полная поэзии кочевая жизнь превратится в скучную прозу безропотной ноши мужицкого ярма, под тяжестью которого уже не воскреснут смелые взмахи минувшей удали, и умрут последние воспоминания о былых красотах степного простора”⁷.

Так же, как и Зелинский, Гребенщиков пишет много публицистических работ и этнографических очерков, в которых рассказывает историю Степи. Созданные им реалистически достоверные образы степняков формируют индивидуальную стилистику его художественного наследия. Лучшим произведением Гребенщикова „из жизни киргиз” является отчасти автобиографическая повесть *Ханство Батырбека*, впервые изданная почти в то же время, что и работа над переводом *Киргиза* – в 1912 г.

Гребенщиков был потомком хана-кочевника по имени Тарлыкан или Тарухан, о чем с нескрываемой гордостью писал в своей биографии, а в эмиграции подтвердил выбором для себя изотерического имени Тарухан. Любовь к казахской степи с вольной жизнью ее обитателя подкупает своей

⁶ Цит. по кн. Т.П. Савченкова, *Ишим и литература...*

⁷ Г. Зелинский, *Киргиз. Поэма*, перевод с польского Г. Гребенщикова, Томск 1910, с. 3.

искренностью читателя в повестях и рассказах: *Болекей-ульген, Ханство Батырбека, На Иртыше, В тиши степей, Степные вороны*. Отражая в них реальные процессы в национальных окраинах царской России, Гребенщиков не акцентирует на социальном аспекте жизни казахов – он решает конфликты Степи в общечеловеческом масштабе. Впоследствии оказавшись после революции за границей, писатель продолжает писать о судьбе Степи, пытаясь найти решение ее сложных проблем. Крайнее выражение противоречий Евразии – военные столкновения, расправы – предмет художественных исследований Гребенщикова в начале 30-х гг. В 1933 г., работая в Соединенных Штатах Америки, он пишет стихотворение в прозе о киргизском народе: „О, киргиз, киргиз! Замкнутого небом степи тебя не знает мир. Всадник от рождения, богатырь-певец от колыбели, в погонях и набегах храбрец, непокорный пленник и учтивый гость, щедрый хозяин, гостеприимный даже для врага, не прощающий ничьих неправых оскорблений кровавый мститель, – ты, киргиз, не вероломен в рыцарской любви. И хоть от времен творения женщина для тебя – рабыня – она же для тебя и божество, священная причина радости земного бытия и символ достижений бытия загробного. Лишь своей верностью к возлюбленным киргизские богатыри стяжали и непобедимость и бессмертие”⁸. Мы не случайно привели весь текст стихотворения, чтобы иллюстрировать неслучайность этой темы в контексте творчества Г.Гребенщикова, а началась эта тема в связи с переводом поэмы Зелинского.

Впоследствии Георгий Гребенщиков издал полный стихотворный перевод *Киргиза*; в предисловии к своему изданию, говоря о Зелинском, этом, по его словам, „чутком и талантливом... польском поэте”, „бурею событий... заброшенном к нам в Сибирь, а затем и в киргизские степи”, Гребенщиков писал: „Впервые прослушав «Киргиза», я невольно полюбил его и искренно пожалел, что наша литература не только не имеет его в переводе, но почти и не знает о нем, и только поэтому, несмотря на свои скромные силы, я рискнул дать «Киргиза» в русском переводе”⁹.

Называя свои силы „скромными”, поэт скорее пытался объяснить выбранную им манеру перевода, не адекватную оригиналу с точки зрения строфики и размера. Что же имел в виду Гребенщиков, назвав Зелинского „чутким и талантливым польским поэтом”? На наш взгляд, перевод Гребенщикова точно передает этнографический колорит и ритмику не

⁸ Г. Гребенщиков, *Сто племен с единым. Churaevka*, Southbury Conn. 1933.

⁹ Г. Зелинский, *Киргиз. Поэма...*

польского источника, но напрямую самого предмета вдохновения Зелинского: „Степь, степь, родная степь”.

При описании побега юноши Гребенщиков добавляет к характеристике Зелинского штрихи-детали, понятные поэту, выросшему в степи, для которого „тоска унылая” находится вдали от степи вольной в „юртах каменных”. Поэт-переводчик мыслит образами степняка: показывая, что человек и конь, оба „беглеца”, вырвавшись, мчатся „без дорог – по зову сердца. /На простор степей родимых [...] Гладь степная бездорожна /И Джигит, как в детстве раннем, /Путь искал по звездам неба”¹⁰.

Природа, как и подобает фольклорным образам и романтическим канонам, «сочувствует» героям: „И, качнувшись, вслед кивают /Им цветы, всплакнув росой.../И, загладив след побега. /Дремлет вновь трава степная – /И молчит, скрывая тайну”.

Романтическая стилистика во всем: степные мотивы, образ юноши-киргиза – „вольного сына степей”, образы беркута и коня, неизменных путников казаха-степняка.

Период создания поэмы-перевода отмечается активными поисками Гребенщиковым жанровых форм самовыражения, поскольку просветительская и романтическая традиции не отвечают запросам времени и, в первую очередь, не дают ответов на вопросы самого автора. В публицистике, пишет ряд этнографических очерков. „Века и тысячелетия плелась степная сказка мирных кочевых аулов. Тысячелетия одни и те же ковыли, изредка сгорая, вновь своими шепотами убаюкивали тишину давно уснувших здесь легенд. Приходили, уходили племена, проходили мимо, проносились буйным ураганом вооруженные полки завоевателей и снова на столетия все засыпали, чтобы в мирной жизни кочевых народов медленно слагалась бы и утверждалась новая легенда”¹¹.

И эти напевы очень близки самому автору: „О, киргизские напевы. /Сердцу близкие мотивы!”. Степные напевы пронизаны любовью к родине: „К степи руки простирая.../Жадно пил он степи воздух”. Звучит в тексте гребенщиковского перевода сокровенная мысль, которую он неоднократно высказывает и в своих очерках: киргизы не привыкли никому покоряться, и авторская тревога в поэме интонирована в поэме в исторической перспективе:

¹⁰ Т.П. Савченкова, *Ишим и литература...*

¹¹ Г. Гребенщиков, *op. cit.*

О, отцы степей седые.
Старины святой кумиры.
Долго ль будут жить напевы.
Что и ваш покой ласкают?..

О том насколько удалось Гребенщикову передать исконный дух и природу свободолюбивой природы казаха, убедительно иллюстрирует, на наш взгляд, факт перевода в 1964 г. А. Ахметовым поэмы Г. Зелинского на казахский язык с издания Г.Д. Гребенщикова 1910 г. В то самое время, в этом же году, в Казахстане вышла *Степь* Г. Зелинского, переведенная Ю.И. Черницко-Ановой и Т. Жароковым с польского издания 1956 г.

Русский перевод, сделанный Г. Гребенщиковым, вызывает, на наш взгляд, интерес не столько в плане его адекватности тексту-источнику, сколько наличием сходства в авторской позиции двух поэтов. Польского поэта середины XIX века Г. Зелинского вдохновила на творчество колоритная фигура и личность киргиза в ореоле романтического интереса к экзотике быта. Детально выписанный этнографический план поэмы позволяет сделать предположение об авторской задаче установить природу целеустремленной натуре своего персонажа, мотивы его поступков, вопреки всяким запретам. В известной степени руссоистский дискурс судьбы юноши-киргиза углубляется за счет параллели самой идеи свободы/несвободы с авторской биографией. Положение ссыльного поэта обостряет восприятие и личную трактовку самой идеи свободы, именно это придает вполне расхожему романтическому сюжету поэмы Зелинского жизненную силу и достоверность и именно этим привлекает внимание переводчиков и исследователей. Этот же факт, по нашему мнению, объясняет и „конец” литературной биографии автора после окончания его ссылки и возвращения на родину.

Гребенщикова, поэта совершенно другой исторической эпохи и ментальности, также привлекала личность главного героя как субъекта художественного исследования. Внутренняя свобода юноши-киргиза, которую сумел передать польский поэт, нашла самый искренний отклик в поэтической душе Гребенщикова. Вдохновленный текстом Зелинского, русский поэт создает свой вариант перевода, т.е. такой, в котором не ставится задача максимально передать содержание текста-источника. Не случайно в томском издании поэмы Зелинского (1910) отмечается, что „перевод Гребеньщикова не блещет большими поэтическими достоинствами”. Рецензент указанного издания сравнивает: в поэме Зелинский

„красивым, звучным стихом передает природу и жизнь степи”, а „перевод, сделанный белыми стихами, страдает метрическими и стилистическими погрешностями”¹².

Гребенщиков, свободно владеющий казахским языком и хорошо знающий жизнь и быт своих земляков, мог создать оригинальное художественное произведение, основанное на собственном видении ситуации без опоры на текст-первоисточник. Но Гребенщикову понадобилась отсылка к польскому автору благодаря как бы удвоенному результату в решении концептуального эстетического вопроса.

Мы считаем вполне обоснованным сделать следующие замечания относительно обнаруженных параллелей в польской и русскоязычной поэзии Казахстана. Прежде всего, интерес обоих писателей к быту и культуре неродного народа продиктован этнографической экзотикой, восходящей к характерной для времени Зелинского романтической традиции. Для поэта-переводчика Гребенщикова, генетическими корнями уходящего в родословную историю казахского (киргизского) народа, этот интерес многократно возрастает. Однако и того, и другого литератора волнует общечеловеческий и философский смысл поступка, действия свободной личности. В аспекте авторской идентичности исключительно важной является проблема, насколько ограничивает свободу личности любая форма цивилизации, и этот вопрос оба поэта решают в границах авторской эстетики.

Streszczenie

O wybranych paralelach w polskiej i rosyjskiej poezji XIX–XX w. (poemat Gustawa Zielińskiego „Kirgiz” i rosyjskie tłumaczenie Georgija Griebienuszczikowa)

W niniejszym artykule przeprowadzone zostały artystyczne paralele między poematem *Kirgiz* autorstwa polskiego poety okresu romantyzmu G. Zielińskiego z jego rosyjskim tłumaczeniem przez kazachstańskiego dwudziestowiecznego poetę-etnografa G. Griebienuszczikowa. Analizie poddano także kwestię etnograficznej fascynacji egzotyką życia. Idea wolności, którą w utworze ucieleśnia młody Kirgiz, zainspirowała obu poetów. Romantyczna tradycja, liryczna swoistość tekstów zyskują autentyczność dzięki etnograficznym realiom stepowego krajobrazu.

¹² „Правительственный вестник”, № 11, 15 января 1911 г.

Summary

*Parallels in the Polish and Kazakhstan Russian-speaking poetry of the XIX–XX centuries:
G. Zelinsky and G. Grebenshchikov*

In this article on a material of the poem *Kyrgyz* of the Polish poet of the XIX century G. Zelinsky and its Russian translation by the Kazakhstan writer-ethnographer of the XX century G. Grebenshchikov the creative nature of the ethnographic interest is researched. The idea of freedom embodied in the image of young Kyrgyz inspired both artists. The romantic color and lyrical identity of the texts find realistic dimensions due to the ethnographic realities of a steppe landscape.

Key words: romanticism, literary tradition, motives of a liberty, ethnographic color.

Daria Ambroziak
Uniwersytet Opolski

Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich memuarystek XIX wieku

Uwarunkowania historyczne, w jakich na przestrzeni wieków znajdowała się Polska i Rosja, sprawiły, że losy ich mieszkańców wzajemnie się przenikały i krzyżowały, co niejednokrotnie stawało się inspiracją dla twórców. W badaniach komparatystycznych problemowi literackich powiązań polsko-rosyjskich poświęcono już wiele uwagi, aczkolwiek koncentrowała się ona zwykle na twórczości pisarzy bardziej znanych. Skutkiem tego poza polem zainteresowań badawczych pozostały dokonania autorów drugoplanowych, w tym kobiet-pisarek XIX stulecia. Jak mogliśmy się przekonać, wniosły one wiele cennych treści wzbogacających naszą wiedzę o dialogu kultur dwóch narodów. Niektóre aspekty tego dialogu odsłania rosyjska memuarystyka XIX wieku¹.

Badacz literackich stosunków polsko-rosyjskich, Jan Orłowski, zauważa, że „[...] w Cesarstwie uwidoczniła się wówczas [po kongresie wiedeńskim – D.A.] swoista fascynacja kulturą polską (tym tłumaczy się chociażby wielka popularność Mickiewicza wśród ówczesnych Rosjan), a język polski – jak zauważył w swoim czasie Tomasz Kozłowski – «znów stał się jednym z najpopularniejszych języków obcych w Rosji»”².

¹ Kwestie literackich stosunków polsko-rosyjskich podejmowali m.in.: R. Łużny, *Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII–XVIII wieku*, „Zeszyty Naukowe UJ. CXLII. Prace Historycznoliterackie”, z. 11, Kraków 1966; B. Białokozowicz, *Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku*, Książka i Wiedza, Warszawa 1971; *Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu*, pod. red. B. Galstera i J. Kamionkowej przy współudziale A. Piorunowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973; B. Galster, *Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa*, PWN, Warszawa 1987; J. Orłowski, *Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do 1917*, WSiP, Warszawa 1992; W. Laszczak, *Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku*, Wyd. WSP, Opole 1993; W. Laszczak, *Ślady polskie w rosyjskiej literaturze kobiecej XIX wieku*, [w:] *Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego*, pod red. D. Piwowarskiej, E. Korpały-Kirszak, Wyd. UJ, Kraków 2010.

² J. Orłowski, op. cit., s. 54.

O sympatii, jaką polski wieszcz cieszył się w kręgach rosyjskiej inteligencji, czytamy we *Wspomnieniach o Puszkynie* (*Воспоминания о Пушкине*, 1859) Anny Kern (1800–1879), której Puszkini poświęcił słynny erotyk *Do*** (K***)*, nazywając ją „гений чистой красоты”. Autorka wspomnianych memuarów ukazuje obraz życia utalentowanej młodzieży lat 20. i 30., skupionej wokół osoby Aleksandra Puszkina. Wspomina lata spędzone w Petersburgu, przyjaźń z rodzeństwem autora *Eugeniusza Oniegina* oraz udział w wieczorach literackich organizowanych przez Antona Delwiga. W domu tego poety dwa razy w tygodniu odbywały się spotkania, w których uczestniczyli muzycy Siergiej Golicyn i Michaił Glinka oraz przyjaciele gospodarza z czasów nauki w liceum w Carskim Siole: Aleksander Puszkini, Walerian Langer, książę Dmitrij Eristow, Michaił Jakowlew, Siergiej Komowski, Aleksiej Iliczewski³. W wieczorach tych uczestniczył także zaprzyjaźniony z Delwigiem Adam Mickiewicz, który od roku 1827 ponownie jako zesłaniec przebywał w Petersburgu. Autorka dosyć ogólnie pisze o sympatii i szacunku, jakim Mickiewicza obdarzali zarówno Puszkini, jak i Delwig, nie przywołując jednak żadnych szczegółów, co wydaje się sugerować, iż przekazywane informacje mogą być jedynie zasłyszane: „Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвиг его уважали и любили”⁴. Bardziej rozbudowaną charakterystykę autora *Pana Tadeusza* prezentuje memuarystka wtedy, gdy odwołuje się do własnych spostrzeżeń i przeżyć. Kreśląc portret polskiego wieszca, Kern koncentruje się głównie na ukazaniu go jako człowieka o wielu przymiotach. Według niej Mickiewicz to miły, życzliwy, czarujący i pełen uroku osobiste go uczestnik spotkań literackich organizowanych przez barona Delwiga. W ten sposób otrzymujemy subiektywny, ciepły i zarazem emocjonalny obraz poety, który pokazuje, z jakim uwielbieniem ta młoda Rosjanka patrzyła na polskiego romantyka⁵.

На вечера к Дельвику являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. [...] Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приносивался ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого⁶.

³ A. Kern, *Воспоминания о Пушкине*, „Азбука-классика”, Санкт-Петербург 2010, s. 56–57.

⁴ Ibidem, s. 58.

⁵ Podobnie jak wielu innych uczestników spotkań u Delwiga, także i sam Adam Mickiewicz okazywał szczególne zainteresowanie osobie Anny Kern – por.: *Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь*, pod red. П.А. Николаева, „Советская энциклопедия”, т. 2, Москва 1992, s. 529.

⁶ A. Kern, op. cit., s. 57–58.

Te uczucia sympatii w stosunku do polskiego poety nie były odosobnione, gdyż – jak wiadomo – Mickiewicz zawsze budził szacunek i uznanie Rosjan. Wśród elit intelektualnych niezwykle zainteresowaniem i popularnością cieszyła się także jego twórczość. Kern wspomina, iż na jednym ze spotkań u Delwiga prezentowano tłumaczenie na język rosyjski poematu lirycznego polskiego wieszczą pod tytułem *Farys*. Autorem przekładu był Rosjanin, Litwin z pochodzenia, dziennikarz i poeta Wasilij Szczastny (1802–1854)⁷. Przełożony przez młodego twórcę utwór spotkał się z uznaniem wszystkich obecnych wówczas na wieczorze literatów. Zyskał on też przychyłność samego Delwiga. Memuarystka wydarzenie to wspomina w następujący sposób:

Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам *Фариса*, переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей⁸.

W ocenie wysiłku translatorskiego Szczastnego niebagatelną rolę odegrał utwór wieszczą, a także sympatia, jaką się wówczas cieszył, co w połączeniu z niewielkimi umiejętnościami i talentem poetyckim samego Szczastnego mogło wywołać właśnie taką reakcję Delwiga.

W postępowych kręgach rosyjskich pisarzy twórczość Mickiewicza wzbudzała zainteresowanie nie tylko za życia autora *Dziadów*, ale także w latach późniejszych. Przykładem tego jest przygotowywanie publikacji jednego z jego utworów w czasopiśmie „Sowriemiennik”, o czym pisze Awdotia Panajewa (1820–1893) we *Wspomnieniach* (*Воспоминания*, 1889). Przywołuje ona spotkanie z roku 1861, w którym uczestniczyła wraz z Nikołajem Niekrasowem i zaproszonymi gośćmi: Michaiłem Michajłowem (1829–1865) i Zygmuntem Sierakowskim (1826–1863). Michajłow był rosyjskim pisarzem i tłumaczem, działaczem rewolucyjnym skazanym na katorgę i dożywotnie zesłanie na Syberię

⁷ W. Szczastny tłumaczył także fragmenty dramatu Józefa Korzeniowskiego pod tytułem *Aniela*, które drukowane były w roku 1830 na łamach czasopisma „Litieraturnaja Gazieta” – por. *Literatura rosyjska*, pod red. M. Jakóbca, t. 2, PWN, Warszawa 1971, s. 132–133. Ponadto dokonał przekładu *Sonetów krymskich* Mickiewicza. Oprócz działalności poetyckiej i translatorskiej Szczastny zajmował się także dziennikarstwem. Współpracował m.in. z czasopismem „Siewiernyje Cwity”, był sekretarzem periodyku „Litieraturnaja Gazieta” w czasie, gdy funkcję redaktora pełnił Delwig. Szerzej A.M. Гордин, *Примечания*, [w:] A. Керн, op. cit., s. 327.

⁸ A. Керн, op. cit., s. 58.

⁹ *Słownik pisarzy rosyjskich*, pod red. F. Nieuważnego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, s. 252.

za przygotowanie (wraz z Nikołajem Szełgunowem) i druk ulotki rewolucyjnej *Do młodego pokolenia*⁹. Bazyli Białokozowicz powiedział o nim, iż „Był wielkim przyjacielem Polaków i rzecznikiem wspólnej walki z caratem”¹⁰.

Zygmunt Sierakowski, którego Panajewa zapamiętała jako człowieka „с большими серыми глазами, смотревшими очень серьезно”¹¹, to patriota, świetlana i jednocześnie tragiczna postać w historii polskiego ruchu wolnościowego. W ciągu całego swojego życia służył ojczyźnie i walczył o jej dobro, czego dowodem była podwójna rola, w jakiej występował. Z jednej strony był oficerem sztabowym w armii rosyjskiej, pracował w ministerstwie wojny, z drugiej prowadził działalność konspiracyjną na rzecz Polaków, aby ostatecznie przejść na stronę powstańców, stając się jednym z dowódców (pseudonim Dołęga) powstania styczniowego na Litwie. Za swoją działalność został stracony w Wilnie w czerwcu 1863 r. z rozkazu Michaiła Murawjowa „Wieszatiela”¹². Sierakowski, przebywając w Petersburgu, angażował się także w działalność publicystyczną i redakcyjną, współpracował z polskojęzyczną gazetą „Słowo” wydawaną przez Józafata Ohryzkę oraz z pismem „Sowriemiennik” redagowanym przez Nikołaja Czernyszewskiego, Nikołaja Niekrasowa i Nikołaja Dobrołubowa¹³. Podczas spotkania w redakcji Niekrasow poprosił Sierakowskiego o przeczytanie przygotowanego przez niego tłumaczenia jednego z utworów Mickiewicza oraz o przytoczenie oryginalnej wersji tego tekstu. Wówczas to na obecnych Sierakowski zrobił duże wrażenie, gdyż deklamował wiersz w języku polskim z ogromnym zaangażowaniem, które widoczne było zarówno w wyrazie twarzy, jak i w drżącym ze wzruszenia głosie. Pełna ekspresji recytacja i podniosła atmosfera, którą stworzył młody oficer-patriota, sprawiły, że okoliczności tego spotkania głęboko zapisały się w pamięci Panajewej. Tak oto autorka wspomina tę sytuację:

Се[раков]ский совершенно преобразился, когда стал читать стихи по польски: глаза его сверкали, голос дрожал от волнения. После прочтения стихов он сказал: „Русский язык беден, чтобы передать всю мощь стиха Мицкевича”,

¹⁰ Cyt za: *Słownik pisarzy rosyjskich*, pod red. F. Nieuważnego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, s. 252.

¹¹ А. Панаева, *Воспоминания 1824–1870*, 4 изд., под ред. и с примечаниями К. Чуковского, „Academia”, Москва – Ленинград 1933, s. 503.

¹² Szerzej na temat historii życia i działalności S. Sierakowskiego: A. Kijas, *Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny*, PAX, Warszawa – Poznań 2000, s. 319; *Polski słownik biograficzny*, Polska Akademia Umiejętności, Warszawa – Kraków 1996, t. XXXVII, z. 2, s. 318–321.

¹³ *Polski słownik biograficzny...*, t. XXXVII, z. 2, s. 319.

и добавил выразительным тоном, что „нация, которая может создавать таких поэтов, как Мицкевич, могуча, и никто не в силах подавить ее, она воспрянет еще прекраснее и сильнее, закалившись в страданиях”¹⁴.

Sierakowski, odwołując się do słów wieszczka, wyraża wiarę w siłę narodu polskiego, która sprawi, że nie podda się on w walce z zaborcą i faktem stanie się odrodzenie potężnej, niezależnej ojczyzny. Tym samym autor przekładu daje wyraz swemu patriotyzmowi i zaangażowaniu, pokazując jednocześnie, że poezja Mickiewicza dodawała odwagi i miała moc rozbudzania nadziei na zwycięstwo kolejnym pokoleniom Polaków. W wypowiedzi Sierakowskiego słychać także echa poglądu upowszechnianego w kręgach konspiratorów skupionych w Kole Oficerów Polaków w Petersburgu, mówiącego o potrzebie prowadzenia walki o niepodległość z wykluczeniem współpracy z Rosją¹⁵.

Tak przychylnych opinii nie znajdziemy w wypowiedziach rosyjskich memuarystek na temat innego pisarza, zruszczonego Polaka Tadeusza Bułharyna (1789–1859), który w czasach swej wczesnej młodości walczył u boku Napoleona przeciwko Rosji, a od 1819 r. zamieszkał na stałe w Petersburgu i aktywnie działał na rzecz literatury i publicystyki rosyjskiej. Początkowo współpracował z postępowymi pisarzami i działaczami, angażując się w ruch dekabrystowski, jednak po klęsce zrywu niepodległościowego z roku 1825 i upadku powstania listopadowego zrezygnował z poprzednich kontaktów i opowiedział się po stronie władz, popierając tym samym ustrój autokratyczny¹⁶. Wybory, jakich wówczas dokonywał Bułharyn, oraz prowadzona przez niego działalność literacka i redaktorska wywoływały ostry sprzeciw ze strony opozycyjnych środowisk literackich, czemu dała wyraz w swoich memuarach Panajewa. Przywołuje ona okoliczności swego spotkania z Bułharynem, które miało miejsce w latach 40. w domu Wasilija Mierzewicza (1814–1849), jego przyjaciela i zwolennika, literata, redaktora pisma „Ведомости Петербургской городской полиции”:

Я имела также случай видеть некоторых лиц, не принадлежавших к литературному кружку Белинского, например, [Ф.В.] Булгарина, на которого большинство литераторов смотрело как на проклятого, гнушаясь с ним кланяться на улице, а тем более быть с ним в одном обществе¹⁷.

¹⁴ A. Панаева, op. cit., s. 503–504.

¹⁵ *Wybitni Polacy XIX wieku. Leksykon biograficzny*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 100.

¹⁶ Z. Mejszutowicz, *Powieść obyczajowa Tadeusza Bułharyna*, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 11–24.

¹⁷ A. Панаева, op. cit., s. 164.

Zaprezentowane tu krytyczne opinie pod adresem Bułharyna (znienawidzonego również przez Polaków za renegactwo) nie mają charakteru jednostkowej oceny, lecz są głosem całego środowiska literackiego skupionego wokół krytyka i filozofa Wissariona Bielińskiego. To nieprzychylnie nastawienie do autora powieści *Iwan Wyżygin* było wynikiem dezaprobaty zarówno dla jego pracy wydawniczej i dziennikarskiej (ze względu na wrogość w stosunku do programu „szkoły naturalnej”), jak i prezentowanej dwuznacznej postawy moralnej. Niewybaczalna dla tego środowiska była uległość Bułharyna wobec władzy i współpraca z III Oddziałem tajnej policji, z której to działalności – jak twierdzi Bohdan Galster¹⁸ – czerpał wymierne, choć nie finansowe, korzyści. W tym kontekście nie dziwią negatywne zachowania i swoisty ostracyzm, z jakim się spotykał, o czym pisała Panajewa.

Memuarystka, powołując się na Wasilija Mierzewicza, wydobywa także z pamięci zasłyszane negatywne opinie na temat jego prywatnego życia. Mówi o problemach rodzinnych i finansowych redaktora pisma „Siewiernyj Archiw”, wskazuje na atmosferę obcości, panującą w jego domu i trudne relacje z żoną:

Мне рассказывал Межевич, что Булгарин в своей семейной жизни был точно чужой, как хозяин дома не имел никакого значения, сидел всегда у себя в кабинете. Его жена немка и ее тетка распоряжались по своему произволу домом, детьми, деньгами. Булгарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы, а все доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщательно скрывал от жены свои мелкие доходы, получаемые от фруктовых магазинов, лавочек и винных погребов, восхваляемых им в своей газете¹⁹.

Wypowiedź ta częściowo wyjaśnia przyczyny szczególnej dbałości Bułharyna o utrzymanie za wszelką cenę redagowanych przez niego czasopism i ostrą walkę z konkurencją. Można uznać ją także za chęć zdyskredytowania tego bardzo zaradnego i rzutkiego redaktora „Syna Ocieczestwa”. Słabość charakter, według Zofii Mejszutowicz, była jedną z przyczyn jego oportunistycznego: „Bułharyn, aczkolwiek człowiek przedsiębiorczy i dynamiczny, był wcieleniem kompromisu, przystosowania się do okoliczności”²⁰.

Antypatię Panajewej w stosunku do Bułharyna obserwujemy także w opisie jego wyglądu zewnętrznego. Znamienne jest, że zarówno w powierzchowności redaktora pisma „Siewiernaja Pczela”, jak i w barwie głosu czy sposobie

¹⁸ B. Galster, op. cit., s. 54–60.

¹⁹ А. Панаева, op. cit., s. 165–166.

²⁰ Z. Mejszutowicz, op. cit., s. 25.

wypowiadania się zauważa ona jedynie cechy negatywne, nieprzyjemne, a nawet odrażające.

Черты его лица были вообще непривлекательны, а гнойные, воспаленные глаза, огромный рот и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был грубый, отрывистый; говорил он нескладно, как бы заикался на словах²¹.

Fakt niedostrzegania żadnych ujmujących cech w wyglądzie wpisuje się w całościowy negatywny obraz Bułharyna przedstawiony we *Wspomnieniach* i jednocześnie jest odzwierciedleniem krytycznego stosunku ówczesnych elit intelektualnych do tej postaci.

Wiele nieprzychylnych uwag pod adresem Polaków odnajdziemy też w *Zapiskach* (Zanucki, 1893–1895) Aleksandry Smirnowej z domu Rosset (1809–1882), damy dworu imperatorowej Marii Fiodorowny, a od 1828 r. Aleksandry Fiodorowny, żony cara Mikołaja I. Memuarystka krytycznie wypowiada się na temat moralności Polaków, wytykając im takie wady, jak: skłonność do przekupstwa i skandali, próżniactwo, zamiłowanie do balów i karcianego hazardu. Ponadto w stwierdzeniach tej autorki dostrzegamy negatywny stosunek do „sprawy polskiej”, o czym świadczy m.in. radość, jaka ogarnia ją pod wpływem wieści o klęsce powstania listopadowego i zdobyciu przez Rosjan Warszawy. Jak widać, jej punkt widzenia zbieżny był z oficjalnym stosunkiem kół dworskich, które przecież reprezentowała. Wśród fragmentów wspomnień tematycznie związanych z polskością odnajdujemy też nieliczne przykłady prezentujące jej pozytywne nastawienie do Polaków, choć należy podkreślić, iż – w odróżnieniu od poprzednio przytoczonych tu faktów odnoszących się do moralności lub problemów politycznych – dotyczą one przede wszystkim osobistych kontaktów i przyjaźni Smirnowej²². W *Zapiskach* odnotowujemy nazwisko starego magnackiego rodu Radziwiłłów. Z tą linią spokrewniona była Stefania (1809–1832), córka pułkownika Dominika Radziwiłła (1786–1813), która wyszła za mąż za Ludwika Wittgensteina (właśc. Ludwig Adolf Friedrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, 1799–1866), rosyjskiego arystokratę niemieckiego pochodzenia²³. Była ona przyjaciółką Aleksandry Rosset z czasów nauki w Jekateryninskim Instytucie

²¹ А. Панаева, op. cit., s. 165.

²² W. Laszczak, *Ślady polskie w rosyjskiej literaturze kobiecej XIX wieku*, [w:] *Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego*, pod red. D. Piwowarskiej, E. Korpały-Kirszak, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 87.

²³ S. Cat-Mackiewicz, *Dom Radziwiłłów*, Universitas, Kraków 2012, s. 412.

w Carskim Siole. Obie panie łączyła duchowa bliskość, zwierzenia, wspólnie spędzany czas. W memuarach Smirnowej poznajemy też opowieść o innej Polce – Tekli Walentynowicz (1801–1873), znanej ze swej niezwyklej urody i bardzo zaradnej w sprawach matrymonialnych, nadto cieszącej się licznymi koneksjami i wpływami w kręgach dworskich. Dość powiedzieć, że więzy małżeńskie łączyły tę szlachciankę z ostatnim faworytem Katarzyny II, Płatonem Zubowem (1767–1822), a o jej względy zabiegał sam sekretarz stanu do spraw polskich w Warszawie Mikołaj Nowosilcow²⁴. Należy jednak stwierdzić, że w tym przypadku wypowiedzanie przez Smirnową pochlebnych sądów na temat Polek nie wymagało od niej ani trudu, ani nie nosiło znamion niesubordynacji z tego względu, że były one związane z dworem i przejawiały lojalność, a nawet służalczość względem cesarza Rosji.

Zdecydowanie pozytywny wizerunek Polaka przedstawia w swoich *Wspomnieniach* Polina Annienkowa (Paulina Geuble, 1800–1876; *Воспоминания*, 1888), Francuzka, córka napoleońskiego generała, która, kierując się miłością, zdecydowała się na życie u boku dekabrysty Iwana Annienkowa. Dzięki jej opowieściom poznajemy Stanisława Leparskiego (1754–1837), Polaka z pochodzenia, który losy swe związał z Rosją, służąc w armii rosyjskiej. Od 1826 r. był komendantem obozu na Syberii, w którym przebywali uczestnicy powstania dekabrystów²⁵. Memuarystka ukazuje Leparskiego jako szlachetnego człowieka, świetlaną postać opromieniającą swą dobrocią szare dni trudnego obozowego życia. Mimo iż był w obozie przedstawicielem władzy carskiej, to jednak wykazywał się swoistym liberalizmem w egzekwowaniu obozowych przepisów, kierując się przede wszystkim szacunkiem do człowieka i jego potrzeb. Odznaczał się także szczególną empatią i życzliwością zarówno w stosunku do dekabrystów, jak i przybyłych do nich żon, które – zgodnie z ówczesnym prawem²⁶ – traciły wszystkie dotychczasowe przywileje i godności przynależne do ich stanu. Komendant obozu wspierał kobiety w ich codziennym życiu, pomagał w urządzaniu mieszkań, był wyrozumiały i prostoduszny²⁷. Swoją postawą ży-

²⁴ Szerzej na ten temat pisałam w artykule: *Polonica w „Zapiskach” Aleksandry Osipowny Smirnowej*, „Studia i Szkice Sławistyczne. Literatura – Kultura – Język”, pod red. B. Kodzisa, Opole 2000, s. 9–16.

²⁵ *Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna*, Wyd. Gutenberga, t. 9, Kraków 1930, s. 49.

²⁶ Maria Wołkońska w swoich memuarach prezentuje treść zobowiązania, które musiała podpisać każda kobieta podążająca w ślad za mężem na Syberię. W myśl tego dokumentu utraci ona swój status, będzie traktowana tak jak żona zesłańca, musi znosić wszystkie związane z tą sytuacją trudności, nie mogąc liczyć na pomoc i ochronę ze strony władz – por. М.Н. Волконская, *Записки*, „Молодая Гвардия”, Москва 1977, s. 33.

²⁷ D. Ambroziak, *Losy dekabrystów w świetle „Wspomnień” Poliny Annienkowej*, „Studia i Szkice Sławistyczne”, t. XI: *Na pograniczu nauk i kultur. Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi*

ciową i otwartością na drugiego człowieka zjednywał sobie życzliwość i sympatię więźniów. Dzięki temu mniej ważna stawała się pełniona przez niego funkcja, a podstawową wartością było zrozumienie i współczucie dla niesprawiedliwie osadzonych na syberyjskim zesłaniu. Tym samym Annienkowa sugeruje, że można stać na straży wartości niezależnie od zajmowanego stanowiska, okoliczności życiowych, miejsca, narodowości.

W *Pamiętniku* (Zanucku, 1904) innej memuarystki, Marii Wołkońskiej (1805–1863), żony dekabrysty księcia Sergieja Wołkońskiego, towarzyszącej mężowi podczas pobytu na zesłaniu, także spotykamy życzliwie przedstawiony obraz Polaka. Był nim Michał Rukiewicz (1796–1841), szlachcic, były żołnierz walczący w armii napoleońskiej, Filomata, a następnie członek Związku Filaretów, który za udział we współpracującym z dekabrystami Towarzystwie Przyjaciół Wojskowych został aresztowany i skazany na śmierć. Wyrok ten następnie zamieniono na dziesięć lat katorgi. Karę odbywał w Irkucku, a później w Czycie i tu, w środowisku więźniów-dekabrystów, spotkała się z nim Wołkońska²⁸. Memuarystka wspomina go jako niezbyt urodziwego mężczyznę, za to bardzo sympatycznego i z dużym poczuciem humoru. W jej pamięci spotkanie z polskim zesłańcem zapisało się w następujący sposób:

Привезли и двух поляков, из которых один, Рукевич, нас забавлял своими сарматскими выходками. Едва он успел войти в острог против дома Александрины, как стал у ограды и с сентиментальным видом и сильным польским акцентом запел старый французский романс: „В стенах мрачной башни молодой король тоскует”. Он не был ни молод, ни красив, ни привлекателен; эта претензия на французский романс, при незнании языка, нас очень позабавила²⁹.

Ukazany przez Wołkońską obraz sympatycznego Polaka świadczy, że Rukiewicz postrzegany był tu jako swój, czyli jeden z więźniów, z którym dekabrystom i ich rodzinom przyszło dzielić trudy zesłania. Zachowanie tego oficera kojarzyło się memuarystce ze znanym stereotypem Polaka-Sarmaty. Wydaje się jednak, iż ów sarmatyzm nie był przez nią traktowany jak przywara, lecz – poprzez skonstrastowanie ciężkich obozowych warunków z mentalnością i manierami szlachcica śpiewającego nie na polską, lecz na francuską nutę – w przedstawicielu

Kodzisowi, pod red. M. Giej, T. Wielga, Wyd. Uniwersyteckie, Opole 2011, s. 15. Nazwisko Lepar-
skiego pojawia się również w *Zapiskach* M. Wołkońskiej, jednakże autorka nie poświęca tej posta-
ci zbyt wiele uwagi. Por.: М.Н. Волконская, op. cit., s. 49.

²⁸ Biogram M. Rukiewicza zob. w: *Polski słownik biograficzny...*, t. XXXVII, z. 2, s. 68–71.

²⁹ М.Н. Волконская, op. cit., s. 57.

ciemieźzonego przez rosyjskiego imperatora polskiego narodu zobaczyła wolę przetrwania, niepodległość ducha.

Wśród przedstawionych dziewiętnastowiecznych wspomnień pisanych przez kobiety przeważają pozytywne opinie na temat Polaków, świadczące o ich pro-polskich sympatiach. Do tego grona należą zarówno dekabryстки: P. Annienkowa i M. Wołkońska, które swą przychylność dla Polaków budowały dzięki dobrym wzajemnym kontaktom opartym na szacunku i podobieństwie losów ludzi prześladowanych, jak też A. Panajewa i A. Kern, należące do ówczesnych rosyjskich elit intelektualnych, arystokratycznych. W tych środowiskach niezmienną popularnością i uznaniem cieszył A. Mickiewicz, podbijający serca myślącej części społeczeństwa rosyjskiego nie tylko niekwestionowanymi walorami swojej bogatej w różnorakie talenty natury, ale też osobowością poety-wygnąńca, romantycznego tułacza z ideałami wolności w sercu. Literatura wspomnieniowa pokazuje też, iż w kręgach rosyjskich elit intelektualnych zdecydowanie nieprzychylnie odnoszono się do Tadeusza Bułharyna, którego kontrowersyjna działalność wzbudzała niechęć, a nawet wrogość. Negatywny stosunek do Polaków i tzw. kwestii polskiej obserwujemy natomiast w wypowiedziach A. Smirnowej, której opinie zgodne są z oficjalnymi poglądami kręgów dworskich.

Резюме

Мицкевич и другие поляки в воспоминаниях русских мемуаристок XIX века

Русская женская мемуаристика XIX в. приносит много интересных фактов, связанных с польско-русскими литературными отношениями. Воспоминания А. Керн и А. Панаевой показывают, что среди тогдашней литературной элиты А. Мицкевич пользовался большим признанием, а его произведения считались символом национально-освободительной борьбы. Кроме того, русские издатели и редакторы журналов занимались популяризацией творчества этого польского поэта, заказывая переводы его стихотворений (авторами были, например, З. Сераковский, В. Щастный) и печатая их в литературных журналах. Доброжелательно о других поляках (С. Лепарский, М. Рукевич) писали также декабристки, П. Анненкова и М. Волконская, которые вместе с ними пребывали на ссылке в Сибири.

В текстах мемуаристок появляются и отрицательные мнения на тему поляков. Эти высказывания касаются, например, Ф. Булгарина, деятельность которого вызывала враждебность среди русской литературной элиты. Недоброжелательное отношение к полякам и польской теме замечаем также в воспоминаниях А. Смирновой, которая по этому вопросу разделяет мнения придворных кругов.

Summary

Mickiewicz and other Poles through the eyes of the nineteenth century Russian women memoirists

The nineteenth century Russian women memoirism presents a valuable source of information concerning Polish-Russian literary relationships. A. Kern and A. Panaeva's memoirs justify that A. Mickiewicz was a well-known and appreciated poet in Russia and his works were perceived by Russian literary elites as a symbol of struggle for national liberation. Russian publishers and editors of literary magazines played a crucial role in the popularization of Mickiewicz's literary output. His poems, translated into Russian by Z. Sierakowski or W. Szczastny, often appeared in Russian literary magazines. Russian Decembrist writers (P. Annenkova and M. Volkonska) in their memoirs written in the Siberian exile presented in the most favourable light Poles (S. Leparski and M. Rukiewicz) who were also exiled to Siberia. But, on the other hand, in T. Bulharin's memoirs, whose controversial activity was condemned by Russian intellectual elites, as well as in A. Smirnova's opinion, which represented the official line of the Russian aristocracy, we find negative images of Poles and the "Polish question".

Key words: nineteenth century memoirism, Mickiewicz, Polish question, woman, literary relationships.

Iwona Borys
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
W Olsztynie

Poeci i Róża: wiersze polskich poetów w tłumaczeniu Rozy Alimpijewej jako ilustracja koncepcji przekładu wo/man

Pisać o tłumaczeniu poezji nie jest rzeczą łatwą, podobnie jak nie jest łatwo samą poezję tłumaczyć. Przekład tak obszernego i zróżnicowanego pod względem formy gatunku literackiego wymyka się z wszelkich ram, jakie próbujemy mu narzucić. Dlatego też w niniejszej publikacji przyjmiemy jako wiodącą koncepcję wysuniętą przez przedstawicieli szkoły polisystemowego nurtu translatologicznego – Itamara Ben-Zohara i Gedeona Toury. Opowiadali się oni za priorytetowością badań umiejscowienia tłumaczonego tekstu w innym kontekście socjokulturowym, a nie jego ekwiwalencji, jak też za zastosowaniem metody opisowej, a nie oceny w analizie porównawczej oryginału i przekładu¹.

Każdy akt komunikacji pomiędzy poetą a potencjalnym odbiorcą ma charakter indywidualny, subiektywny. Recepcja przekazu autorskiego poety odbywa się przez pryzmat bagażu afektywno-kognitywnego odbiorcy, a także czynników o charakterze niestabilnym, chwilowym, zmiennym nawet w przypadku tego samego odbiorcy: jego aktualnego stanu psychofizycznego, nastroju, oddziaływania środowiska zewnętrznego itp. Stąd wniosek, że pomiędzy wyjściowym zamierzonym przekazem poetyckim autora wiersza a docelowym, odebrany przez odbiorcę, kompleksem afektywno-informacyjnym mogą zaistnieć znaczne różnice. Co więcej, recepcja tego samego utworu przez różne osoby może znacznie różnić się nie tylko od zamierzeń autora, ale także pomiędzy poszczególnymi odbiorcami.

Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku ingerencji tłumacza. W procesie przekładu jest on odbiorcą prymarnym, tłumaczem-filtrem, jak też nadawcą finalnym, współpracującym bezpośrednio z odbiorcą finalnym – właściwym adresatem tekstu poetyckiego. Na filtr recepcyjny odbiorcy finalnego

¹ I. Even-Zohar, *Polisystem Theory*, "Poetics Today" 1979/1980, nr 1, s. 287–310; G. Toury, *Descriptive Translation Studies and beyond*, Amsterdam – Philadelphia 1995.

nakłada się więc kolejny element zniekształcający przekaz pierwotny. Ingerencja tłumacza poezji w tekst oryginału jest zawsze na tyle znaczna, że zasadne jest użycie w odniesieniu do niego pojęcia „autor przekładu”, bardziej właściwego niż „tłumacz” – biorąc pod uwagę rolę tłumacza w procesie przekładu tekstów nieliterackich, a nawet prozy o charakterze bardziej informacyjno-kognitywnym niż afektywno-emocjonalnym. Myśl tę trafnie wyraził Maksim Rylski, twierdząc, że nie ma przekładów bez ofiar².

Przekład poezji na język czytelnika jest jednak najczęściej jedyną możliwością dla odbiorców niewładających językiem oryginału. Tłumaczenie utworów literackich to jeden z najważniejszych elementów wzajemnego poznania kultur i mentalności społeczeństw żyjących i funkcjonujących zarówno daleko od siebie, jak i po sąsiedzku. Szczególnie dużym zainteresowaniem odbiorców, a w konsekwencji również tłumaczy cieszą się utwory literackie pochodzące z najbliższych czytelnikom krajów i kultur. Dlatego też polska literatura i poezja od dawna jest znana czytelnikom rosyjskojęzycznym dzięki działalności tłumaczy. Należy do nich Roza Alimpijewa.

Profesor Roza Alimpijewa, pracownik naukowy Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, językoznawca, historyk języków słowiańskich i translatolog, jest postacią doskonale znaną w polskim środowisku rusycystycznym. Od lat siedemdziesiątych XX wieku, czyli od samego początku, czynnie uczestniczy we współpracy uniwersytetu w Kaliningradzie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (dawniej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna) w Olsztynie. Pokolenia olsztyńskich studentów-rusycystów podczas praktyk językowych w Kaliningradzie słuchały wykładów profesor Alimpijowej na temat języka i kultury rosyjskiej. Wspominają je jako jedno z najciekawszych zajęć nie tylko ze względu na interesującą treść wykładów, ale także na osobowość Pani Profesor, która nawet na podstawie tych kilku spotkań została zapamiętana jako osoba o szerokiej wiedzy i horyzontach myślowych. W bezpośrednich rozmowach ze studentami Roza Alimpijewa dała się poznać jako osoba niezwykle życzliwa wobec młodych ludzi, którzy zdecydowali się studiować język i kulturę jej ojczystego kraju.

Profesor Walenty Piłat z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, również od samego początku zaangażowany we współpracę z Uniwersytetem Kaliningradzkim, pisze o Alimpijowej: „znalazła w naszej poezji coś bliskiego swojej duszy, dostrzegła w niej jakieś wyższe jakości uniwersalne, stała się profesjonalnym

² М.Ф. Рылский, *Поэзия А. Мицкевича*, Академия 1956, s. 36.

znawcą naszej literatury. [...] Ale wszystkiego tego byłoby za mało, gdyby nie Jej entuzjazm, jakiś wręcz euforyczny stosunek do polskiej kultury”³.

Zainteresowanie Alimpijewej językiem i kulturą Polski zaowocowało cyklem tłumaczeń wierszy polskich poetów na język rosyjski. Są wśród nich twórcy znani także w Rosji: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Adam Asnyk, Leopold Staff, Konstanty Ildefons Gałczyński, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz. Są również wiersze autorów, których Alimpijewa знаła i zna osobiście, których wiersze zdecydowała się przetłumaczyć nie tylko po to, aby udostępnić je odbiorcy rosyjskojęzycznemu, ale także z przyczyn subiektywnych, z potrzeby serca: Walentego Piłata i Krzysztofa Dariusza Szatravskiego. Tłumaczenia te jawią się jako o tyle ciekawe, że są wzbogacone o zasób informacji nadtranslatorycznej związanej z osobistym kontaktem tłumacza z autorem.

Przekaz poetów, których twórczość jest ogólnie znana, wielokrotnie była i bywa przedmiotem dyskusji i interpretacji, dociera do odbiorcy w postaci czystej, wolnej od informacji nie pochodzącej z tłumaczonego tekstu. Wpływ bezpośredniego kontaktu pomiędzy autorem oryginału a autorem przekładu może uzupełnić translat o wartości, które tłumacz odbiera i konceptualizuje poza procesem tłumaczenia: wrażenia wzrokowe, słuchowe, subiektywny odbiór i odczucia odnoszące się do samej osoby autora, a nie dzieła. Kwestią otwartą pozostaje natomiast pytanie, czy fakt ten wzbogaca przekład, umożliwiając jego odbiorcy recepcję translatu na poziomie zbliżonym do poziomu tłumacza, a nie czytelnika, czy też przeciwnie – zniekształca go, powodując, że odbiór przekładu w znacznym stopniu odbiega od recepcji oryginału jako takiego. Uważamy, że odpowiedź zasługuje na odrębne, szersze potraktowanie, dlatego też w niniejszej publikacji skoncentrujemy się na „klasycznych” tłumaczeniach, gdzie autor przekładu ma do czynienia wyłącznie z tekstem oryginału.

Roza Alimpijewa początkowo poznała poezję polską w przekładach na język rosyjski. Aby w pełni odkryć jej wartość, opanowała język polski, w dodatku na bardzo wysokim poziomie. Czy to oznacza, że Alimpijewa poddaje w wątpliwość kompetencję translatoryczną tłumacza tekstu poetyckiego? Naszym zdaniem i tak, i nie. Zdając sobie sprawę z obecności wpływu tłumacza w translacie, decyduje się na usunięcie tego „filtru” i recepcję poezji polskiej z punktu widzenia odbiorcy oryginału. Należy jednak pamiętać, że Alimpijewa jest nie tylko odbiorcą-czytelnikiem, ale także językoznawcą, literaturoznawcą i kulturologiem. Aby maksymalnie zbliżyć się do pozycji odbiorcy-Polaka, starała

³ W. Piłat, *By kamienie mogły zapłakać*, [w:] A. Mickiewicz, *Слышу жизни зов: Стихи в пер. с поль. Р. В. Алимпиёвой*, Янтарный сказ, Калининград 1998, s. 9–10.

się poznać jego mentalność i środowisko kulturowo-emocjonalne. Niezwykle bogate oficjalne, robocze i prywatne kontakty z olsztyńskim środowiskiem ruscystów umożliwiły tłumaczce osiągnięcie tego poziomu recepcji. Walenty Piłat i Władimir Griesznych wspominają dyskusje, prowadzone z udziałem Alimpijowej, na temat przekładów poezji polskiej dokonanych przez innych tłumaczy, jak też przez samą Alimpijową. Były to rozmowy niezwykle konstruktywne, niemniej jednak pełne kontrowersji⁴.

Dlaczego więc Alimpijewa decyduje się sama tłumaczyć poezję polską na język rosyjski? Piłat zauważa, że „to nie negacja wobec wcześniejszych przekładów, to przede wszystkim wiara w to, że można jeszcze lepiej, to dążenie do doskonałości i ideału. To jednocześnie chęć powiedzenia czegoś od siebie, wreszcie, to przejaw wspomnianej już wcześniej fascynacji polską poezją”⁵. Alimpijewa wychodzi z założenia, że kolejny przekład, kolejna interpretacja umożliwia czytelnikowi bardziej obiektywny odbiór oryginału. Paradoksalnie, porównując kolejne przekłady-filtry, czytelnik ma możliwość bardziej obiektywnego wyekscerpowania z nich tego, co jest elementem autorskiego przesłania poety-autora oryginału, niż w przypadku lektury tylko jednego, wybranego przekładu. Różnice w przekładzie u poszczególnych tłumaczy odbiorca łatwo wychwytuje i eliminuje jako element obcy oryginałowi, pochodzący od tłumacza. Dlatego też propozycja Alimpijowej nie jest polemiką z autorami już istniejących, a także przyszłych przekładów poezji polskiej, ale włączeniem się w jeden wspólny nurt prowadzący czytelnika przekładu do autora oryginału i jego przesłania.

Piłat trafnie stwierdza, że „trzeba też być w jakimś sensie poetą, by zrozumieć do końca zamierzenia tłumaczonego poety”⁶. Alimpijewa jest poetką, wydała w roku 2007 zbiór własnych wierszy i przekładów poezji polskiej *И все-таки любовь...*, niezwykle wysoko oceniony przez literaturoznawcę i krytyka literackiego Władimira Griesznych. Wiersze Alimpijowej powstały pod wpływem ważnych wydarzeń o charakterze osobistym. Przedstawiają świat widziany przez pryzmat uczuć, przy czym autorka zdaje sobie sprawę z ich zmienności, przemijalności, nieuniknionej ciągłej konfrontacji z tym, co przynosi los. Takie podejście do zagadnienia tworzenia i recepcji poezji ma niewątpliwie wpływ na wybór autorów, których wiersze Alimpijewa tłumaczy. Mickiewicz, Słowacki, Asnyk, Staff, Gałczyński w swojej poezji prezentują wysoki poziom recepcji

⁴ Ibidem, s. 10; В. Грешных, *Лирический пути любви: талант поэта и переводчика*, [w:] Р. Алимпиева, *И все-таки любовь...*, Издательство КГУ им. И. Канта, Калининград 2007, s. 5–6.

⁵ W. Piłat, op. cit., s. 11.

⁶ Ibidem.

świata przez pryzmat subiektywnych odczuć, wielopłaszczyznowość zmysłowego i pozazmysłowego postrzegania otoczenia.

Na jeszcze jeden element, dzięki któremu tłumaczenia (i wiersze) Alimpijewej są odbierane jako w pełni poetyckie dzieła literackie, zwraca uwagę Griesznych we wstępie do tomiku wierszy i tłumaczeń jej autorstwa. Alimpijewa, „choć to stwierdzenie brzmi paradoksalnie, doskonale włada językiem ojczystym”⁷. Znajomość języka ojczystego jako jednego z języków funkcjonujących w procesie przekładu to czynnik, o którym niejednokrotnie zapominamy w rozważaniach teoretycznych, jak też w praktyce, dobierając tłumacza, który ma wykonać w pełni profesjonalny przekład. Oba języki, oryginału i przekładu, to równorzędne narzędzia, którymi tłumacz musi posługiwać się w pełni sprawnie. *Native-speaker* języka nie gwarantuje prawidłowej recepcji tekstu, szczególnie jeśli jest to tekst specjalistyczny, wymagający znajomości określonego subjęzyka lub też określonego, wysokiego i wielopłaszczyznowego poziomu percepcji, jak to ma miejsce w przypadku poezji. Dla przeciętnego Polaka polski subjęzyk prawny, techniczny czy slang więzienny to języki obce, których muszą się nauczyć, aby biegle się nimi posługiwać. Dla niektórych odbiorców takim „obcym” językiem jest język tekstów poetyckich stworzonych w ich ojczystym języku. Alimpijewa, jak podkreślił Griesznych, językiem poezji włada na poziomie doskonałym – zdaje sobie sprawę z kompetencji recepcyjnej odbiorców i stara się, aby jej teksty były dla nich dostępne i zrozumiałe. Nie są to tłumaczenia przearchaizowane czy też przeciążone zbytnim bogactwem dobranych epitetów bądź metafor. Alimpijewa nie stawia się jako autor na pozycji wyższej niż czytelnik, który z założenia nie będzie potrafił w pełni odebrać i zrozumieć przekazu artystycznego. Nie chwali się tym, że włada językiem w stopniu o wiele bardziej biegłym. Nie stara się uczyć odbiorcy-czytelnika „obcego” języka poezji. Jej wiersze i tłumaczenia zwracają uwagę oszczędnością i trafnością doboru środków leksykalnych i stylistycznych, dzięki czemu nawet niezbyt obeznany z poezją odbiorca jest w stanie je zrozumieć i, co równie ważne, nie zrazić się do dalszego obcowania ze światem poezji.

Jako przykład tłumaczenia poezji polskiej autorstwa Rozy Alimpijewej wybraliśmy wiersz Adama Mickiewicza *Stepy Akemańskie*. Wybór jest nieprzypadkowy, ponieważ Mickiewicz i jego sonety są od dawna obiektem zainteresowania tłumaczy, doczekały się zatem wielu przekładów na język rosyjski. Ich autorami są znani rosyjscy poeci oraz tłumacze: I. I. Kozłow, N. W. Berg, W. G. Benediktow, G. I. Danilewskij, S. F. Durow, A. P. Kołtonowski, K. D. Balmont, W. J. Briusow, M. A. Zienkiewicz, S. I. Kirsanow, W. W. Lewik i inni. Poniżej przedstawiamy oryginał i przekład.

⁷ В. Грешных, op. cit., s. 6.

Stepy Akemańskie

*Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.*

*Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek
łodzi;*

*Tam z dala błyszczy obłok – tam jutrenka
wschodzi;*

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

*Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły żrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,*

*Kędy wąż śliską piersią dotyka się ziola.
W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie
woła.*

Аккерманские степи

*Вторгаюсь будто бы в бескрайность океана,
Мой воз-ладья колышется меж трав,
То исчезая в их степных волнах,
То, всплыв, минует острова бурьяна.*

*Мрак... Не видать уж древнего кургана.
Но светит путеводная звезда.*

Но там, вдали, не зорька ли взошла?

*Нет, это блеск Днестра, блеск лампы
Акермана.*

*В тиши протяжный журавлиный крик.
Пронизывает тьму орлиный взгляд.
Здесь, рядом, мотылек в траве приник,*

*Когда, скользя, к ней уж прильнуть был рад.
Слух напряжен, мечты во тьме парят...
Ведь это глас Литвы? Нет, травы
говорят...*

Na początku należy zaznaczyć, że w komentarzach i recenzjach tłumaczenie Alimpijewej jest określane jako „możliwie idealne”, a sama poetka „doskonale rozumiała sens poetyckich przesłań Mickiewicza”⁸. Idealny przekład jest jednak rozumiany nie jako przekład hołdujący zasadzie ekwiwalencji formalnej czy też dynamicznej, a taki, w którym tłumacz stara się najpierw zdekodować, a następnie odtworzyć obrazy poetyckie autora wiersza z możliwie jak najdokładniejszym zachowaniem systemu wersyfikacyjnego oryginału.

Wielopłaszczyznowość Mickiewiczowskiego postrzegania rzeczywistości jest realizowana przez obrazy – przestrzeni realnej i oceanu, który nakłada się na jej obraz i powiela go, czyniąc równocześnie nierzeczywistym i pozazmysłowym. Alimpijewa zastępuje w przekładzie oksymoron „suchy ocean” porównaniem *быдмо бы*, kładąc akcent na uwypuklenie samego obrazu oceanu. U Mickiewicza wóz jest porównany do łodzi (*jak łódka*), przy czym oba te elementy znajdują się w przestrzeni komunikacyjnej wiersza nie obok siebie, a w znacznej odległości. Alimpijewa umieszcza je w bezpośrednim sąsiedztwie (*воз-ладья*), maksymalnie redukując porównanie do jednolitego obrazu pojazdu, który przemieszcza się zarówno po realnym lądzie, jak i po fantastycznym oceanie.

⁸ W. Piłat, op. cit., s. 11; B. Грешных, op. cit., s. 6.

W oryginale autor stosuje w opisie subiektywnych odczuć formę pierwszej osoby liczby pojedynczej czasowników: **Wpłynąłem; Patrzę** w niebo, gwiazd **szukam; słyszę** ciągnące żurawie; **Słyszę**, kędy się motyl kołysa na trawie; **ucho natężam** ciekawie; **Słyszałbym** głos z Litwy. Tłumaczka tylko w jednym przypadku zachowuje formę gramatyczną oryginału (*Wpłynąłem / Вморгаясь*). Pozostałe bezpośrednio wskazania na odczucia autora zastępuje ich bezosobowym opisem: *Но светит нумеводная звезда; В тиши протяжный журавлиный крик; мотылек в траве приник; Слух напряжен; Ведь это глас Литвы*. Nie umniejsza to, naszym zdaniem, subiektywności opisu, a jedynie jest konsekwencją wprowadzenia w pierwszym wersie elementu *bezkresności*. Autor u Alimpijewej czuje się na tyle mały w porównaniu z otaczającą go przestrzenią, że swoje odczucia wyraża poprzez obiektywny opis obserwacji i wrażeń, a nie przez ich subiektywizację. Subiektywność oryginału została jednak zachowana w postaci nienaruszonych w przekładzie elementów realno-fantastycznych.

Mickiewicz na początku wiersza zaczyna podróż, koniec utworu nie jest natomiast jej zakończeniem. Stepy Akermzańskie są jedynie przystankiem, chwilową zadumą. Poeta zatrzymuje się na chwilę, patrzy, słucha – i decyduje: *Jedźmy, nikt nie woła*. W przekładzie, naszym zdaniem, ten element przekazu został pominięty. Mickiewicz-emigrant, który gotów byłby przerwać swą podróż i wrócić, jeśli tylko usłyszałby *głos z Litwy*, u Alimpijewej nie kontynuuje podróży, a dalej wsłuchuje się w odgłosy otaczającej go przyrody: *Нем, травы говорят...* Być może taki wybór jest konsekwencją tego, że w świadomości odbiorcy polskiego jest zakodowany stereotyp Mickiewicza-Wiecznego Tułacza, tęskniącego za utraconą ojczyzną i wyrażającego to uczucie w swoich utworach. Alimpijewa nie uznaje za stosowne wysuwania tego aspektu na plan pierwszy (element podróży został, zgodnie z przesłaniem oryginału, uwzględniony na początku utworu), a skupia się na odczuciach Mickiewicza-observatora i słuchacza, Mickiewicza-romantyka w rozumieniu rosyjskim, a nie polskim (bez elementu narodowowyzwoleńczego czy też emigracyjnego). Uważamy, że z punktu widzenia odbiorcy rosyjskojęzycznego jest to decyzja trafna, gdyż zostaje on odesłany do bliskich sobie, znanych z literatury rodzimej skojarzeń i obrazów.

Podsumowując, Roza Alimpijewa wprowadza do świadomości czytelnika rosyjskiego wersję *Stepów Akermzańskich* bliską autorskiemu przesłaniu oryginału, uwzględniającą potencjał recepcyjny odbiorcy, oparty na przynależności do innego kręgu kulturowo-mentalnego. Wybór translatorski tłumaczki jest niewątpliwie trafny, ponieważ jego celem jest doprowadzenie odbiorcy do świata autora oryginału, a nie ukazanie go przez pryzmat recepcji tłumacza. A jeżeli przewodnikiem

na tej drodze jest doskonały znawca języka, poeta, osoba wrażliwa na potrzeby odbiorcy, to samemu odbiorcy nie pozostaje nic innego, jak tylko odkryć realny i fantastyczny świat poezji Mickiewicza z jej pomocą.

Резюме

Поэты и Роза: Стихи польских поэтов в переводе Розы Алимпиевой

Роза Васильевна Алимпиева, профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде, языковед, поэт и переводчик, является автором переводов на русский язык стихотворений польских поэтов, в том числе: Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Адама Асныка, Леопольда Стаффа, Болеслава Лесьмяна, Ярослава Ивашкевича, вплоть до творчества поэтов, с которыми она лично знакома – Валенты Пилата и Кшиштофа Дариуша Шатравского. Алимпиева – одна из немногочисленных женщин среди переводчиков польской поэзии. Ее переводы не только способствуют более подробному ознакомлению русскоязычного читателя с польской культурой, менталитетом, но также являются отличным примером сочетания женского мировоззрения с поэтическими образами, созданными авторами стихов-подлинников.

Summary

Poets and Rose: Polish poems translated into Russian by Rosa Alimpieva

Rosa Alimpieva, professor of Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad, is known in Poland as a linguist, specialist in history of the Russian language and TS, but also as a great popularizer of a Polish poetry and culture in Russia, especially in Kaliningrad Oblast. She translated into Polish from Russian selected masterpieces of Polish poetry: poems of Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Adam Asnyk, Leopold Staff, Konstanty Ildefons Gałczyński, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz. She decided also to translate into Russian some poems of her Polish friends Walenty Piłat and Krzysztof Dariusz Szatravski. The translation has been acknowledged by Polish writers as very accurate and, but we think that the world of Polish poets (especially Mickiewicz) in Alimpieva's translation is especially close to perception competence of the Russian reader.

Key words: cultural and linguistic norms, literal translation, poetry, translation strategy, translation studies,

Ilona Dulisz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
W Olsztynie

Wschodnie kontakty Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich (Lwów – Wilno – Białowieża)

Biografie Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich, urodzonych w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku na Warmii w Barczewie, związane są m.in. z przedwojennym Lwowem i Wilnem. Działalność braci w wymienionych ośrodkach trwale wpisała się w historyczno-kulturowy obraz tych miast. Warto wspomnieć także o rekreacyjnych pobytach Feliksa w Białowieży pod koniec lat 30. XX wieku, które stały się inspiracją do stworzenia kilku ważnych dzieł muzycznych.

Feliks Nowowiejski (1877–1946)¹ należy do grona wybitnych polskich kompozytorów, zwłaszcza na gruncie muzyki chóralnej i organowej. Zasłynął jako wirtuoz gry na organach, dyrygent, pedagog, animator życia muzycznego. Przyczynił się również do rozwoju amatorskiego ruchu śpiewaczego w całym kraju. To także działacz społeczny i patriota, twórca słynnej *Roty* do słów Marii Konopnickiej, propagator polskości podczas akcji plebiscytowej na rzecz przyłączenia Warmii, Mazur i Powiśla do Polski w 1920 r.

Niewiele młodszy Rudolf Nowowiejski (1879–1963)², spośród liczного rodzeństwa najbliższy Feliksowi, był teologiem, do 1925 r. księdzem katolickim, misjonarzem, podróżnikiem i działaczem społeczno-narodowym, filologiem klasycznym, pedagogiem, poetą, autorem tłumaczeń na język niemiecki i łaciński wielu wybitnych dzieł poezji polskiej, m.in. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Asnyka, J. Kasprówicza. Podobnie jak Feliks był utalentowany i kształcony muzycznie, grał na kilku instrumentach i komponował pieśni.

¹ Zob. J. Tatarska, *Nowowiejski Feliks*, [w:] *Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna: N–Pa*, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 2002, s. 118–122.

² Zob. T. Oracki, *Nowowiejski Rudolf*, [w:] *Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)*, Warszawa 1983, s. 233–234.

Lwów

Kontakty ze Lwowem na początku XX wieku zainicjował Rudolf. Miasto od pierwszego rozbioru Polski pozostawało pod rządami Austrii, a jego ówczesna nazwa administracyjna to Lemberg. Stolica Galicji była wówczas jednym z ważniejszych ośrodków kultury i nauki polskiej. Funkcjonowały tu znakomite uczelnie: Uniwersytet Lwowski, znany później jako Uniwersytet Jana Kazimierza – jedna z najstarszych szkół wyższych w Europie Wschodniej oraz Politechnika Lwowska. Istotne znaczenie dla rozwoju kultury miały: Teatr Wielki, Lwowska Galeria Sztuki i Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne. Ludność miasta cechowała wielokulturowość. Poza Polakami Lwów zamieszkiwało wiele innych narodowości, m.in. Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Czesi, Ormianie.

Jednym z najwcześniejszych dokumentów, potwierdzających związek Rudolfa Nowowiejskiego z tym miastem, jest obrazek upamiętniający jego msze prymicyjne. Pierwsza odbyła się we Lwowie 25 lipca 1905 r., druga pięć dni później w Berlinie³. Skromna wiedza na temat życia i działalności Rudolfa nie pozwala ustalić dokładnych okoliczności związanych z tym wydarzeniem. Wiadomo, że był on człowiekiem światowym, miał liczne znajomości w kręgach artystycznych i wśród duchowieństwa, wiele podróżował, studiował w Antwerpii, Trewirze, Monastyrze, Rzymie, często bywał w Berlinie, gdzie mieszkał Feliks, już wówczas odnoszący niemałe sukcesy. Przed przyjęciem święceń kapłańskich był misjonarzem ze Zgromadzenia Ojców Białych w północnej Afryce, m.in. w Kartaginie i Tunisie.

We Lwowie Rudolf Nowowiejski przebywał do 1912 r., pełniąc funkcję kapelana i sekretarza arcybiskupa metropolity lwowskiego prof. Józefa Bilczewskiego, później także nauczyciela seminarium duchownego. Był to czas nawiązywania kontaktów Feliksa Nowowiejskiego z głównymi polskimi ośrodkami muzycznymi, tj. Lwowem, Warszawą i Krakowem. Rola Rudolfa w tym względzie jest nieoceniona, gdyż występuje on jako muzyczny menedżer swego brata. Dowodzi tego zachowana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej korespondencja obydwu braci do Stanisława Bursy z Krakowa – krytyka i animatora życia muzycznego, pedagoga, kompozytora, z którym łączyła ich szczerą i długoletnią przyjaźń⁴. Treść

³ Dokument znajduje się w zbiorach prywatnych autorki i jest jej pamiątką rodzinną po pradiadku Andrzejowi Kramkowskiemu, który był kuzynem Rudolfa ze strony matki Nowowiejskiego.

⁴ Zob.: J. Boehm, *Powiązanie z krajem i rozwój artystyczny Feliksa Nowowiejskiego w latach 1905–1909*, „Rocznik Olsztyński” 1970, t. 9, s. 128–159; I. Dulisz, *Kilka uwag o życiu i twórczości Rudolfa Nowowiejskiego*, [w:] *Edukacja i uczestnictwo w kulturze muzycznej*, pod red. K. D. Szatrawskiego, Barczewo 2011, s. 55–65.

listów i kartek pocztowych dotyczy przede wszystkim twórczości kompozytorskiej i działalności koncertowej Feliksa, a także recepcji jego muzyki.

Pierwszy koncert Nowowiejskiego we Lwowie odbył się 11 kwietnia 1906 r. W pierwszej części wykonano *II symfonię h-moll* pod batutą samego mistrza. Następnie miała miejsce światowa prapremiera oratorium *Znalezienie św. Krzyża* (libretto: Arno Herolaski). Dzieło poprowadził dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego Mieczysław Sołtys – kompozytor, dyrygent, organizator życia muzycznego we Lwowie. Koncert otrzymał niezwykle pochlebne recenzje. Seweryn Berson, kompozytor i krytyk muzyczny, na łamach „Gazety Lwowskiej” pisał: „Pomimo tej powściągliwości i przestrzegania artystycznej miary są w dziełach tych, a zwłaszcza w oratorium piękności pierwszej wody, miejsca nie potrzebujące cofać się przed probierzem, jaki przykładać zwykliśmy do dzieł uznanych za mistrzowskie...”⁵.

Odtąd nazwisko Feliksa Nowowiejskiego wielokrotnie pojawia się przy okazji różnych wydarzeń muzycznych we Lwowie. W 1907 r. w konkursie kompozytorskim nagrodzono jego dzieło *Żałobny Pochód Kościuszki na Wawel*. Ta powstała rok wcześniej pieśń choralna o charakterze narodowo-patriotycznym, zwana także *Pogrzebem Kościuszki*, niezwykle ekspresyjna i patetyczna, cieszyła się ogromną popularnością w programach koncertów choralnych.

W 1910 r. kompozytor otrzymał zaszczytną nagrodę w konkursie zorganizowanym we Lwowie z okazji setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina za pieśń *Zgasły już*. Utwór należy do najwcześniejszych liryk wokalnych Nowowiejskiego. Tekst w duchu poezji modernistycznej napisał Georg Busse-Palma, na język polski przetłumaczył Aleksander Bandrowski – słynny śpiewak operowy. Pieśń wydało osobnym drukiem w 1912 r. wydawnictwo Edward Wende i Spółka w Warszawie w wersji polsko-niemieckiej z podtytułem *Scena dramatyczna na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry*.

We wspomnianej korespondencji braci Nowowiejskich do Stanisława Bursy najwięcej miejsca zajmuje tematyka związana z premierami *Quo vadis*. Na kartce pocztowej z 19 lutego 1908 r. Rudolf donosił Bursie o planowanym wykonaniu oratorium we Lwowie przez tamtejsze Towarzystwo Śpiewackie „Lutnia”. Informował także o kolejnych przedsięwzięciach związanych z tym dziełem: „W każdym razie już teraz otrzymał Feliks zaproszenie do dyrygowania *Quo vadis* w 9 miastach, ostatnie zaproszenie przez największe Tow. śpiew. rosyjskie

⁵ S. Berson, *Koncert kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego*, „Gazeta Lwowska” 1906, nr 84 z 12 kwietnia. Cyt. za: J. Boehm, *Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca*, Olsztyn 1985, s. 42.

w St. Petersburgu”⁶. *Quo vadis* należy do najwybitniejszych utworów Feliksa Nowowiejskiego. Wykonywane w całej Europie i w obu Amerykach przyniosło mu światową sławę. Wydawnictwo Alojzego Maiera w Fuldzie, które w 1909 r. wydało partyturę tego dzieła, sporządziło wykaz miejsc, w których wystawiono oratorium. Wymienione zostały także miasta wschodnie, m.in. Lwów, Czerniowiec, Królewiec, Ryga, Tartu⁷.

Z kolei z Samborem, położonym w obwodzie lwowskim, wiąże się historia odnalezienia rękopisu pierwszego z trzech zachowanych oratoriów Feliksa Nowowiejskiego – *Powrotu syna marnotrawnego*, które kompozytor zamierzał tam wystawić. Partytura, wysłana do Lwowa jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, zaginęła i odnalazł ją przypadkowo wiele lat później Kajetan Bojarski – prezes Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewackich. Synowie kompozytora, Feliks Maria i Kazimierz, we wspomnieniach tak o tym piszą: „Ojciec wysłał jedyną partyturę na krótko przed rokiem 1914 do Lwowa, gdzie miała być rozpisana na głosy i realizowana. Wybuch wojny przekreślił plany. Nowowiejski traci kontakt z miastem, które przechodzi ciężkie chwile. Zachodzi obawa, że utwór na zawsze zaginął. Niespodzianie kilka lat później, już w Poznaniu zgłasza się nie znany nam wówczas Kajetan Bojarski, właśnie z partyturą *Powrotu syna marnotrawnego*. Będąc zaraz po wojnie w Samborze, w sklepie spożywczym spostrzegł jakąś starą beczkę pełną książek i nut (używanych m.in. do owijania śledzi). Zamiłowany muzyk amator zainteresował się kompozycjami. Między innymi wydobyl stamtąd rękopis oratorium Nowowiejskiego. Ojciec jest uszczęśliwiony. Za jednym zamachem znalazły się nuty i – jak się okaże – wypróbowany przyjaciel Kajcio”⁸.

Jak wiadomo, do wykonania oratorium we Lwowie nie doszło, ale w roku 1946 w Filharmonii Krakowskiej zabrzmiała obszerna uwertura tego dzieła pod dyktando przebywającego przez wiele lat w Rosji Waleriana Bierdiajewa⁹.

Wiele utworów Feliksa Nowowiejskiego na stałe weszło do repertuaru koncertowego lwowskich zespołów chóralnych. Jedną z takich kompozycji była *Bitwa pod Racławicami* na chór męski *a cappella*, do słów J. Żuławskiego. Do partytury utworu dołączono na osobnej karcie dedykację kompozytora z datą 1 lutego 1925 r., złożoną Polskiemu Towarzystwu Śpiewaczemu „Echo-Ma-

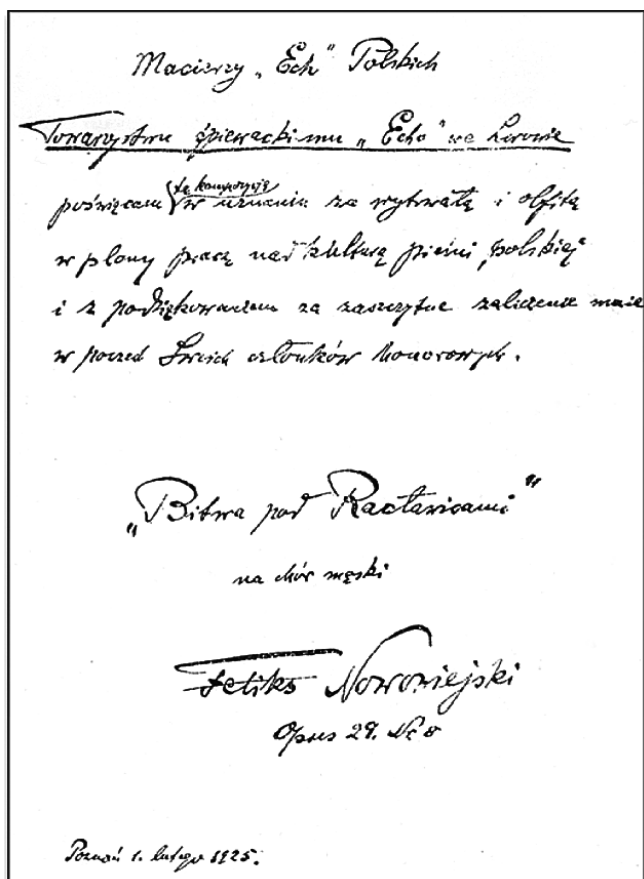
⁶ Kartka pocztowa napisana przez Rudolfa Nowowiejskiego do Stanisława Bursy. Lwów, 19.02.1908 (zbiory BJ).

⁷ Osobna karta z wykazem miast, w których odbyły się premiery *Quo vadis*. [b.r.] (zbiory BN).

⁸ F.M. i K. Nowowiejscy, *Dookoła kompozytora*, Poznań 1968, s. 57.

⁹ Ibidem.

cierz” we Lwowie, które otrzymało prawo własności, powielania i wykonywania utworu: „Macierzy «Ech» Polskich. Towarzystwu Śpiewackiemu «Echo» we Lwowie poświęcam tę kompozycję w uznaniu za wytrwałą i obfitą w plony pracę nad kulturą pieśni polskiej i z podziękowaniem za zaszczytne zaliczenie mnie w poczet Swoich członków honorowych”.



F. Nowowiejski, *Bitwa pod Racławicami* op. 29 nr 8, dedykacja (zbiory BN)

Wilno

Związki Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich z Wilnem odnoszą się do okresu międzywojennego. Wilno z Uniwersytetem Stefana Batorego za czasów II Rzeczypospolitej należało do najważniejszych ośrodków rozwoju nauki i kultury polskiej. Na wysokim poziomie stało kształcenie muzyczne; najbardziej renomowane

szkoły to Konserwatorium Wileńskie, Konserwatorium im. Mieczysława Karłowicza oraz Zawodowa Szkoła Organistów im. Józefa Montwiłła. Działały tu liczne instytucje i zespoły muzyczne, m.in. Śpiewny Teatr Wilna, Wileńska Orkiestra Symfoniczna, Towarzystwo „Lutnia”, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.

W okresie międzywojennym niezwykle prężnie rozwijał się amatorski ruch chóralny, którego początki na Wileńszczyźnie sięgają ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku. Działalność wileńskich zespołów chóralnych szczegółowo opisuje M. Ankudowicz-Bieńkowska w pracy poświęconej kulturze muzycznej Wilna w okresie II Rzeczypospolitej¹⁰.

Zasłużony dla wielkopolskiego ruchu śpiewaczego Feliks Nowowiejski nie był obcy chórom wileńskim, a jego kompozycje stałe gościły w programach koncertowych. Oczywiście w obowiązkowym repertuarze każdego z zespołów znajdowała się *Rota*, traktowana przez Polaków jako drugi hymn narodowy. Melodia tej patriotycznej pieśni do 1929 r. była hejnałem miasta, później zastąpił ją hymn maryjny *Witaj Panno nieustanną czią* Stanisława Moniuszki.

Spośród innych utworów Nowowiejskiego popularnych w środowisku chóralnym Wilna należy wymienić m.in. *Hasło Śpiewactwa Polskiego* ze słowami kompozytora, *Ufajcie, Zalecanę, Marsz wojenny Rzeczypospolitej, Lot Idzikowski* oraz dwie dumki – *Wisła* i *Tulacz*. Repertuar obejmował także opracowane przez Nowowiejskiego popularne melodie religijne i ludowe: *My chcemy Boga, Króluj nam Chryste, Górniośląskie zaloty, Wesola piosenka górnośląska*. Obok pieśni *a cappella* prezentowane były również utwory z towarzyszeniem instrumentalnym, dla zespołów amatorskich często niełatwe do wykonania, m.in. „*Ojczyzna*”. *Psalm 136 „Jeruzalem”* na ośmiogłosowy chór mieszany i organy bądź orkiestrę dętą, *Kujawiak* na chór mieszany z towarzyszeniem fortepianu, *Testament Bolesława Chrobrego* na tenor solo, chór mieszany i fortepian.

Bliska znajomość łączyła Feliksa Nowowiejskiego z niezwykle zasłużonym dla chóralistyki wileńskiej Władysławem Kalinowskim – dyrygentem chóru „Echo”, organistą, kompozytorem głównie utworów religijnych, wykładowcą kompozycji i teorii muzyki w Konserwatorium Muzycznym im. M. Karłowicza w Wilnie. O wieloletniej współpracy obu artystów pisze we wspomnianej monografii oraz artykule poświęconym zachowanej korespondencji M. Ankudowicz-Bieńkowska¹¹.

¹⁰ M. Ankudowicz-Bieńkowska, *Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej*, Olsztyn 1997, s. 47–92; *Twórczość Feliksa Nowowiejskiego w kulturze muzycznej międzywojennego Wilna*, [w:] *Kompozytorzy w kulturze XX-wiecznej Warmii*, pod red. K. D. Szatrawskiego, Barczewo 2009, s. 51–56.

¹¹ M. Ankudowicz-Bieńkowska, *Trzy nieznane listy Feliksa Nowowiejskiego do profesora wileńskiego konserwatorium Władysława Kalinowskiego*, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1979, nr 1, s. 83–89.

Wiadomo, że Nowowiejski i Kalinowski spotkali się po raz pierwszy w Poznaniu w maju 1929 r. podczas Wszechsłowiańskiego Zjazdu Śpiewaczego. Gość z Wilna przybył jednak bez swego chóru, prawdopodobnie z przyczyn finansowych. Nowowiejski odwiedził Wilno wiele lat później – 19 grudnia 1937 r. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z okazji poświęcenia nowych organów odbył się recital organowy kompozytora. Podczas koncertu poza utworami Bacha zabrzmiała jego *I Symfonia organowa a-moll*. Uroczystość uświetnił także chór „Echo” pod dyktando Władysława Kalinowskiego, wykonując „Ojczyznę”. *Psalm 136 „Jeruzalem”*.

Wilno i muzykalność jego mieszkańców musiała wywrzeć na kompozytorze duże wrażenie. Nowowiejski, powszechnie znany z kultu do Matki Bożej, odwołał się w dwóch utworach do najważniejszego symbolu religijnego Wilna – Matki Boskiej Ostrobramskiej. Są to *Pieśń do M. B. Ostrobramskiej* na chór mieszany i organy *ad libitum* do tekstu Kajetana Bojarskiego oraz *III Koncert organowy*¹². *Pieśń* należy do cyklu siedmiu *Pieśni Mariańskich na cześć Cudownych Obrazów*¹³ i jak one wszystkie utrzymana jest w charakterze błagalno-chwalebnym z akcentami narodowymi. Natomiast w pierwszej i trzeciej części *Koncertu* znajdziemy odwołania, a nawet cytaty w postaci tematu pieśni *Witaj Panno nieustanną* *czcią* Stanisława Moniuszki, o której była już mowa, tradycyjnie śpiewanej podczas uroczystości osłonięcia Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej¹⁴. Ostatnia część opatrzona została programowym podtytułem *Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie* i stanowi cykl czterech wariacji z tematem w formie uroczystego hejnału. Partię organową wspierają *ad libitum* 3 trąbki i kotły.

Warto też wspomnieć o wileńskich losach Rudolfa Nowowiejskiego. To czas najmniej znany w jego biografii, poprzedzony ważnymi wydarzeniami w życiu prywatnym. W roku 1925 wystąpił bowiem ze stanu duchownego, ożenił się i miał syna. Jak podaje T. Oracki, w latach 1932–1941 nauczał łaciny w tamtejszym gimnazjum im. J. Słowackiego, zajmował się również przekładami literackimi na łacinę i język niemiecki¹⁵.

¹² I. Dulisz, *Wileński epizod Feliksa Nowowiejskiego*, [w:] *Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją*, Katowice 2008, s. 279–286.

¹³ Są to kompozycje oryginalne F. Nowowiejskiego do tekstów współczesnych mu polskich poetów: *Pieśń do M. B. Częstochowskiej*, *Pieśń do M. B. Ostrobramskiej*, *Pieśń do M. B. Kodeńskiej*, *Pieśń do M. B. Kalwaryjskiej*, *Pieśń do M. B. Piekarskiej*, *Pieśń do M. B. w Kazimierzu Biskupim*, *Pieśń do M. B. w Dębkach nad Morzem*.

¹⁴ Utwór St. Moniuszki wykazuje duże podobieństwo do znanej ludowej pieśni kościelnej *Witaj święta i poczęta*.

¹⁵ T. Oracki, op. cit., s. 233.

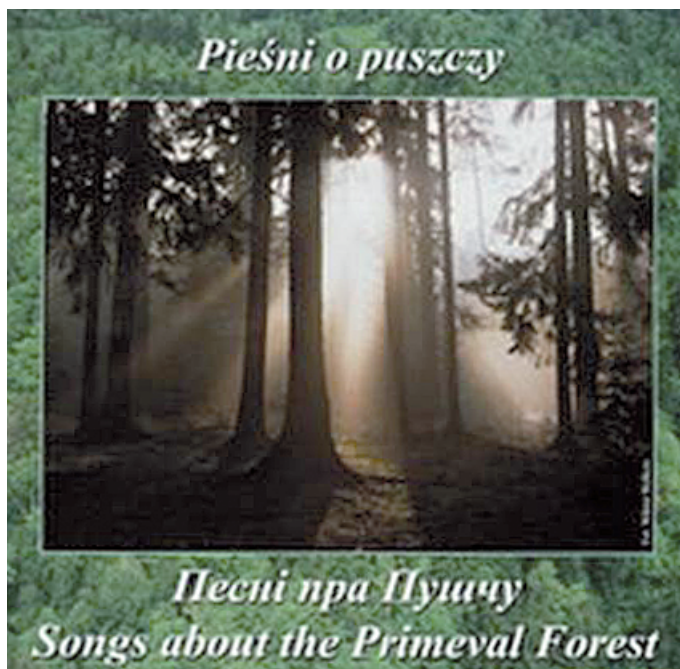
Białowieża

Feliks Nowowiejski gościł w Białowieży dwukrotnie w latach 1937–1938 (mieszkał w domu myśliwskim w parku pałacowym). Po raz pierwszy przybył na zaproszenie dyrektora Lasów Państwowych Adama Loreta w towarzystwie Tadeusza Vetulaniego, profesora ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, biologa i zootechnika. Zauroczony pięknem parku narodowego w jednym z wywiadów powiedział: „dzięki swemu dziewiczemu charakterowi ma w sobie coś szczególnego. Przedstawił mi się jako groza i dziwnie prężna siła, która przekreśla działalność ludzkiej ręki, zaciera jej ślady. Majestatu niebotycznych drzew, gąszczu splątanych krzewów oraz zwałów kłód z obalonych ze starości lub huraganów drzew nigdy nie zapomnę”¹⁶.

W archiwum rodzinnym kompozytora w Poznaniu zachowały się fotografie upamiętniające jego pobyt w Białowieży, m.in. zdjęcie przedstawiające Nowowiejskiego z myśliwską orkiestrą. Sporo informacji o jego leśnych wyprawach, obserwacjach przyrody, oprowadzających go leśnikach można odnaleźć na stronach internetowych cytowanej powyżej *Encyklopedii Puszczy Białowieskiej*.

Z inspiracji pobytem kompozytora w Białowieży powstały trzy utwory: *Hejnał myśliwski Prezydenta RP*, *III Symfonia Białowieska*, tryptyk *Teka Białowieska op. 56: Ryś w borze* (sł. J. Karpiński), *Dąb rażony piorunem* (sł. M. Jasno-rzewska-Pawlikowska), *Taniec na uroczysku* (sł. K. Jeżewska). Do najbardziej znanych należy *Teka Białowieska* na chór mieszany *a cappella*. Partytura utworu doczekała się nawet dwóch wydań (PWM 1953, Fundacja „Muzyka Cerkiewna” 2005). Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie tej kompozycji w styczniu 2006 r. w Białowieży i Kamieńcu na Białorusi. W ramach polsko-białoruskiego projektu artystyczno-edukacyjnego „Łączy nas puszcza i pieśń” w wymienionych miastach odbyły się koncerty chóralne, podczas których poza wspomnianym utworem Feliksa Nowowiejskiego zabrzmiały jeszcze dwie kompozycje: *Echa Białowieży* Romualda Twardowskiego oraz *Białowieżskaja Puszcza* Aleksandry Pachmutowej. Wszystkie utwory wykonane zostały po polsku i po białorusku (w tłumaczeniu białoruskiego poety Wiktora Szweda) przez Chór Akademii Medycznej w Białymstoku prowadzony przez Bożennę Sawicką oraz chór „Grodzieńskaja Kapeła” z Grodna pod dyktando Łarisy Ikonnikowej. Koncert w Białowieży w kościele pw. św. Teresy uwieczniono na płycie CD zatytułowanej *Pieśni o Puszczy*.

¹⁶ Nowowiejski Feliks, [w:] *Encyklopedia Puszczy Białowieskiej*, [online] <www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/> (25.06.2013).



Okladka płyty CD *Pieśni o Puszczy*, Fundacja „Muzyka Cerkiewna” 2006, [online]
<http://festiwal-hajnowka.pl/cpr/index.php?str=piesni_o_puszczy.html> (30.07.2013)

Podsumowując, obecność Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich w środowiskach twórczych Europy Wschodniej odegrała ważną rolę. Postaci te wpisały się w zawiłe dzieje Kresów Wschodnich, wzbogacając historię kultury, zwłaszcza muzycznej, w okresie II Rzeczypospolitej. Brak jednak szerszego upowszechnienia i uznania ich działalności w tym względzie. Z dzisiejszej perspektywy aktywność i dorobek artystyczny braci Nowowiejskich jest elementem łączącym kultury i narody, Zachód ze Wschodem. Podobnie jak wspomniany w artykule projekt między Polską a Białorusią, który nie tylko przypomina o muzycznych tradycjach wielokulturowego regionu, ale również dowodzi, że muzyka może łączyć, a nie dzielić.

Резюме

Восточные связи Феликса и Рудольфа Нововойских (Львов – Вильнюс – Беловежа)

Деятельность Феликса и Рудольфа Нововойских вписывается в историко – культурный контекст довоенного Львова и Вильнюса. В 1906–1912 гг. Рудольф был капелланом и секретарем Львовского архиепископа-митрополита Ю. Бильчевского. В то время, Феликс

имеет партнерские отношения с музыкальной средой Львова, где состоялась мировая премьера оратории *Обретение святого Креста*. Биографии двух братьев связаны также с Вильнюсом. Рудольф в течение многих лет преподавал латинский язык в гимназии им. Ю. Словацкого. Феликса с этим городом связывает прежде всего быстро растущее там певческое движение. Мелодия *Роты* до 1929 г. была официальным хейналом Вильнюса. В органной и хоровой музыке Ф. Нововейского можно найти упоминания о наиболее важном символе города – Остробрамской иконе Божией Матери. В свою очередь, Беловежская пуша стала источником вдохновения при работе над произведениями *Хейнал Президента РП* и триптих *Беловежский портфель*.

Summary

Eastern contacts of Feliks and Rudolf Nowowiejski (Lviv – Vilnius – Białowieża)

The activity of Feliks and Rudolf Nowowiejski plays a significant part in the history and culture of pre-war Lviv and Vilnius. In the years 1906–1912 Rudolf was a chaplain and a secretary of the Metropolitan Archbishop of Lviv J. Bilczewski. At that time Feliks entered into cooperation with music circles of Lviv where the world premiere of the oratorio *Znalezienie św. Krzyża* [*Finding of the Holy Cross*] took place. Biographies of the two brothers are also associated with Vilnius. Rudolf for many years taught Latin in the J. Slowacki Lower Secondary School. Relations of Feliks with that city are primarily associated with a rapidly growing singing movement there. Melody of *the Rota* was until 1929 the official bugle call of Vilnius. In organ and choral music of F. Nowowiejski one can find references to the most significant symbol of the city – Our Lady of Ostra Brama painting. However, the inspirations by Białowieża wilderness produced such works as *Hejnal Prezydenta R.P* [*Bugle call of the President of the Republic of Poland*] and the triptych *Teka Białowieska*.

Keywords: Feliks Nowowiejski, Rudolf Nowowiejski, Music, Lviv, Vilnius.

Elena Janczuk
Uniwersytet Warszawski

Советская действительность на страницах варшавской газеты российских эмигрантов „Меч”

Изучение белых пятен в истории любого явления неизбежно накладывает эвристический отпечаток даже на сам характер изложения материала. Проблема истории русской эмиграции в Польше, а также ее отдельные аспекты не дождались всестороннего изучения. Русская эмиграция в Польше, по словам Войцеха Станиславского, „тема почти неизвестная либо в лучшем случае «экзотическая» в дурном значении этого слова”¹. В настоящее время опубликован ряд статей, посвященных отдельным личностям, как правило, писателям, поэтам, некоторым явлениям, например, русскому образованию в Польше или же советским военнопленным и т.п. Но, что любопытно, сохранившиеся печатные издания, как, например, газеты „Молва”, „За свободу!”, „Меч” и др., не нашли еще своего научного освещения².

Возникшая в начале 90-х гг. тенденция положительно оценивать явления, имевшие место по ту сторону границы СССР – в эмиграции, сегодня требует как минимум корректировки и осторожности в оценках. Владимир Хазан замечает, что среди исследователей преобладает стереотип, „будто бы поэты и писатели эмигранты, в отличие от своих коллег [...] в Советском Союзе, хотя и страдали от безденежья и непризнанности, однако компенсировали свой материальный крах неограниченной творческой свободой”. Следует помнить, что нахождение в эмигрантской среде, и в особенности, в творческой, было связано „с целой системой запретов

¹ В. Станиславский, *Жизнь на обочине. Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой*, „Новая Польша” 2006, № 7–8 (77), с. 91–96, [online] <www.novopol.ru/index.php?id=670> (24.06.2013).

² Надо отметить, что приступая к изучению предмета, я получила в Национальной библиотеке в Варшаве подшивку газеты „Меч” за 1934 г., где отдельные номера были с неразрезанными страницами. Число же газет и журналов, издаваемых в межвоенный период в Польше составляет около 120 позиций с разными сроками существования, ср. [online] <www.mochola.org/russiaabroad/ruspress.htm> (24.06.2013), где А. Мохоля каталогизировал сохранившиеся русскоязычные издания межвоенной Польши.

и ограничений, идеологических манипуляций и партийных конвенций, пусть проявляющих себя не в столь циничной и грубой форме, как в «метропольной» литературе, однако вполне достаточных, дабы поставить сегодня вопрос о нереализованных возможностях «островной»³.

Политико-экономическая ситуация в Польше к середине 30-х гг. была достаточно сложной. Смена политической опции, проходившая под лозунгом необходимости оздоровления политико-экономического климата, сопровождалась усилившейся борьбой правительства с оппозицией. Власти предпринимали ряд недемократических мер, опасаясь советского влияния на состояние умов в Польше, как подчеркивает В. Рошковский, „все эти шаги носили системный характер – давали возможность правительству вмешиваться в общественную жизнь”⁴. На этом фоне активизировались общественные движения, имели место забастовки крестьян, громкие убийства⁵. Усиление кризиса дало надежду польским коммунистам (а их было около 10 тыс.) на возможность революции, в октябре 1932 г. в СССР состоялся VI съезд КПП, который „предрекал усиление революционной волны в Польше и призывал установить диктатуру пролетариата по советскому образцу”⁶, там же было предложено объединить Западную Беларусь и Западную Украину с советскими республиками.

В польско-советских отношениях наблюдалось потепление, что выражалось, напр., в стремлении наладить сотрудничество в области совместных польско-советских культурных, спортивных и научных мероприятий, возросло число польских туристов, желавших собственными глазами увидеть перемены у восточных соседей, что вызвало активизацию разведывательных служб Польши. В отношении польских граждан, отправлявшихся в начале 30-х в турпоездки по СССР, службы польской разведки выражали недовольство отсутствием слаженности в действиях с административными органами, в частности, не велся учет туристов, организовывались коллективные поездки, в которых принимали участие польские граждане, выезжавшие без заграничных паспортов⁷. Обвинения

³ В. Хазан, *Предисловие*, [в:] „Чужбина, родина моя!” *Эмигрантский период жизни и творчества М. Цветаевой*, XI Международная научно-тематическая конференция (9–11.10.2003), Москва 2004, с. 7–8.

⁴ W. Roszkowski, *Historia Polski. 1914–1991*, PWN, Warszawa 1991, с. 66.

⁵ Ibidem, с. 67.

⁶ Ibidem.

⁷ В частности, в начале 1934 г. пароходство „Гдыня – Америка” организовало такую поездку, в ходе которой 26 человек коммунистических убеждений остались в Советском Союзе, 16 из которых впоследствии советская разведка перебросила в Польшу. Ср.: А. Реп-іоński, *Wywiad Polski na ZSRR 1921–1939*, Bellona, Gryf, Warszawa 1996, с. 115.

в паспортно-визовых нарушениях были выдвинуты против турбюро „Интурист” и „Орбис”. Сами турпоездки проходили по установленным маршрутам, что вырабатывало у польских туристов ошибочное представление о советской действительности. Как сообщалось в одном из рапортов Реферата „Восток”, наблюдались случаи „восторга чрезвычайными достижениями коммунистического государственного строя”, а поляки, вернувшиеся из СССР, были „отуманены большевистской пропагандой”⁸. В этой связи запрет накладывался на некоторые печатные издания, в частности, осенью 1934 г. 48 советских книг были запрещены в Польше⁹. На волне интереса к СССР польские издания публиковали восторженные материалы, за что, в частности, А. Домбровский на страницах „Меча” их упрекает: „Отличительным признаком корреспонденций последнего сорта [...] является полное отсутствие цифр и фактических данных”¹⁰. Польская разведка в связи с вышесказанным оказывала поддержку потенциальным и реальным врагам большевистского режима и, прежде всего, представителям белой эмиграции, для чего были выделены специальные средства т. наз. Реферату „Восток”¹¹. Именно эмигранты могли, пользуясь своим авторитетом очевидца, достоверно рассказать, как выглядит ситуация на Востоке. И хотя ситуация в Советском Союзе за последние почти 20 лет бесповоротно изменилась, ставка делалась именно на живое освидетельствование.

В такой достаточно сложный и противоречивый контекст вписан третий медиальный проект Дмитрия Философова под названием „Меч”¹². Приступая к изданию „Меча”, Философов имел не только солидный опыт издательской деятельности, но и обладал прочными связями с польской интеллигенции и имел влиятельных покровителей¹³. Однако, как замечает

⁸ Pismo szefa O III do szefa O II z 28.02.1932, l. 516/III, CA MSW, Ref. „W”, 262/144. Цит. за: A. Repłoński, op. cit., s. 115.

⁹ „Меч”, № 21, 7.10.1934, с. 8.

¹⁰ А. Домбровский, *Неполная картина*, „Меч”, № 24, 31.10.1934, с. 2.

¹¹ Реферат „Восток” являлся сегментом II Разведывательного Отдела Генерального Штаба РП, в 1933 г. его бюджет составлял 594 тыс. Зл., в 1934 – уже 720 тыс. – Ср. А. Repłoński, op. cit., с. 49.

¹² В 1920–1932 гг. в Варшаве он издавал ежедневную газету „Свобода”, переименованную в „За свободу!”, потом в газету „Молва” (1932–1934) и в еженедельный журнал, ставший газетой „Меч” (1934–1939). Ср. Дж. Дюррант, *„Уж такова наша судьба...”*. Новое из варшавского архива Д. В. Философова, „Наше Наследие” 2002, № 63–64, [online] <www.nasledie-rus.ru/podshivka/6406.php> (15.06.2013).

¹³ В 1934 г. бывший министр почты и телеграфа, будущий сенатор, номинированный Президентом РП, спикер Сейма, Б. Медзиньский возглавляет концерн Polska Prasa SA (а в 1929–1938 гг. он был редактором „Gazety Polskiej”). Философов был с ним знаком еще

В. Станиславский, среди эмигрантов по отношению к нему сохранялась стойкая неприязнь, не поддающаяся объяснению¹⁴. Ему предъявлялись обвинения в „сотрудничестве с польскими государственными органами”, „принятии от поляков средств на издание «За свободу!»”, а также „в сотрудничестве в качестве информатора спецслужб”¹⁵. Станиславский подчеркивая неясности с финансированием газеты „За свободу!”, не сомневается, что „в 1920–1921 гг. издание финансировал РЭК (Русский эвакуационный комитет), основной бюджет которого составляли средства польского военного министерства; вполне возможно, что и позже редакция получала нерегулярные дотации от польского государства, большая часть средств поступала, тем не менее, от продажи газеты”¹⁶.

Газета „Меч” (фр. „Le Glaive”) – первоначально русскоязычный еженедельный журнал, а затем газета (с 21-го номера), издававшаяся в Варшаве в 1934–1939 гг.¹⁷ „Меч” должен был также распространяться

по Русскому политическому комитету (РПК), основанному в 1920 г., в котором сам занимал должность вице-председателя (председатель – Б. Савинков) и генерального секретаря, в то время как полковник Медзиньский, являясь одним из ближайших сотрудников Пилсудского, осуществлял польское представительство в РПК, а также являлся начальником отдела военного министерства и нес ответственность за деятельность русских организаций в Польше. Есть основания предполагать, что средства и содействие для своей издательской деятельности Философов искал именно у него. Ср.: [online] <http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Miedzi%C5%84ski> (15.06.2013).

¹⁴ Ср.: В. Станиславский, *Согласие и раздоры, Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой. Статья вторая*, „Новая Польша” 2006, № 9 (78), с. 35–40, [online] <<http://a-pesni.golosa.info/grvojna/bel-emigr/a-soglirazd.php>> (15.06.2013). Возможно, объяснение следует искать в личности Д. Философа, напр. Дж. С. Дюррант в своей публикации цитирует письмо М. Арцибашева Б. Савинкову от 22 февраля 1924 г., где приводится характеристика Философова, данная Арцибашевым, ближайшим его сотрудником единомышленником: „Конечно, Д.В., добывая средства, оказывает газете огромную услугу. Возможно, и наверное даже, что если бы его не было, газета давно бы лопнула. Но все-таки это не дает ему права считать себя единственным. [...] А между тем, он держится не только полновластным хозяином, но и хозяином с большой дозой прямого самодурства. [...] Д.В. человек любопытный, но какого-то бабьего нрава. Он и тщеславен, и болезненно обидчив, и капризен, и мелочен, и мстителен, как избалованная женщина. [...] В общем, он создает тяжелую атмосферу в редакции, и это не искупается, ибо как газетный редактор он никуда не годится. Он совершенно не отдает себе отчета в действительных потребностях нашего читателя и не умеет разобратся в ценности материала. Отсюда загромождение газеты «высокой политикой», до которой нашему читателю нет ровно никакого дела, и невозможной скуки церковной тухли”. М. Арцибашев, *Письма Борису Савинкову*, предисл., подгот. текста и примеч. Д. Зубарева, „De visu” 1993, № 4 (5), с. 50–51. Цит. за: Дж. Дюррант, *op. cit.*

¹⁵ В. Станиславский, *Согласие и раздоры*.... А. Пеплоньский, отмечая тщательность в отчетности польских спецслужб, приводит в качестве примера один такой отчет расходов по оперативной работе Реферата „Восток” за февраль 1939, где красноречиво значится сокращения „Dm. Fii. – 420,00 zł.”. Ср.: А. Peplowski, *op. cit.*, с. 50.

¹⁶ В. Станиславский, *Согласие и раздоры*....

¹⁷ В силу ограниченности объема статьи анализом будут охвачены лишь 45 номеров издания (практически первый год его существования – с мая 1934 по март 1935).

в Париже, а также устанавливать сотрудничество с русскими эмигрантами в разных центрах эмиграции (напр., Варшава, Париж, Прага). „Меч”, в отличие от других эмигрантских изданий, не использовал т. наз. новую орфографию. Первый номер вышел 20 мая 1934 г. Редакционный комитет возглавил Дмитрий Философов (главный редактор в Париже Д. Мережковский), в число членов редакции вошли В. Бранд, Е. Вебер, Г. Соколов. Первый год издания „Меча” можно поделить на два этапа: в качестве журнала – номера 1–20, и газеты – номера 21–45. В концепции „Меча” этот перелом оставил свой след: если в первый период журнал был достаточно сдержан, описывая советскую действительность (в среднем, ей посвящались 1–2 материала номера – а в этот период преобладали сдвоенные номера, правда, журнального формата (современного А4), максимальным объемом 32 страницы), то после перелома этих материалов становится больше (до 13-ти в 8-страничном номере, правда, большего – газетного формата). С 21-го номера Д. Философов перестал экспонироваться в качестве „председателя редакции”, его публикации не занимают первых страниц журнала и становятся случайными, на первой странице в составе редакции обозначены В. Брандт и Г. Соколов¹⁸. Можно предположить, что в силу возраста Философова либо внутренних разногласий, либо по соображениям конъюнктуры формат издания во всех смыслах изменяется. В Париже к этому времени также раздаются голоса критики, в частности, Г. Адамович опубликовал критический отзыв в „Иллюстрированной России”¹⁹, вряд ли он это сделал без санкции Д. Мережковского и З. Гиппиус (их материалы тоже перестают появляться в „Мече”).

¹⁸ В.В. Брандт (ум. 1942 Варшава); капитан артилл. во время Первой мировой войны, подполк. Добровольческой Армии, поэт, журналист, участник варшавской *Таверны поэтов*, *Антологии русской поэзии в Польше*, альманахов *Новь* и *Шестеро*, опубликовал поэтический сборник *Стихи* (Варшава 1932), сотрудник журнала „Грань”. См.: *Русская эмиграция в Польше 1919–1945 – алфавитный указатель*, сост. А. Мохоля, П. Лавринец, [online] <www.mochola.org/russiaabroad/ruspldb/ruspl_b.htm> (15.06.2013).

¹⁹ Ср.: „Мне бы хотелось [...] дать характеристику [...] варшавскому журнальчику «Меч», но это дело затруднительное: как характеризовать пустое место. Слов много, а мыслей незаметно. В первом номере были помещены «лозунги» – вроде того, что лошадь должна есть сено и овес, а эмигрант должен ненавидеть большевиков. Затем последовало несколько не вполне грамотных статей и совсем безграмотный роман на евангельские темы. Все это было бы ничего [...], если бы «Меч» не заявил во всеобщее сведение, что призван спасти цивилизацию и обновить мир. При таких претензиях снисхождение неуместно. [...] хочется только пожелать сотрудникам курьезного «Меча» немедленно устроить кружок самообразования и саморазвития”. Ср.: „Иллюстрированная Россия”, № 34, 18.08.1934. Цит. за: А Бем, *Письма о литературе: О литературной полемике*, „Меч”, № 21, 7.10.1934, с. 6.

Первый номер – программный по своей структуре и содержанию – открывается статьей Д. Философова, в которой тот не скрывал своих намерений, отсылая к Библейскому: „Не мир, но меч”²⁰, подчеркивает: „наступило время, когда [...] эмиграции надлежит пробудиться, выйти из состояния блаженного усновения и тупого прозябания. Иначе эмиграция погибнет, сойдет на нет, потеряет смысл своего существования. Мы призываем ее к возрождению, хотим пробудить ее энергию” (с. 3). Журнал был задуман как „антикоммунистический, антиматериалистический, антимарксистский”, который должен продолжить борьбу с большевизмом. По мнению Философова, большевизм вошел в стадию застоя, закрепостив живые силы русского народа, следует поэтому воспользоваться имеющейся в эмиграции свободой, покончить с уравниловкой интернационализма, выработать новую иерархию ценностей, признать здоровый национализм началом не застоя, а движения (с. 4). Философов призывал к борьбе с установившимся – и уже достаточно прочно занявшим свои позиции советским строем. Объявляя журнал „Меч” проектом не партийным, Философов кривил душой – его задача состояла в воскрешении активизма²¹, т.е. выражал поддержку политической доктрины той части эмиграции, которая вела активную борьбу с большевистской властью с целью ее свержения. Философов расширяет значение активизма до размера, по меньшей мере, мирозерцания: „активизм должен быть творческим, ответственным, действенным, лишенным, как пессимизма, так и оптимизма. Он должен быть трагическим. Он должен стать мирозерцанием, пронизывающим все области человеческого делания” (с. 4).

На первом этапе существования журнала основное внимание уделяется подведению итогов изгнания, экспонированию преимуществ эмигрантов по сравнению с жителями метрополии, а также определению дальнейших путей развития как эмиграции, так и советской России. Ангажированность в политику обоих лагерей прекрасно осознается: „мы живем в такое время, – пишет В. Злобин, – когда трудно себе представить какую-либо область человеческого духа, совершенно от политики оторванную, особенно столь близкую к жизни, как литература и литературная критика. [...] Даже материал информационный, и тот нередко «обрабатывается»”²². Непременным мотивом практически всех материалов

²⁰ Д. Философов, *Чего мы хотим*, „Меч”, № 1–2, 20.05.1934, с. 3.

²¹ Термин, широко использовавшийся, напр., в работах П. Струве в 20-х гг. в среде белой эмиграции.

²² В. Злобин, *Бледное чудовище*, „Меч”, № 3–4, 27.05.1934, с. 9.

(а основная масса материалов на этапе журнала „Меч” была посвящена эмиграции) стало подведение итогов 15-летию русской эмиграции. Заслуги эмиграции либо подчеркиваются (напр., А. Бем к задачам эмигрантской литературы относит „выявление правды своего изгнания, противопоставление своей правды той системе псевдоценностей, на которой строится жизнь в советской России”²³), либо отвергаются: „мы предали – самое драгоценное, самое святое, что у нас было и без чего жизнь наша в изгнании теряет всякий смысл – идею свободы человеческой личности”²⁴.

При этом советская и некая идеальная Россия резко противопоставляются, большевизм предстает абсолютным злом, а большевики – по мнению Е. Вебера – „делают все [...], чтобы исказить облик России, чтобы внести в чувство наше к ней великое и горькое сомнение. То, что они пишут о ней, страшно. То, как они о ней рассказывают, способно убить веру в русский народ, в здоровые силы России”²⁵. Представление о ситуации в Советском Союзе при этом максимально упрощается, „вся советская юмористика дает не людей, а уродов; вся советская печать усердно помогает в поругании, осквернении человеческого облика и подobia”²⁶. Вывод из этого автор сводит к моральной стороне ситуации – негативные явления суть нежелание русского народа „жить и работать так, как хочет этого коммунистическая партия”²⁷. Только эмигранты – поскольку именно они знают „подлинный облик народа” – способны отличить правду от лжи. Закрепощенные большевизмом силы прорываются в виде „подвига челюскинцев”, „самоотверженного труда ученых”, „героической выносливости” рядового русского человека. Возникает некая этическая поляризация в оценках действительности – положительные стороны советской действительности оцениваются в категориях прорыва творческих сил русского народа, все же негативные явления происходят исключительно по вине господствующей власти.

В таком же духе ведется критика отдельных явлений советской жизни, повторяюсь, представленных первоначально достаточно скромно. Например, в статье В. Евгеньева речь идет о состоянии и подготовке педагогических и медицинских работников в советской России по

²³ А. Бем, *Письма о литературе. О прошлом и настоящем*, „Меч”, № 1–2, 20.05.1934, с. 12.

²⁴ В. Злобин, *op. cit.*

²⁵ Е. Вебер, *Искаженные черты*, „Меч”, № 6, 10.06.1934, с. 3–4.

²⁶ *Ibidem*, с. 4.

²⁷ *Ibidem*.

материалам „Правды”²⁸, о критике транспортной системы и животноводства²⁹, статья В. Брандта посвящена реорганизации советской школы, перемене курса советского правительства – проповеди зажиточности, превозношении семьи и многосемейности, осмеянии старых идиологов, что должно подтвердить излюбленный тезис эмигранта, что якобы „советское правительство не может эволюционировать”³⁰. Надо заметить, что рассказ о челюскинцах – с характерным названием *Чаша унижений* – сопровождается рядом примеров бегства советских граждан из СССР, в самом факте чествования профессора Отто Шмидта усматривается акт его унижения. В контекст челюскинцев помещен также анализ причин внесения новой поправки в УК СССР³¹ о наказании за бегство из СССР в связи со spectacularным бегством двух профессоров – Григория Нольде и Ивана Боронцова, которые сообщили журналисту „Ситтль Дэйли Таймс”: „Мы всегда мечтали вырваться из советского ада. Крушение судна явилось для нас избавлением, и мы не желаем возвращаться туда, где никакая серьезная работа невозможна”³². Основание, позволяющее автору связать эти два обстоятельства, состоит в следующем: полярные летчики, проработавшие за полярным кругом более 3 лет „имеют возможность выехать за границу на 6 месяцев. Из среды челюскинцев этим правом могут воспользоваться около двух десятков человек. Вот для того, чтобы никто из них не прильстился примерами Нольде и Боронцова и издаются подобные декреты”³³.

В 21 номере – уже – газеты (от 7 октября 1934 г.) изменяется визуальный формат, используется современная графика (но при этом сохраняется старая орфография). Изменяется сама структура газеты – она содержит больший процент информационного материала, введены постоянные

²⁸ В. Евгеньев, „Продукция с изъяном”, „Меч”, № 1–2, 20.05.1934, с. 14.

²⁹ В. Евгеньев, *Узкие места*, „Меч”, № 3–4, 3.06.1934, с. 12.

³⁰ В Брандт, *Тактический ход*, „Меч”, № 8, 24.07.1934, с. 8–9.

³¹ Ст. 58-1а. Измена родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу караются – высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества. 20 июля 1934 г., СУ No. 30, ст. 173. Цит. за: Б. Яковлев, А. Бурцев, *Концентрационные лагеря СССР*, [online] <http://thelib.ru/books/yakovlev_b_burcov_a/koncentracionnie_lageri_ssr_otrivki-read.html> (15.06.2013).

³² А. Домбровский, *Чаша унижений*, „Меч”, № 9–10, 8.07.1934, с. 14.

³³ Ibidem, с. 15.

рубрики: *Международное обозрение*, *Неделя радио* – о возможностях нового медиального канала, текущие события российской эмиграции *Эмигрантская жизнь*, *Местная жизнь*, *Вести из Варшавы* – новости из столицы и провинции: Лодзи, Гродно, Ковеля, Пинска, Бреста-над-Бугом и др., и прежде всего, но чуть позже – *Как живут в СССР* и *В СССР за неделю*, печатаются художественные произведения, тематически связанные с советской действительностью, в частности *Иван Калюжный* А. Домбровского, помещена рубрика обратной связи – отклики читателей, а также большое количество „живых” документов – материалов, написанных очевидцами советской действительности.

Заново формулируется программа газеты, содержащая те же декларации, что и 20 номеров назад, которые можно свести к необходимости работать над сознанием эмигранта, который в суете повседневности забыл о высокой миссии эмигранта (скатился до позорного статуса беженца): „свою задачу «Меч» усматривает в содействии [...], просветлении эмигрантского сознания и распространения реального знания”³⁴, – сообщает редакционная статья, это будет выражаться в том, что „исходя из убеждения, что светлое будущее нашей родины лежит на путях создания великой имперской России, редакция «Меча» с особым вниманием будет отмечать процессы, совершающиеся как в СССР, так и в эмиграции, которые приближают воплощение в жизнь исторически заданной идеи”³⁵. Коммунистическая власть объявлена „основным злом”, преодолеть которое можно только революционным путем. Редакция обещает заняться „точным учетом” создавшейся политической и социальной обстановки, и в качестве главной задачи объявляет „возможно более полное и совершенно объективное освещение жизни в СССР”³⁶. И слово свое сдерживает. Каждый следующий 8-страничный номер содержит от 4-х сначала до 13 обширных материалов о жизни в советской России, а также может содержать небольшие заметки либо сообщения.

Позиция газеты и в то же время ее высокая миссия уточняется в другой статье: „*Фронтовики*” и „*тыловики*” этого же 21-го номера (с. 2), где один из редакторов газеты В. Брандт выдвигает лозунги, предполагающие необходимость выработки в эмигранте внутренней „партийной дисциплины”. Что особенно настораживает – абсолютная твердость

³⁴ [Программная статья], „Меч”, № 21, 7.10.1934, с. 1.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Ibidem.

и уверенность в собственной правоте: работоспособность, трудолюбие, добросовестность и талантливость эмигрантов из России „ничего общего не имеет с главной целью пребывания вне России” – т.е. в „организации борьбы за освобождение страны”. В последнем, по мнению автора, „эмиграция оказалась бездарна”. Чем должен заниматься эмигрант, чему посвящать время – все усилия, направленные эмигрантом на выживание, осуждаются редактором: „нельзя служить двум богам – благополучию и России. Работа в организации, самовоспитание, самообразование и подготовка себя для строительства будущей России – такова программа, и в ней нет места развлечениям, отдыху, заботам о личном благополучии”. Такая непримиримая позиция редакции (Брандт был обозначен на титульной странице газеты представителем редакции), и помещенные на 1-ой странице заверения, что „одной из главнейших задач редакция считает возможно более полное и совершенно объективное освещение жизни СССР” вызывают определенную рефлексию.

Точно такая же тенденциозность с налетом некоего злорадства сквозит практически из каждой газетной заметки, посвященной проблемам, связанным либо с детскими яслями³⁷, либо с отчетами съезда советских писателей. На страницах газеты тщательно прослеживаются события, к которым имеет отношение Советский Союз, как международные – напр., вступление СССР в Лигу Наций с соответствующими редакционными и частными комментариями: „противобольшевистскую эмиграцию охватывает чувство страшного одиночества и изолированности. Нет друзей, нет сочувствующих. Нет сострадающих”³⁸, или критика Сталиным Коминтерна, вызвавшая панику среди западных коммунистов³⁹, так и внутренние события – убийство С. Кирова, отравление В. Куйбышева, реакция на выступление Сталина *Об овладении техникой*⁴⁰, упразднение хлебных карточек, знаменующее переход от распределительной системы к государственной торговле, повышение заработной платы рабочим и служащим (1 янв. 1935 г.)⁴¹, потери в сельском хозяйстве на фоне мирового голода и эпидемии самоубийств, вызванных мировым

³⁷ *Изо дня в день. От колыбели до асфальтового котла*, „Ignis”, № 21, 07.10.1934, с. 2.

³⁸ Н. Цуриков, *Духа не угашайте*, „Меч”, № 22, 14.10.1934, с. 2.

³⁹ Приводятся слова И. Сталина: *Политбюро и Коминтерн*, „Меч”, № 29, 2.12.1934, с. 3.

⁴⁰ [автор настоящей статьи только три месяца тому назад бежал из СССР], *Техническая пропаганда*, „Меч”, № 28, 1934, с. 5.

⁴¹ *Уничтожение хлебных карточек*, „Меч”, № 29, 2.12.1934, с. 1; В Евгеньев, *Отмена карточной системы*, „Меч”, № 30, 9.12.1934, с. 5; В Евгеньев, *Без карточек в городе и деревне*, „Меч”, № 35, 13.01.1935, с. 4.

кризисом⁴², превращение Саровского монастыря в совхоз⁴³ и т.д., а также разного рода отрицательные, менее знаменательные явления и события, которые тщательно выбираются из материалов советской прессы. „Меч” реагирует на крупные события внутри СССР обширными публикациями. Например, первому съезду советских писателей посвящены две статьи⁴⁴, ставшие поводом для проведения экскурсов в советскую литературу. С позиции экспертов пишутся заметки о том, как в действительности живут в СССР: „Шествия, речи, торжественные съезды, крик о „достижениях”, газетная шумиха – все это внешняя сторона стороны советской медали, не дающая понятия об истинном положении в России”, истинное представление о жизни черпается из советских же газет, например, из „Вечерней красной газеты” (20.09.1934), в которой ведется критика ужасных жилищных условий, или из московских „Известий” (15.09.1934), в которых пишут об уменьшении выпуска медикаментов на 20% в 1933 г. по сравнению с 1931 г. Перечисляются также такие вопиющие недостатки советской действительности, за которые широко критикуют советские же газеты, как отсутствие товаров первой необходимости, напр., „кнопок, поясов, галош больших размеров”, или о том, что в СССР повсеместно „обвешивают, обсчитывают, обмеривают” и проверки выявили, в частности, 105 неправильных весов и 572 гири – это только в 2-х кварталах Ленинграда⁴⁵. Сельское хозяйство, а в частности, ситуация с хлебозаготовками в колхозах анализируется в статьях В. Евгеньева⁴⁶.

Большую ценность в социологическом отношении анализируемые события представляют в статьях-отчетах, где тщательно приводятся, напр., цены отдельных блюд в ресторанах, меню, размер чаевых или характер посетителей ресторанов, одежда дам и т.п., а также настроение той части населения, которой такие развлечения недоступны (*Письмо из Одессы*): „обозлен, ожесточен житель, но что он может сделать. Зажатый в теснейшие тески нового террора – он боится открыть рот, шевельнуть пальцем, не так посмотреть: измена отчизне – вещь растяжимая, обвинить в ней можно легко и начнутся страдания детей, родных и всех, кто имел несчастье быть поблизости”⁴⁷. В статье *Как питаются в Ленинграде* приведены столбики

⁴² Плаунов, *В советской России*, „Меч” № 29, 02.12.1934, с. 5.

⁴³ „Меч”, № 29, 2.12.1934, с. 1.

⁴⁴ Е. Вебер, *Советская литература и советская действительность*, „Меч”, № 21, с. 3; А. Слонимский о съезде писателей, „Меч”, № 23, 21.10.1934, с. 2.

⁴⁵ *Как живут в СССР*, „Меч”, № 21, с. 3.

⁴⁶ Напр.: В. Евгеньев, „Приметы осени” в СССР, „Меч”, № 23, 21.10.1934, с. 2.

⁴⁷ *Письмо из Одессы*, „Меч”, № 24, 31.10.1934, с. 6.

цен на продукты, цены в коммерческих ресторанах, ситуация на частном рынке, размер заработной платы различных категорий советского населения⁴⁸.

Материалы очевидцев представлены широко, например, подписанный инициалами А.П. репортаж о юноше, сыне кулака, прошедшем заключение в советских и немецких тюрьмах: „гитлеровские тюрьмы кажутся ему местом отдыха”⁴⁹, материал Д. Глухова *Как я провел отпуск в деревне (Из записок комсомольца)*⁵⁰ – о ситуации в советской деревне, а также статьи с характерными заголовками: *Излечившийся коммунист*⁵¹, *Рассказ беглеца из Советской России*⁵², *Молодой советский инженер о себе*⁵³, *Из беседы с красным генералом ИВЖ („ЗР”)*⁵⁴, *Из бесед со старым большевиком*⁵⁵ и некоторые другие представляют собой живое свидетельство людей, живущих в советской России либо недавно ее покинувших.

Литературное творчество представлено скромнее, чем прежде, и, можно сказать, целенаправленное – продолжают печататься пафосные произведения на религиозные темы, как, например, роман *После креста* Н. Новаковской (дань уважения Д. Философова), остаются ностальгические стихи поэтов-эмигрантов и циклически печатавшаяся повесть А. Домбровского *Иван Калюжный* о заключениях чекиста на фоне советских реалий, а также *Богородица невеста* (этюда к роману), *Доктор Паскаль*, *Юнцы* (этюда к роману) А. Амфитеатрова, *Письма о литературе* А. Бема, некоторые литературные труды Философова. В целом газета становится информативно-аналитической, достаточно быстро реагирующей на события в мире, в Польше, СССР, а также в среде русских эмигрантов.

Обращаясь сегодня к изданию „Меча”, можно не только восстановить хронику событий русской эмиграции в Польше, а также ее видение советской действительности, но и задуматься над проблемой русской идентичности, которая приобретает – как это для нее характерно – двуполярное измерение.

⁴⁸ Ю. Матвеев, *Как питаются в Ленинграде*, „Меч”, № 32, 23–25.12.1934, с. 4.

⁴⁹ А.П., *С той стороны*, „Меч”, № 22, 14.10.1934, с. 4.

⁵⁰ Д. Глухов, *Как я провел отпуск в деревне (Из записок комсомольца)*, „Меч”, № 31, 16.12.1934, с. 6–7; № 35, 13.01.1935, с. 6; № 37, 27.01.1935, с. 4; № 38, 03.02.1935, с. 5.

⁵¹ *Излечившийся коммунист*, „Меч”, № 26, 4.11.1934, с. 6.

⁵² А.П., *Рассказ беглеца из Советской России*, „Меч”, № 26, 11.11.1934, с. 6 и № 27, с. 4.

⁵³ А.П., *Молодой советский инженер о себе*, „Меч”, № 36, 20.01.1935, с. 4.

⁵⁴ *Из беседы с красным генералом ИВЖ („ЗР”)*, „Меч”, № 35, 13.01.1935, с. 6.

⁵⁵ *Из бесед со старым большевиком*, „Меч”, № 36, 20.01.1935, с. 5 и № 37, 27.01.1935, с. 4.

Явление, описанное выше, прекрасно иллюстрирует свойство русской идентичности как бы „предавать” основную суть идентичности как фактора объединяющего. Вместо объединения она становится причиной непримиримой вражды. Русский становится смертельным врагом русского именно потому, что оба они – русские. Трудно в рамках этой статьи подробно остановиться на содержании этого противоречия. Возможно, оно состоит в острой непримиримости архаических и более современных форм сознания, существовавших одновременно, не успевших в значительной степени переродиться одна в другую в силу конкретных исторических причин, законсервировавших архаические формы сознания, не позволивших им трансформироваться в более современные. Это формирует две системы мировоззрения, обладающие твердыми ценностями. Обе эти системы имеют идентичный историко-культурный адрес, пространство каждой из них – это одновременно и пространство другой, они обе русские – и они враждебны друг другу по своей сути. Это именно та метафизическая неизбежность, которая является фундаментом настоящей великой трагедии – неизбежность трагической развязки. Таким образом появляется издание „Меч”, декларирующее самые высокие моральные ценности, что не мешает ему существовать на деньги военной разведки, придерживаться в своих материалах самой очевидной, а иногда даже вполне одиозной тенденциозности, призывая, по сути дела, иностранные государства к войне против своих соплеменников. И это не большевистское издание, а антибольшевистское, что дает повод задуматься над уже устоявшимися схемами, ведь зачастую в справедливом возмущении большевиками, святыми начинают считать всех, кто выступал против них. Не следует ли из этого, что проблемы, которые ставит перед исследователем история газеты „Меч”, призывают искать в исторических оценках факторы, более основательные, чем политическая ориентированность изучаемых явлений, что снимает вопрос их оценки в категориях хороший-плохой. Правдивое объяснение событий редко укладывается в эту схему. Судейская мантия и парик очень к лицу многим исследователям. Но представляется, что история издания „Меч” предостерегает: чтобы судить – надо о предмете суда знать все. А всего, конечно, мы не знаем.

Streszczenie

Rzeczywistość radziecka na stronach warszawskiej gazety emigrantów rosyjskich „Miecz”

W niniejszym artykule analizie poddane zostały materiały opublikowane na łamach warszawskiego tygodnika emigrantów rosyjskich „Miecz” w ciągu jednego roku (pierwsze 45 numerów). Analiza ta została wpisana w szeroki kontekst historyczno-polityczny ówczesnej Polski, a zwłaszcza jej skomplikowane relacje ze Związkiem Radzieckim. W okresie istnienia gazety wyraźny jest podział związany z jednej strony z transformacją czasopisma w tygodnik (nr 21), co doprowadziło do nadania mu informacyjnego charakteru w miejsce analitycznego, a z drugiej – z oddaleniem od paryskiego ośrodka. Polityczny charakter rosyjskiej emigracji warunkował wydźwięk publikacji, albowiem wszelkim informacjom poświęconym tematyce radzieckiej towarzyszyły zjadliwe komentarze, wyraźna retoryka antysowiecka. Widoczny jest również wzrost liczby artykułów poświęconych tematyce radzieckiej (od 1–3 artykułów po założeniu tygodnika do 11–13 pod koniec badanego okresu), różnorodność tematyczna (przemysł, życie polityczne, represje, szkolnictwo, oblicze człowieka radzieckiego itp.), jak też przewaga gatunków publicystycznych z udziałem naocznych świadków, wykorzystaniem dokumentów, wywiadów, powołań na materiały źródłowe z prasy radzieckiej, utworów literackich, w których akcja toczy się w Rosji Radzieckiej. Poddany analizie materiał prowadzi do przemyśleń na temat tożsamości rosyjskiej oraz przyczyn jej tragicznego w skutkach rozłamu.

Summary

Soviet realities by the Warsaw Russian emigrants' weekly "Mech"

In this study the materials dealing with the Soviet realities published in Warsaw by the Russian emigrants' weekly "Mech" during a year period (the first 45 issues) are analyzed. The analysis constitutes a segment of historical and political context prevailing at that time in Poland, especially of its complex relations with the Soviet Union. In retrospect one can observe a distinct turn in the weekly's activity explained partly by a change of its form – from a magazine to newspaper (issue 21) which demanded replacement of its analytic way by more informative attitude and partly by separation from emigrant centre in Paris. The air of publications reflected difficult situation of the emigrants, though all information this way or another dealing with the Soviets was filled with biting comments and sheer anti-Soviet rhetoric. Also a clear quantitative tendency is shown in the number of the Soviets related publications, from 1–3 in the initial period up to 11–13 by the end of the period under the study. The scope of issues was also widening embracing economy, political life, repression, education, Soviet manhood, etc. The publication type change is also traced evolving to a more eye-witness, document support, interview, Soviet source mentioning, citation from contemporary Soviet literature depicting real life columnistic kind. The material analyzed gives much food for thought about the character of the Russian identity and its tragic split.

Key words: Dmitry Filozofov, mother country, Russian emigration, polarization, newspaper „Mech”, bolshevism, Soviet reality.

Monika Karwacka
Uniwersytet Śląski

Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova

Oprócz dokonania w dziedzinie artystycznej Vladimir Nabokov pozostawił wybitną spuściznę krytycznoliteracką, której najlepszym przykładem są eseje zawarte w pośmiertnie wydanych tomach wykładów o literaturze rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej (*Lectures on literature*, 1980; *Lectures on Russian literature*, 1981, *Lectures on Don Quixote*, 1983), które pierwotnie były tekstami wykładów autora *Lolity* na uniwersytetach amerykańskich¹.

Dodać należy, iż droga do posady wykładowcy literatury nie była prosta, nawet dla wybitnego pisarza rosyjskiego, wtedy jeszcze niezbyt popularnego. Nabokov, funkcjonujący na emigracji w Europie pod pseudonimem Sirin, był jednym z wielu wybitnych artystów, uczonych i myślicieli, którzy uciekli do Ameryki przed Stalinem i Hitlerem – wymienić tu należy m.in. Alberta Einsteina, Thomasa Manna, Bertolta Brechta, Igora Strawińskiego, Marca Chagalla i innych. W przeciwieństwie do wymienionych Nabokov przybył do Stanów bez rozgłosu. Brian Boyd zauważa, że w jednym z wykładów pisarz wyraził ubolewanie, iż uchodźcy rosyjscy, reprezentujący ogromny potencjał myśli i kultury, nie spotkali się z tak ciepłym i życzliwym przyjęciem, jak imigranci antyhitlerowscy². Aż „po lata pięćdziesiąte – twierdzi Boyd – opinia amerykańska nie interesowała się niemal zupełnie rosyjskim pisarstwem emigracyjnym”³.

Wykłady o literaturze to owoc pracy dydaktycznej, jakiej Nabokov podjął się w latach 1941–1958 na dwóch amerykańskich uniwersytetach: Wellesley i Cornella⁴. Wygłosił tam cykl wykładów poświęconych najwybitniejszym powieściom literatury zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej. Analizie i interpretacji

¹ Polskie wydania esejów V. Nabokova: *Wykłady o literaturze*, przeł. Z. Batko, Muza S.A., Warszawa 2000; *Wykłady o literaturze rosyjskiej*, przeł. Z. Batko, „Muza S.A.”, Warszawa 2002; *Wykłady o Don Kichocie*, przeł. J. Kozak, „Muza S.A.”, Warszawa 2001.

² B. Boyd, *Nabokov. Dwa oblicza*, Warszawa 2006, s. 210.

³ Ibidem.

⁴ J. Updike, *Wstęp* [do:] V. Nabokov, *Wykłady o literaturze*, Warszawa 2000, s. 20–24.

poddane zostały *Anna Karenina*, *Pani Bovary*, *Mansfield Park*, *W stronę Swana*, *Ulisses* i inne wzbogacone o teksty, które można określić jako okazyjne: *Dobrzy czytelnicy i dobrzy pisarze*, *Sztuka pisarska i zdrowy rozsądek*, *Dedykacja*⁵. Metoda nauczania, jaką się posługiwał, wykluczała dialog ze studentami, narzucała nie zawsze oczywistą dla nich wizję lektury. Tym niemniej uczestnicy kursu poddali się jego swoistemu terrorowi interpretacyjnemu i towarzyszącej mu erudycji, z pożytkiem dla nich samych zresztą. Nabokov zarażał swoim entuzjazmem. We *Wstępie do Wykładów o literaturze* przytoczona została taka oto wypowiedź jednej ze studentek: „Czułam, że potrafi mnie nauczyć czytać książki. Wierzyłam, że przekaże mi coś, co pozostanie we mnie do końca życia – i zostało”⁶.

Wykłady o literaturze i *Wykłady o literaturze rosyjskiej* stanowią niezwykle bogaty materiał do refleksji nad Nabokovowskim dorobkiem krytycznoliterackim, formułującym nowatorskie idee interpretacyjne na materiale uznanych arcydzieł rosyjskich i obcych. Wnikliwa analiza wykładów autora *Lolity* dostarcza także klucza do określenia wzajemnego związku prozy i krytyki Nabokova. Proza krytyczna daje bowiem niepowtarzalną możliwość oglądu jego estetyki. Erudycja, własna oryginalna wizja literatury zapewniają *Wykładowi* wyjątkowe miejsce w historii krytyki literackiej, nie tylko europejskiej.

W niniejszym artykule chciałabym zaprezentować stan badań nad dyskursem krytycznym Vladimira Nabokova we współczesnej myśli literaturoznawczej rosyjskiej i amerykańskiej, odnotowującej największe sukcesy, a na tym tle ukazać polskie osiągnięcia.

Rosyjscy i amerykańscy badacze mają na swoim koncie wiele publikacji naukowych o Nabokowie stojących na wysokim poziomie merytorycznym i metodologicznym. Świadczy o tym chociażby tom rozpraw *Классик без пены*⁷, w którym znalazły się także teksty naukowe poświęcone *Wykładowi o literaturze* i *Wykładowi o literaturze rosyjskiej*. Prace amerykańskich i rosyjskich uczonych, zaprezentowane w języku Puszkina, przedstawiają różne aspekty dyskursu krytycznego pisarza. Większość recenzentów i badaczy *Wykładów* uważa, że „profesor Nabokov” to jedna z masek Nabokova-pisarza, a jego teksty krytyczne stanowią integralną część spuścizny literackiej, którą pozostawił. Robert Alter twierdzi, że strategiczna Nabokovowska metoda analizy dzieł „состоит в достаточно подробном пересказе их сюжета с частным цитированием

⁵ F. Barson, *Metoda edytorska*, [w:] V. Nabokov, *Wykłady o literaturze...*, s. 5–14.

⁶ J. Updike, *Wstęp...*, s. 25.

⁷ *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Рецензии, критические отзывы, эссе, пародии*, pod. ред. Н.Г. Мельникова, Москва 2000.

длинных пассажей, сопровождаемых несложным комментарием по поводу того, что прочитанный отрывок «восхитительно изящен»⁸. Така metoda, dopełniona obecnością Nabokova i jego efektownym stylem ustnego streszczenia, wywołała „magnetyczny efekt”.

Lina Celkova jako jedna z pierwszych rozważała zależności i związki tekstów krytycznych Nabokova z koncepcjami literaturoznawczymi XX wieku: „Изучая эти лекции сегодня, мы видим, что у Набокова не было какой бы то ни было четкой литературоведческой концепции, четкой программы при рассмотрении истории русской литературы”. Badaczka odnotowuje obecność w dyskursie Nabokova metody biograficznej, a także historyczno-kulturowej i psychologicznej (mowa o koncepcjach Mikołaja Owsianiko-Kulikowskiego)⁹. W swojej dysertacji analizuje problem tradycji Puszkina, a także prozy Gogola, Andrieja Biełego i Fiodora Dostojewskiego, które wpłynęły znacząco nie tylko na Nabokowską twórczość, ale również na jego rozumienie literatury w ogóle. Celkova dokonuje próby ustalenia miejsca autora *Ady* w historycznej periodyzacji literatury rosyjskiej, podkreślając rozkwit nabokovistyki w ostatnich latach: „Наследие Владимира Набокова, [...] вот уже много лет находится в центре изучения мирового литературоведения. И если еще в начале 90-х годов в отечественной науке можно было назвать одну-две монографии и несколько статей о творчестве Набокова, то на современном этапе мировое набокоеведение обогатилось многочисленными работами русских ученых, по серьезности и глубине исследований вряд ли уступающих западным”¹⁰.

Wielu rosyjskich badaczy, np. A. Dolinin, porównuje Nabokova i Dostojewskiego¹¹, S. Dawydow pisze o związkach Nabokova z dziedzictwem literackim Puszkina¹², W. Lipieckij zestawia twórczość Nabokova i Gorkiego¹³, A. Złoczewska¹⁴ i S. Załygin¹⁵ odnajdują paralele w dziełach Nabokova i Gogola,

⁸ Р. Олтер, *Рец.: Lectures on Literatures*, [w:] idem, *Классик без ретуши*, Москва 2000, s. 533.

⁹ Л. Целкова, *Литературоведческие концепции В. Набокова (На материале „Лекций по русской литературе”*, [w:] *Литературоведение на пороге XXI века*, под. ред. П. Николаева, Москва 1998, s. 320–325.

¹⁰ Л. Целкова, *Традиции русской прозы XIX века в романах Владимира Набокова 20–30-х гг. и в романе „Лолита”*, Москва 2001, [online] <www.disserscat.com/content/traditsii-russkoi-prozy-xix-veka-v-romanakh-vladimira-nabokova-20-30-kh-gg-i-v-romane-lolita> (20.07.2013).

¹¹ А. Долинин, *Набоков, Достоевский и достоевщина*, „Старое литературное обозрение” 2001, № 1(277), [online] <<http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/dol.html>> (20.06.2013).

¹² С. Давыдов, *Набоков и Пушкин*, „Невское время” 1991.

¹³ В. Линецкий, *Набоков и Горький*, „Вестник новой литературы”, Санкт Петербург 1994, № 7, s. 214–220.

¹⁴ А. Злочевская, *В.В. Набоков и Н.В. Гоголь: На материале романа Защита Лужина*, „Русская словесность” 1997, № 4, s. 24–29.

¹⁵ С. Залыгин, *Набоков и Гоголь*, [w:] С. Залыгин, *В пределах искусства*, Москва 1988, s. 304–306.

a w oparciu o *Wykłady o literaturze rosyjskiej* próbują odnaleźć związki między twórczością Nabokova-krytyka a bohaterami wykładów. Badacze poszukują motywów, sposobu narracji, elementów poetyki podobnych, a nawet takich samych u Nabokova i Puszkina. Władimir Szadurskij¹⁶ odnajduje tekstowe związki w twórczości Nabokova i Czechowa. Pomimo nieskrywanej niechęci i pogardy Nabokova wobec literackich osiągnięć autora *Biesów* dzieła obu pisarzy posiadają wspólny mianownik. Aleksandr Dolinin w swojej pracy konstatuje, że Nabokov czerpał inspirację do napisania swoich powieści z pogardzanych przez niego dzieł Dostojewskiego¹⁷.

Jedną z najbardziej doniosłych prac rosyjskich nabokovistów stanowi rozprawa Andrieja Pawłowa *Проблема читателя в эстетике литературного модернизма: Креативно-рецептивные аспекты лекционного дискурса В. Набокова*¹⁸ z 2004 r. Badacz rozpatruje tu specyfikę dyskursu wykładowego o utworze literackim, przedstawia fenomenologię procesów twórczości i odbioru w estetyce literackiego modernizmu, opisuje doświadczenie hermeneutycznej prezentacji na materiale wykładu o Nikołaju Gogolu. W jednym z rozdziałów monografii Pawłowa pojawia się interesująco ujęte zagadnienie specyfiki gatunkowej *Wykładów* – za dominantę wypowiedzi krytycznych Nabokova badacz uważa streszczenie (*непечказ*). Ostatnia część pracy Pawłowa traktuje o strategiach badania tekstu literackiego w *Wykładach o literaturze rosyjskiej* i kontekście receptywno-dyskursywnym („Стратегии изучения художественного произведения в лекциях по литературе и рецептивно-дискурсивный контекст”). Pawłow w swojej dysertacji stawia interesującą i ważną hipotezę, że *Wykłady o literaturze rosyjskiej* stanowią klucz do zrozumienia epoki modernizmu: „Детальный анализ креативных и рецептивных аспектов лекционной эстетики В. Набокова и соотнесение рассматриваемого дискурса с эстетическими сочинениями других художников слова (многие из них оцениваются в литературоведении как источники взглядов В. Набокова, например, *Мастерство Гоголя* А. Белого) позволяют нам выявить закономерности осмысления проблемы чтения и восприятия в эстетической рефлексии литературного модернизма в целом, а также свойства её дискурсивной организации”¹⁹.

¹⁶ В. В. Шадурский, *В.В. Набоков и А.П. Чехов. К проблеме текстовых связей*, „Набоковский вестник”, Санкт Петербург 1998, Вып. 1: Петербургские чтения, s. 135–141.

¹⁷ Пор. Е.А. Осокина, *Еще раз о любви и нелюви к Достоевскому: В. Набоков о Достоевском*, [online] <http://lenazar.narod.ru/Nabok_Dost.htm> (20.06.2013).

¹⁸ А. Павлов, *Проблема читателя в эстетике литературного модернизма: Креативно-рецептивные аспекты лекционного дискурса В. Набокова*, [online] <www.dissercat.com/content/problema-chitatelja-v-estetike-literaturnogo-modernizma-kreativno-retseptivnye-aspekty-lekts> (20.06.2013).

¹⁹ Ibidem.

Zupełnie inny aspekt twórczości krytycznoliterackiej Vladimira Nabokova, w tym wypadku na materiale eseju o Gogolu, pokazuje rosyjski badacz Władimir Woropajew, zauważając, że Nabokov analizuje dzieła Gogola z perspektywy literaturoznawcy-ateisty, który nie rozumie religijnej głębi twórczości autora *Nosa*: „Ни одного вопроса, связанного с жизнью и творчеством Гоголя, он не осветил в значении истинном, единственно приемлемом. Поэтому ему пришлось измышлять и изобретать все что угодно. Подобные измышления многим кажутся гениальными, так как они исходят единственно из ума исследователя и никакими подходящими к случаю знаниями не подкреплены”²⁰.

W ostatnich latach pojawiło się wiele prac poświęconych osiągnięciom literackim Vladimira Nabokova. Oprócz wspomnianych tomów w Rosji w latach 1996 i 1999 ukazały się dwa numery czasopisma „Звезда” poświęcone twórczości autora *Daru*. Rosyjscy nabokowiści organizują również regularne konferencje, powstają rosyjskie strony internetowe, na których publikowane są teksty pisarza, a także opinie czytelników, teksty krytyków i badaczy.

Warto tutaj odnotować jedną z najbardziej doniosłych rozpraw, jakie pojawiły się w ostatnich latach, autorstwa Michaela Glynna, traktującą także o *Wykładach*. Jej wartość polega na ukazaniu związku myślenia Nabokova z teoriami Henriego Bergsona z jednej i formalizmu z drugiej strony. Glynn dokonuje przeglądu opinii literaturoznawców na temat przynależności pisarza do wybranych szkół literackich i filozoficznych, a następnie konfrontuje je ze swoimi tezami i wnioskami. Sugeruje, że Nabokov w swoich wykładach jest bliższy koncepcjom formalistycznym niż symbolistycznym, ponieważ „jako utalentowany i samoistny nauczyciel literatury wymagał od swoich studentów zaangażowania w poszukiwaniu materialnych cech świata przedstawionego” („As a gifted and indiosyncratic teacher of literature, Nabokov demanded from his students close engagement with the material properties of a depicted Word”). Glynn cytuje komentarz Nabokova do jego wykładu o Kafce, w którym autor *Lolity* mówi o znaczeniu szczegółów i ich wyższości nad ideami – powtarza tę myśl we wszystkich swoich wykładach. Praca Glynna dowodzi, że zarówno *Wykłady o literaturze*, jak i *Wykłady o literaturze rosyjskiej* w istotny sposób determinują estetykę i poetykę Nabokova. Środowisko amerykańskich literaturoznawców wydaje się zresztą najbardziej zaangażowane w badania, co wynika najprawdopodobniej z faktu, że Nabokov wykładał na amerykańskich uniwersytetach

²⁰ В. Ворopaев, *Понимал ли Гоголь себя? Набоков о русском писателе-классике*, [online] <<http://vos.1september.ru/2002/15/8.htm>> (24.07.2013).

i wielu z dzisiejszych badaczy jego twórczości, w tym krytycznej, wywodzi się z grup studentów, z którymi pracował jako profesor. Jest nim na przykład Alfred Appel, który stał się nie tylko wielbicielem jego twórczości, ale również wnikliwym badaczem i jednym z pierwszych amerykańskich nabokowistów²¹.

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, jakie szanse i możliwości zaistnienia w takim otoczeniu mają polscy admiratorzy twórczości Nabokova, wśród których są zarówno recenzenci, krytycy, jak i poważni badacze.

Po publikacji *Wykładów o literaturze rosyjskiej* w 2002 r. pojawiło się wiele pochlebnych, choć zazwyczaj zdawkowych recenzji. Nie można tego powiedzieć o opinii Ryszarda Przybylskiego, który konstatując wysoką wartość wypowiedzi krytycznych Nabokova, odnotowuje ich niepowtarzalność i opozycję wobec ustalonych sposobów widzenia dzieła literackiego: „Cenne są w tych wykładach zgryźliwe uwagi o dorobku badawczym uniwersyteckich historyków literatury. Dotyczy to zwłaszcza mitów interpretacyjnych, które scjentystyczne literaturoznawstwo podało do wierzenia czytelniczej gawiedzi jako raz na zawsze ustalone nie tyle może prawdy, ile fakty”²².

Radosław Romaniuk jest przekonany o geniuszu Nabokova-interpretatora, który bywa wyrobnikiem, kiedy zamienia się w „nudnego, męczącego nawet samego siebie szkolarza”. Krytyk podkreśla specyfikę *Wykładów*: „Wykłady balansują więc między naukową dociekliwością i pisarskim autotematyzmem, który scala z nich Nabokovowską wizję sztuki”²³. Romaniuk ocenia wykłady wysoko, uważając je za jedno z najwspanialszych dokonań autora *Ady*.

Katarzyna Szumlewicz przedstawia w swojej recenzji główne zagadnienia, które zajmują Nabokova w *Wykładach*. Zauważa ciekawą koncepcję czytania według Nabokova, który instruuje czytelnika, jak należy obcować z literaturą, a także czego można, a czego nie wolno od niej oczekiwać. W recenzji Szumlewicz zaprezentowane są literackie upodobania autora *Zaproszenia na egzekucję*, jego fascynacje, negacje, a także sympatie i antypatie wśród wybitnych pisarzy rosyjskich. Badaczka w swojej interpretacji poszukuje uzasadnienia takich, a nie innych wyborów literackich Nabokova. Następnie przedstawia Nabokovowską wizję idealnego tłumacza, która zakłada przede wszystkim eliminację najczę-

²¹ Zob. A. Appel, S. Karlinsky, *The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 1922–1972*, New York 1977; A. Appel, Ch. Newman, *Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations and Tributes*, New York 1970.

²² R. Przybylski, *Wykłady o literaturze rosyjskiej, Nabokov, Vladimir*, [online] <<http://wyborcza.pl/1,75517,858653.html?as=2#ixzz2WUcNeT1p>> (17.06.2013).

²³ R. Romaniuk, *Tamte książki (rec.) V. Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej*, „Nowe Książki” 2002, nr 9, s. 45–47.

ściej popełnianych „grzechów”, opisanych przez autora *Lolity* z nieskrywaną przyjemnością i satysfakcją. Konkludując, Szumlewicz stwierdza, iż pomimo „kiepskich”, zdaniem Nabokova, przekładów, na których zmuszony był pracować, udało mu się „sporządzić tak ciekawe wykłady”²⁴.

Literaturoznawstwo polskie może się pochwalić także bardziej znaczącymi dokonaniem. Książka *Świat za słowami Vladimira Nabokova* Anny Ginter zawiera liczne odwołania do koncepcji estetycznych Nabokova w aspekcie bogactwa językowego tej twórczości²⁵. Autorka analizuje niepoliczalne wręcz chwytły językowe stosowane przez Nabokova, zwracając uwagę na ich oryginalność i innowacyjność, które współtworzą niepowtarzalny sens wypowiedzi – nie tylko artystycznej: „Wykorzystywał bowiem swoje niezwykle umiejętności w tworzeniu multijęzykowych łamigłówek słownych. Jego teksty pełne są kalamburów, anagramów, kontaminacji, paronomazji. Do ich rozwiązania potrzebna jest nie tylko znajomość języków obcych, ale także wiedza m.in. z zakresu botaniki, entomologii, historii sztuki. Pisarz nakładał na siebie przeróżne słowa, mieszał ich językowe odpowiedniki, kreując zupełnie nowe twory językowe. I nadal, jako autor, wprowadza w błąd, dając fałszywe wskazówki. Odnalezienie więc ukrytego sensu dostarcza niebywalej satysfakcji i jest nagrodą za uporczywe i nierzadko długotrwałe poszukiwania”²⁶.

Choć dyskurs krytycznoliteracki analizowany jest przez polskich literaturoznawców w niewielkim stopniu, pojawia się coraz więcej opracowań, które poświęcają uwagę temu zagadnieniu²⁷. Wymienić tu należy Monikę Grygiel, autorkę pracy *Nabokov o Gogolu – od fascynacji ku krytyce*²⁸, która skrupulatnie i wnikliwie analizuje rozprawę krytyczną Nabokova, opisuje i wymienia liczne cechy charakterystyczne nabokowskich rozważań, wskazując na najbardziej

²⁴ K. Szumlewicz, *Z dala od filistrów. [Wykłady o literaturze rosyjskiej – recenzja]*, „Odra” 2003, nr 1, s. 105–107.

²⁵ A. Ginter, *Świat za słowami Vladimira Nabokova. Zabawy słowne i ich przekład*, Łódź 2003.

²⁶ Ibidem, s. 151.

²⁷ Zob.: B. Stempczyńska, M. Karwacka, *Wartościowanie w „Wykładach o literaturze rosyjskiej” Vladimira Nabokova*, [w:] *Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania*, pod red. B. Stempczyńskiej, Katowice 2011, s. 92–111; M. Karwacka, *Wykłady o literaturze rosyjskiej Vladimira Nabokova. Próba określenia gatunku*, [w:] ibidem, s. 76–91; eadem, „Лекции по русской литературе” Владимира Набокова в польской аудитории, [w:] *Слово.ру: Балтийский акцент*, Калининград 2012, s. 57–59; eadem, *Набоков-писатель или Набоков-критик? О лекциях по русской литературе*, [w:] *Современная филология: теория и практика*, Москва 2012, s. 57–61; eadem, *Набоковский анализ художественного текста (на материале Лекций по русской литературе)*, [w:] *Русистика и современность*, Rzeszów 2013, s. 13–19.

²⁸ M. Grygiel, *Nabokov o Gogolu – od fascynacji ku krytyce*, „Roczniki Humanistyczne”, t. LVII, z. 7, Lublin 2009, s. 85–95.

istotne i interesujące fragmenty, które potwierdzają niepowtarzalność idiomu krytycznego autora *Daru*. Podsumowując, Grygiel podkreśla ważny aspekt, który wyróżnia Nabokova-krytyka spośród innych: „Nabokov wyraźnie rozdziela Gogola-człowieka i Gogola-pisarza. Jak widać z nabokovowskiego wizerunku, człowiek z niego godny pożałowania, natomiast wielki pisarz i artysta”. Badaczka uważa, że cechy, który uwydatniają wyjątkowość Nabokova-krytyka, to przede wszystkim jego radykalizm i kontrowersyjność sądów, a także odkrywczność i oryginalność. Według Grygiel bezkompromisowość jego percepcji i oceny literatury rosyjskiej idzie w parze ze zdecydowanym opowiedzeniem się „przeciw literaturze zaangażowanej, literaturze realizmu krytycznego”. Badaczka wskazuje na nierozzerwalny związek twórczości prozatorskiej i krytycznej Nabokova. Uważa, że wyrażona w *Darze*, *Zaproszeniu na egzekucję*, *Bładym ogniu* i *Lolicie* „bezpośrednia krytyka zniewolenia człowieka, apoteoza geniuszu i umiłowanie sztuki” wzbudzą kontrowersje, ale potwierdzają „odkrywczy charakter literackiej metody Nabokova i kategoryczność jego literackiej aksjologii, doskonale tłumaczą także determinację pisarza w krytycznym oglądzie Gogola”²⁹.

Monika Grygiel jest również autorką interesującego tekstu, w którym podkreśla ogromny wkład Nabokova w rozwój współczesnej literatury i twierdzi, że może być on uznawany za jej koryfeusza. Badaczka konstatuje, iż autor *Lolity* nieprzerwanie wzbudza zainteresowanie osiągnięciami literackimi i krytycznoliterackimi: „Zasługi Nabokova dla literatury współczesnej są bezsporne, jego wkład w jej rozwój i nowy kształt niezaprzeczalne, a potwierdzają to nie tylko omówione zagadnienia autotematyzmu i autobiograficzności, lecz także metaliterackość, liryczność, alegoryczność i wiele innych aspektów, które są ciągle przedmiotem badań nad spuścizną Nabokova”³⁰.

Grygiel podsumowuje rozwój badań nad twórczością literacką, metaliteracką, krytyczną i metakrytyczną Nabokova, konstatując zmiany zachodzące w środowisku badaczy: „Jego pisarstwo okazuje się aktualne i inspirujące, a intertekstualne dzieła pisarza ciągle poddają się nowym interpretacjom. Dzisiaj twórczość Nabokova, mimo iż pozostaje hermetyczna, wieloznaczna i intrygująca, budzi znacznie mniej emocji. Dawniej szokujące nowatorstwo dziś uznawane jest za klasykę, chociaż nieprzerwane wywołuje dyskusje, prowokuje do

²⁹ Ibidem, s. 94.

³⁰ M. Grygiel, *Nabokov – koryfeusz kultury współczesnej*, [w:] *Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej*, pod red. A. Ksenicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013, s. 180.

nowych badań”³¹. Nie ulega wątpliwości, że Nabokovowska spuścizna ze względu na swoją różnorodność i bogactwo „bezustannie pozostaje w kręgu badań licznych środowisk naukowych, a nowe publikacje dzieł pisarza potwierdzają, że jest on «wielkim pisarzem», do którego ciągle się wraca i odkrywa «nowe światy», czego tak bardzo sobie życzył w eseju *Dobrzy czytelnicy i dobrzy pisarze*”³².

Najwybitniejszy polski badacz twórczości Nabokova, Leszek Engelking, oprócz licznych wstępów do powieści pisarza, napisał obszerną monografię o metafizyce jako jednej z najważniejszych wartości estetyki Nabokova³³, odwołując się przy tym do *Wykładów o literaturze rosyjskiej* jako źródła wiedzy i weryfikacji swoich hipotez. Engelking określa warunek obcowania/ rozumienia prozy Nabokova, sformułowany w jego wypowiedziach krytycznoliterackich, a polegający na uważnym i wielokrotnym czytaniu tekstu: „Metoda hermeneutyczna, a przede wszystkim metoda *close reading* w odniesieniu do dzieła Nabokova wydaje się szczególnie właściwa, w gruncie rzeczy nieunikniona. Zarazem trzeba powiedzieć, że żadne narzędzia, które pomagają naprawdę wnikać w analizowane tu dzieło, nie powinny być *a priori* odrzucane. Interesuje nas tu przy tym jedynie dotarcie do najgłębszych znaczeń analizowanych tekstów i całości twórczości pisarza, traktowanej jako większa od poszczególnych utworów struktura, a nie puste popisy interpretacyjne czy efekciarskie odwołania do modnych strategii badawczych”³⁴.

Reasumując, stwierdzić należy, iż polskie środowisko ogranicza się do wybranych aspektów badań nad krytyką Nabokova. Pewną nadzieję budzą próby śląskich rusycystów, korzystających z wszechstronnego dorobku teoretycznego polonistyki.

Wypowiedzi krytyczne o literaturze obecne są w całej twórczości Nabokova, również artystycznej, gdzie bohaterowie jego powieści wyrażają opinie na temat literatury, propagując jakże często jej odmianę preferowaną przez samego autora. Wykłady są syntezą myślenia Nabokova o literaturze. W *Wykładach o literaturze rosyjskiej* otrzymujemy cenne kompendium wiedzy literackiej wybitnego prozaika epoki modernizmu, słusznie uznawanego dziś za prekursora postmodernizmu. Okoliczności emigracyjne z całą pewnością przyczyniły się do

³¹ M. Grygiel, *Vladimir Nabokov i krytycy – relacje, oceny dawne i współczesne*, [w:] *Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja*, pod red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 183.

³² Ibidem, s. 184.

³³ L. Engelking, *Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości*, Łódź 2011.

³⁴ Ibidem, s. 4.

ostatecznej postaci Nabokovowskich dzieł artystycznych i wypowiedzi krytycz-noliterackich. Dzięki poczuciu wolności, jakiego doświadczył i o którym mówił, Nabokov mógł wyrazić w swoich wykładach niczym nieskrępowane sądy negatywne na temat funkcjonowania literatury i cenzury w ówczesnym Związku Radzieckim. Gorycz wywołana koniecznością opuszczenia ojczystego kraju, utrata języka ojczystego stanowiły kluczowy motyw działań promujących utwo-ry niedocenione lub zakłamane i zafałszowane przez cenzurę radziecką.

Wykłady o literaturze rosyjskiej to bogaty materiał badawczy, którego wielo-aspektowość i różnorodność daje niewyczerpane możliwości działań eksplora-cyjnych, a także stanowi niepowtarzalną sposobność odkrycia oryginalnych i indy-widualnych przekonań i opinii wybitnego pisarza, który promując i objaśniając dzieła pisarzy rosyjskich, stworzył oryginalny przewodnik po literaturze rosyj-skiej, po literaturze w ogóle, budząc zachwyt dla niepowtarzalności swojej wizji.

Резюме

Польские исследования литературной критики Владимира Набокова

В статье представлено развитие исследований *Лекций по русской литературе* Владимира Набокова в России, Америке и на этом фоне в Польше. Творчество Набокова вызывает постоянный интерес среди исследователей во всем мире, однако литературно-критическое наследие Набокова оставалось вне научного фокуса долгое время, до момента издания *Лекций по литературе*, а потом *Лекций по русской литературе*, сначала в США, а потом в России и Польше. В статье представлена попытка определить масштаб и значение исследований литературно-критического творчества Набокова в разных странах и показать сходство и различие восприятия и интерпретации международных исследователей.

Summary

Polish researches on literary criticism of Vladimir Nabokov

The paper presents development of studies on *Lectures on Russian Literature* by Vladimir Nabokov in Russia, America and on this background in Poland. Works of Nabokov arouses constant interest among researchers all over the world, however, Nabokov's literary-critical heritage remained out of scientific focus for a long time until publishing *Lectures on literature* and later *Lectures on Russian literature* first in the USA and then in Russia and Poland. In the paper there is presented the attempt to determine the scale and significance of studies on literary-critical works of Nabokov in different countries and to show similarities and discrepancies in international researches.

Key words: Nabokov, lectures, criticism, literature, Russian.

Anna Kościółek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obraz Rosji mikołajowskiej w *Pamiętnikach* św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Zygmunt Szczęśny Feliński urodził się 1 listopada 1822 r. w majątku rodzinnym w Wojutynie na Wołyniu w rodzinie szlacheckiej, należącej do elity ówczesnego społeczeństwa polskiego, pielęgnującej wartości chrześcijańskie i patriotyczne¹. Chłopiec rozpoczął naukę w domu rodziców pod opieką guwernerów, kontynuował ją w szkole parafialnej w Nieświczu, następnie w gimnazjach w Łucku, Kiewie i Krzemieńcu.

Na ukształtowanie się osobowości i charakteru syna bardzo duży wpływ miała matka, Ewa z Wendorffów, „kobieta wielkiego ducha i wyjątkowej kultury, a także żywej i głębokiej wiary”². Felińska „była jedną z najbardziej szanowanych Polek swoich czasów, poczytną pisarką, której przemyślenia, zwłaszcza na temat wychowania w pełni doceniano. Należała niewątpliwie do najwybitniejszych osobowości kobiecych, jakie wydały Kresy Rzeczypospolitej w dobie porzeczności”³. Dla przyszłego świętego stała się autorytetem moralnym. Za udział w spisku Szymona Konarskiego Ewa Felińska zesłana została na Syberię⁴.

¹ O atmosferze w domu przyszłego świętego i jego dzieciństwie zob. m.in.: T.A. Frącek, *Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1822–1895*, Wrocław 2011, s. 26–43; Z.Sz. Feliński, *Paulina, córka Ewy Felińskiej*, Szczecinek 2009, s. 16–37; Z.Sz. Feliński, *Pamiętniki*, opracował, przygotował do druku i opatrzył przedmową E. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 74–90 (w tekście cytaty z *Pamiętników* opatrzone zostaną skrótem P i numerem strony); R. Żylińska, *Ks. Zygmunt Szczęśny Feliński Arcybiskup Metropolita Warszawski*, Rzym 1965, s. 7–10.

² T.A. Frącek, op. cit., s. 42. Ewa Felińska znana jest w historii literatury polskiej jako autorka powieści obyczajowych, *Pamiętników z życia Ewy Felińskiej, Wspomnień z podróży do Syberii i pobytu w Berezowie i Saratowie*. Zob. M. Cwenk, *Felińska*, Lublin 2012, s. 117–186.

³ W. Śliwowska, *Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku*, [w:] *Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początkach XX wieku. Zbiór studiów*, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 56–57. O Felińskiej zob. również: W. Śliwowska, *Ewa z Wendorffów Felińskiej myśli i czyny*, [w:] W. Śliwowska, *Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku*, do druku przygotowała A. Brus, Warszawa 2012, s. 319–331.

⁴ O spisku Konarskiego, roli w nim matki przyszłego arcybiskupa zob. M. Cwenk, op. cit., s. 59–84; Z.Sz. Feliński, *Pamiętniki*, s. 109–134; W. Śliwowska, *Ewa z Wendorffów Felińskiej myśli i czyny*, s. 321–326. O aresztowaniu zob. Z. Sz. Feliński, *Paulina, córka Ewy Felińskiej*,

Jej syn dostał się pod opiekę Zenona Brzozowskiego (1806–1887), zamożnego obywatela ziemskiego z Podola. Dzięki jego pomocy finansowej studiował matematykę na Uniwersytecie Moskiewskim (1840–1844)⁵.

Po studiach Feliński odbył praktykę rządową w kancelarii gubernatora w Moskwie, w celu zdobycia tak zwanej „rangi urzędniczej” (1845). Później przez dwa lata pracował w Sokołowie u Zenona Brzozowskiego oraz pełnił obowiązki sekretarza w Stowarzyszeniu Opieki nad Sybirakami (1845–1847). Jesienią 1847 r. opiekun wysłał go do Francji w celu dalszego kształcenia. Przez Lwów, Kraków, Wiedeń, Pragę, Drezno, Berlin i Brukselę młody człowiek przybył do Paryża, gdzie studiował na Sorbonie i w College de France. Nad Sekwaną nawiązał liczne stosunki z przedstawicielami emigracji polskiej⁶.

W styczniu 1851 r. powrócił do kraju, a w październiku tegoż roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu. Miał wówczas 29 lat i bogate doświadczenie życiowe za sobą: „Poznał kulturę wschodniej i zachodniej Europy, kształcił się w znamienitych uniwersytetach, zapoznał się z różnymi poglądami politycznymi, zaznał biedy i osamotnienia, ale też doświadczył życia na wielkopańskim dworze”⁷. Był człowiekiem dojrzałym zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym. Na jego decyzję poświęcenia się służbie Panu niewątpliwie wpływ miała śmierć przyjaciela, Juliusza Słowackiego, który pojednany z Bogiem, opatrzony sakramentami, zmarł na rękach Felińskiego (3 kwietnia 1849)⁸.

W 1852 r. kleryk wysłany został na dalsze studia do Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu⁹. W 1855 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz i nauczyciel w szkołach dominikańskich w parafii św. Katarzyny w Petersburgu. Zainteresował się losem sierot i bezdomnych starców. Z pewnością na wrażliwość kapłana wobec potrzebujących miały wpływ jego doświadczenia osobiste. Wcześniej stracił ojca, matka

s. 107–109. Warto podkreślić, że Ewa Felińska była jedną z niewielu zesłanek politycznych na Syberii w XIX wieku. Najczęściej kobiety udawały się na zesłanie dobrowolnie, za mężem czy narzeczonym (M. Cwenk, op. cit., s. 11). Matka przyszłego świętego została zesłana „na wieczne zamieszkanie” do Berezowa, później przeniesiono ją do Saratowa.

⁵ T. A. Frącek, op. cit., s. 67–69.

⁶ Ibidem, s. 113–115. O spotkaniach z przedstawicielami polskiej emigracji zob. Z.Sz. Feliński, *Pamiętniki*, s. 241–280.

⁷ B. Wójcik, *Charyzmat i łaska w życiu, dziele i pismach bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego*, Olsztyn 2008, s. 11.

⁸ T. A. Frącek, op. cit., s. 143.

⁹ Rektorem Akademii Duchownej, a jednocześnie metropolitą mohylewskim (Petersburg należał do archidiecezji mohylewskiej) był wówczas arcybiskup Ignacy Hołowiński (1807–1855), uczony i pisarz, wykładowca homiletyki. Na spowiednika Z.Sz. Feliński wybrał księdza Konstantego Ireneusza Łubieńskiego (1825–1869). *Pamiętniki* zawierają bogate informacje na temat stanu Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim. Zob. Z. Sz. Feliński, *Pamiętniki*, s. 383–472.

została zesłana na Syberię. Feliński zorganizował w 1857 r. schronisko dla ubogich rzymskokatolickiego wyznania. Jednocześnie założył żeńskie zgromadzenie zakonne pod nazwą „Rodzina Maryi” i powierzył siostrze opiekę nad sierotami i starcami w tymże schronisku. Było to pierwsze i jedyne wówczas zgromadzenie zakonne w Petersburgu. Działo w ukryciu, a na zewnątrz występowało jako schronisko katolickie, którego statut uzyskał zatwierdzenie samego monarchy Aleksandra II¹⁰. W 1857 r. ks. Feliński został powołany na kapelana i ojca duchownego alumnów petersburskiej Akademii, a dwa lata później objął katedrę filozofii w tejże uczelni.

W dniu 6 stycznia 1862 r. papież Pius IX mianował duchownego arcybiskupem warszawskim. Jednak pasterzowanie Felińskiego trwało zaledwie 16 miesięcy (od 9 lutego 1862 r. do 14 czerwca 1863 r.) i przypadło na okres największego wrzenia w społeczeństwie, manifestacji patriotycznych i wybuchu powstania styczniowego¹¹. Metropolita spotykał się z podejrzliwością rodaków, którzy nie ufali przybyłemu z Petersburga duchownemu. Zdawał on sobie sprawę z tego, że w Warszawie uważano go za „rządową kreaturę” (P, 489). W *Pamiętnikach* wspominał:

Z postawieniem nogi na ziemi warszawskiej zaczęło się moje trudne, po ludzku mówiąc, niemożliwe posłannictwo. Znalazłem się sam jeden, bez przyjaciół osobistych, bez politycznych stronników, bez tej nawet pomocy, jaką daje doświadczenie i rutyna; mając przeciw sobie z jednej strony rząd, co zawzięcie dotąd prześladował wszystko, co mi jest najdroższym; jeśli zaś chwilowo chwycił się innego systemu, to na każdym kroku widocznym było, że czyni to na przekór wewnętrznemu usposobieniu; z drugiej zaś strony stronnictwo ruchu, poczytując za zbrodnię każde antyrewolucyjne dążenie i głoszące przed narodem, że rządowym tylko poplecznikiem, przysłanym na sparaliżowanie szlachetnych usiłowań patriotów (P, 490).

W Królestwie Polskim Felińskiego uważano za zdrajcę, sługę cara i karierowicza¹². Aleksander II sądził, że niezaangażowany w spory polityczne kapłan

¹⁰ Ibidem, s. 177–188.

¹¹ Ibidem, s. 229.

¹² R. Żylińska, op. cit., s. 36; T. A. Frącek, op. cit., s. 221–223. Zob. także M. Godlewski, *Tragedia arcybiskupa Felińskiego*, Poznań 2007. Feliński miał pomóc w uśmierzaniu „zrewolucjonizowanego duchowieństwa” i przywrócić „karność wśród społeczeństwa” (F. Ramontowska, *Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860–1862*, Wrocław 1971, s. 302), mówiąc krótko w przywróceniu porządku i uspokojeniu nastrojów. Widziano w nim propagatora ugody z rządem rosyjskim, dlatego przed wyjazdem do Polski został poinstruowany „jak powinien postępować” (F. Ramontowska, op. cit., s. 354). Najważniejszych wskazówek udzielił duchownemu sam Aleksander II w przeddzień konsekracji, w tym przekazał mu odpowiednie informacje personalne, rekomendując na wyższe stanowiska te osoby, które dały dowody lojalności wobec władzy rosyjskiej (F. Ramontowska, op. cit., s. 355).

będzie uległy wobec zaborcy. Duchowny dokładnie zrelacjonował w *Pamiętnikach* swoją rozmowę z cesarzem (P, 485–488), która miała miejsce w czasie audjencji 26 stycznia 1862 r. Jasno określił wówczas swoje poglądy i nie wykażał chęci współpracy z rządem carskim¹³. „Musiał wykonywać swoje posłannictwo wśród narastających represji ze strony zaborcy, nieufności wobec siebie znacznej części duchowieństwa i ciągłych utarczek różnych polskich ugrupowań politycznych. Pomimo niesprzyjających okoliczności, podjął on dzieło odnowy życia religijnego w diecezji”¹⁴.

Feliński nie popierał zbrojnego zrywu, ale starał się bronić powstańców styczniowych. Prosił imperatora, by zaniechał rozlewu krwi. Za obronę praw Kościoła i Ojczyzny został przez władze carskie skazany na wygnanie w głąb Rosji. Dwadzieścia lat spędził w Jarosławiu nad Wołgą. Swoje osobiste losy i przyszłość złożył w ręce Ojca Świętego, odpierając jednocześnie wszelkie naciski rządowe, by zrezygnował ze stolicy arcybiskupiej. Pomimo represji, inwigilacji i ograniczeń policyjnych prowadził szeroką działalność apostolską i dobroczynną, która obejmowała katolików Jarosławia oraz polskich zesłańców. Sam niósł im pomoc duchową i materialną oraz starał się o ofiary z kraju, a nawet ze stolic europejskich, zwłaszcza z Paryża¹⁵.

W wyniku porozumienia Stolicy Apostolskiej z rządem rosyjskim arcybiskup Feliński został uwolniony z wygnania w 1883 r., ale do Warszawy nie mógł wrócić. Ostatnie lata życia spędził w Dźwiniacze w zaborze austriackim, prowadził tam działalność duszpasterską, oświatową, charytatywną i społeczną. Zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie, gdzie został pochowany, a następnie przeniesiony do Dźwiniaczki. Po odzyskaniu niepodległości trumnę z doczesnymi szczątkami duchownego w maju 1920 r. przewieziono do Warszawy, w roku następnym zaś złożono ją w katedrze św. Jana Chrzciciela¹⁶.

Niemal natychmiast po śmierci zrodził się kult Felińskiego. Mieszkańcy Dźwiniaczki wierzyli w moc modlitwy za wstawiennictwem duchownego oraz

¹³ B. Wójcik, op. cit., s. 14. „I rząd, który chciał użyć go jako swoje narzędzie, a który prześladował dotąd wszystko, co arcybiskupowi było drogie, i panujące nad opinią publiczną stronnictwo ruchu, które widziało w nim «sługę» carskiego przysłanego do Polski dla sparaliżowania ruchu wolnościowego, i samo duchowieństwo, którego ogromna większość była mu nieżyczliwa już to z pobudek patriotycznych, już to czując się dotknięta, że metropolitę wybrano z zewnątrz, z grona kleru petersburskiego. Przyjęto go więc jako intruza, który swoje wyniesienie zawdzięczał jedynie «łasce moskiewskiej»” (F. Ramontowska, op. cit., s. 358).

¹⁴ B. Wójcik, op. cit., s. 15.

¹⁵ T. A. Frącek, op. cit., s. 342–347.

¹⁶ T. A. Frącek, *Św. Zygmunt Szczęsny Feliński*, Kraków 2010, s. 12–13; B. Wójcik, op. cit., s. 22.

w cudowną moc źródła, przy którym się modlił¹⁷. Arcybiskup został beatyfikowany 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie przez papieża Jana Pawła II, a kanonizowany przez jego następcę na stolicy Piotrowej, Benedykta XVI, 11 października 2009 r.¹⁸

W czasie zesłania w Jarosławiu wewnętrzna potrzeba Felińskiego, by być człowiekiem aktywnym, przejawiała się w lekturze i działalności pisarskiej. Sprowadzenie wszakże pracy literackiej tylko do funkcji „znalezienia zajęcia” byłoby uproszczeniem. Arcybiskup traktował bowiem swoją twórczość jako jedną z form apostołstwa. Z jego bogatego dorobku zachowało się: 18 pozycji drukowanych oraz 865 listów i mniejszych pism zebranych w 12 tomach. Duża część spuścizny pisarskiej Felińskiego przewieziona ze Lwowa do stolicy Polski spłonęła wraz z archiwum i biblioteką podczas powstania warszawskiego w 1944 r.¹⁹ W dorobku arcybiskupa znalazły się zarówno prace pisane prozą, jak i wierszem: obszerne dzieła o tematyce ascetycznej, filozoficznej i społecznej oraz poematy, poezje i drobne pisma okolicznościowe²⁰.

Zrazu z wielkim zapałem wziąłem się do pióra, ożywiony nadzieją, iż pracą literacką wynagrodzę faktyczną beczynność przymusową. Proces pisania szedł mi łatwo i zwykle w ciągu pracy byłem z niej zadowolony. Dopiero po odczytaniu następowała zawsze reakcja, nieraz tak stanowcza, iż brała mnie ochota wrzucić wszystko do ognia. Próbowałem wszystkich prawie rodzajów piśmiennictwa i pod względem formy nigdzie nie natrafiłem na niemożliwe do przełamania trudności. Urządziłem się tak, że w gabinecie przy biurku pisałem tylko rzeczy poważne religijnej lub filozoficznej treści, przechadzki zaś poświęcone były dla rymotwórstwa. Z umysłu nie używam słowa poezja, gdyż pobudką do tych prac nie było owo prawdziwe wieszczce natchnienie, co potrzebuje wylać się w szczytniejszej i bardziej harmonijnej formie. U mnie była to raczej potrzeba zajęcia dla umysłu i wyobraźni, serce zaś dawnymi tylko wspomnieniami przychodziło im w pomoc i stąd owa cmentarna, że tak rzekę, cecha tych utworów (P, 604).

Po kilku latach pracy autor podjął próbę opublikowania swoich utworów, nie znalazł jednak wydawcy, który chciałby poświęcić na ten cel swoje środki. Nie zaprzestał jednak działalności pisarskiej, potrzebował jej bowiem „dla własnej pociechy” (P, 605). Poza tym miał nadzieję, że jego utwory wypełnią kiedyś funkcję katechetyczną (P, 605).

¹⁷ A. Zelga, *Arcybiskup Zygmunt Szczęśny Feliński 1822–1895*, Warszawa 2009, s. 87–88.

¹⁸ T. A. Frącek, *Św. Zygmunt Szczęśny Feliński*, s. 13.

¹⁹ T. A. Frącek, *Wprowadzenie*, [w:] Z.Sz. Feliński, *Listy Świętego do Matki Ewy z Wendorfów Felińskiej z lat 1838–1860*, Warszawa 2012, s. 11–12.

²⁰ T. A. Frącek, *Zesłaniec nad brzegami Wołgi*, s. 327.

Spośród dzieł powstałych na zesłaniu miejsce najważniejsze zajmują *Pamiętniki*, spisane zimą na przełomie 1882 i 1883 r. W pierwszej wersji miały to być wspomnienia z okresu służby Bożej, a więc od roku 1851, w którym Feliński wstąpił do seminarium w Żytomierzu. Jednak pod koniec pobytu na zesłaniu koncepcja uległa zmianie, arcybiskup rozszerzył swoje *Pamiętniki* o lata 1822–1851. Ostatecznej redakcji utworu dokonał po powrocie z wygnania i osiedleniu się w Galicji²¹. Dzieło to wydane zostało cztery razy: w Krakowie (1897), we Lwowie (1911) oraz w Warszawie (1986 i 2009).

Stanisław Smolka we wstępie do opracowanej przez siebie edycji *Pamiętników* stwierdzał, że ich część pierwsza jest jednym z najpiękniejszych utworów polskiej literatury pamiętnikarskiej, a część druga „ma charakter spowiedzi z ciernistego zawodu publicznego, skreślonej z tą niewysłowioną, a tak ujmującą prostotą, która cechowała ks. Felińskiego w całym życiu”²².

Pamiętniki zajmują ważne miejsce w historii kultury i literatury polskiej, odznaczają się bowiem „niebagatelными walorami dokumentalnymi, sumiennością podejścia autora do samej czynności spisywania wspomnień, bezwzględnyim przestrzeganiem przez niego reguły warsztatowej rzetelności”²³. Co jednak niezwykle istotne, „wartość dokumentarna *Pamiętników* idzie w parze z ich czytelniczą atrakcyjnością, będącą konsekwencją świetnego stylu pamiętnikarza, żywości narracji, uwrażliwienia na detale współtworzące to, co określa się zwykle jako „klimat” opisywanych miejsc i czasu historycznego”²⁴.

Pamiętniki były wykorzystywane przez historyków głównie do badań nad powstaniem styczniowym, jego genezą czy przebiegiem. Jako przykład wskazać można pracę Franciszki Ramontowskiej pt. *Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860–1862*. Sam Feliński uważał, że jego powinnością było przekazanie młodemu pokoleniu tego, co stało się udziałem Polaków w wieku XIX, by wydarzenia te pozostały w pamięci narodu i mogły kształtować jego tożsamość. Warto podkreślić, że w czasie pracy nad *Pamiętnikami* opierał się jedynie na swoich wspomnieniach, w Jarosławiu nie miał bowiem dostępu do źródeł historycznych.

²¹ E. Kozłowski, *Przedmowa*, [w:] Z.Sz. Feliński, *Pamiętniki*, s. 7–8.

²² S. Smolka, *Od wydawcy*, [w:] Z.Sz. Feliński, *Pamiętniki ... arcybiskupa warszawskiego*, Lwów 1911, cz. 1, s. IX–X.

²³ J. Ługowska, *Kilka słów o warsztacie pisarskim abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego*, [w:] A.T. Frącek, *Zesłaniec nad brzegami Wołgi...*, s. 453.

²⁴ Ibidem, s. 454.

Z kart dzieła wyłania się jednak również obraz Rosji. Feliński spędził w tym kraju ponad połowę swego życia²⁵. Poznał nie tylko obie stolice, ale dzięki wakacjom u matki również Saratów. Czynił studia komparatystyczne nad charakterem polskim i rosyjskim, porównywał posłannictwo obu narodów²⁶. Za powszechne wady Rosjan uważał chciwość i pijaństwo.

Utworem Felińskiego zainteresował się Artur Kijas, autor artykułu pt. *Rosja i Rosjanie w „Pamiętnikach” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (z perspektywy historyka)*²⁷. W zakończeniu swojego szkicu stwierdza: „Można powiedzieć, że wśród polskich pamiętników powstałych w XIX wieku nie ma drugiego tak gruntownego źródła traktującego o Rosji i Rosjanach, przynoszącego kapitalny materiał do badań nad stereotypem Rosjanina w świadomości polskiej”²⁸.

Tak wyznaczone pole badawcze jest dość rozległe. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba przedstawienia obrazu Rosji mikołajowskiej. Wydawać by się mogło, że rozważania te będzie można wzbogacić wypowiedziami epistolarnymi Felińskiego. Niestety, zapewne ze względu na cenzurę w listach pisanych z Moskwy do matki nie znajdziemy zbyt wielu informacji na temat profesorów, wykładów czy studentów. Trafiają się jedynie krótkie wzmianki np. o kolegach ze stancji. Późniejszy autor *Pamiętników* przede wszystkim pisał o sobie, o przedmiotach, których się uczył, o egzaminach²⁹. Świadectwem świadomości obecności „czerwonego ołówka” była też zapewne relacja, jaką Feliński przekazał matce, znajdującej się na zesłaniu, po śmierci Mikołaja I. Wspominał o powszechnej żałobie w Petersburgu:

I u nas tu żałoba powszechna, dotąd nie możemy ochłonąć z głębokiego wrażenia, jakie zrobiła na wszystkich niespodziewana śmierć Cesarza. Wskutek przeziębienia

²⁵ Okres ten obejmuje studia matematyczne na Uniwersytecie Moskiewskim 1840–1844, wakacje u matki w Saratowie w latach 1842 i 1843, pracę w kancelarii w Moskwie 1844–1845, pobyt w Petersburgu 1852–1862 i zesłanie 1863–1883.

²⁶ Te refleksje kształtowały się pod wpływem poglądów Zygmunta Krasińskiego. Na temat stosunku wieszczki do Rosji zob.: A. Bezwiński, *Rosja w pismach politycznych Z. Krasińskiego*, [w:] *Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Z. Krasińskiego*, red. J. Świdziński, Poznań 2003, s. 181–190; P. Chlebowski, *Krasiński wobec Rosji*, [w:] *Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia*, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 131–144; A. Fabianowski, *Mysł polityczna Z. Krasińskiego*, Ciechanów 1991; J. Fiećko, *Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejeźdźnaniu*, Poznań 1997; J. Fiećko, *Co zrobić z Rosją? Mickiewicz, Krasiński i inni*, [w:] *Obraz Rosji w literaturze polskiej*, red. J. Fiećko, K. Trybuś, Poznań 2012, s. 137–157; R. Fieguth, *Obraz Rosji w powieści „Agaj-Han” Zygmunta Krasińskiego*, [w:] *Obraz Rosji w literaturze polskiej*, s. 181–194; W. Lednicki, *Głosy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej*, Paryż 1959.

²⁷ A. Kijas, *Rosja i Rosjanie w „Pamiętnikach” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (z perspektywy historyka)*, [w:] *Obraz Rosji w literaturze polskiej*, s. 269–280.

²⁸ Ibidem, s. 279.

²⁹ Por. T. A. Frącek, *Wprowadzenie*, s. 18.

dostał grypu (!), który zaniedbany rzucił się na płuca i w przeciągu dwóch dni do grobu wprowadził. We środę jeszcze widziany był na koniu, we czwartek położył się do łóżka, w nocy spowiadał się i komunikował, o trzeciej wezwał rodzinę i kilku przybocznych, robił dyspozycje z największą przytomnością, na kilka godzin jednak przed zgonem stracił mowę, której do samej śmierci nie odzyskał, która nastąpiła o wpół do pierwszej po południu, w piątek, 18 lutego³⁰.

Stwierdzenie, że panowała „żałoba powszechna”, jak się wydaje, nie całkiem precyzyjnie oddaje ówczesne nastroje. Pośrednim dowodem są słowa zapisane w innym miejscu: „Wyższe warstwy społeczne, zwłaszcza młodzież, szemrały na mikołajowski despotyzm” (P, 169). W świetle powyższej konstatacji, popartej informacjami o charakterze historycznym, żałoba mogła dotyczyć dworu, rodziny, natomiast w kołach demokratycznych i liberalnych śmierć Mikołaja I, symbolizującego całe zło starego reżimu, przyjęta została z radością i z ulgą. Ta ostatnia wynikała z przekonania, że gorzej już być nie może. Wszyscy mieli nadzieję, że nowy cesarz rozpocznie epokę głębokich przeobrażeń politycznych i społecznych. Profesor Konstanty Kawielin z Petersburga pisał do słynnego moskiewskiego okcydentalisty Tymoteusza Granowskiego: „Zdechło to diabelskie nasienie mundurowej oświaty i najgnuśniejszej strony natury rosyjskiej [...] Gdyby teraźniejszość nie była tak straszna i ponura, a przyszłość tak tajemnicza i zagadkowa, można by zwariować z radości i upić się ze szczęścia”³¹.

Kim więc, w ocenie Felińskiego, był ów władca, którego zgon wywołał takie nastroje? Przytaczając zasłyszane w dzieciństwie różnego rodzaju anegdoty, podkreślał, że Mikołaj I w przeciwieństwie do Aleksandra I, który potrafił zjednać sobie powszechne uznanie ze względu na uprzejmość, szlachetność i wspańiałomyślność, „nie znośli, by ktoś choć na chwilę zapomniiał o tym, z kim ma do czynienia” (P, 64). Pamiętnikarz przypominał, że cesarz był głęboko przekonany, iż jego natchnienia pochodzą od Boga (P, 171). Zwracał też uwagę, że Mikołaj I „kochał się niezmiernie w gwardii i ciągle się troszczył o to, by te ulubione jego pułki rycersko wyglądały” (P, 175). Tym samym potwierdzał, że monarcha cenił armię i dyscyplinę wojskową³².

Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną cara, to zwracał uwagę przede wszystkim na dążenie do nadrobienia braków cywilizacyjnych:

³⁰ Z. Sz. Feliński, *Listy Świętego do Matki...*, Warszawa 2012, s. 333.

³¹ Cyt. za: M. Heller, *Historia imperium rosyjskiego*, przeł. E. Melach, T. Kaczmarek, Warszawa 2005, s. 584.

³² W. Śliwowska, op. cit., s. 9–12. O żołnierskim wychowaniu i miłości do wojska zob. również: W. B. Lincoln, *Mikołaj I*, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988, s. 49, 55–56.

Nawet w pierwszej połowie panowania Mikołaja I Rosja czuła się niższą pod każdym względem od zachodniej Europy i cała jej ambicja ograniczała się do chęci zrównania z dawniej ucywilizowanymi narodami. Naśladownictwo i zapożyczanie cywilizacyjnych żywołów na Zachodzie było na porządku dziennym we wszystkich gałęziach życia publicznego, poczynając od religii aż do najdrobniejszych wyrobów krajowego przemysłu. Ani rząd, ani duchowieństwo nie stawiali nigdy wiary swojej wyżej od katolickiej; co najwyżej twierdzili, że to wszystko jedno, jeśli zaś szerzyli swój prozelityzm, to jedynie ze względów politycznych, ze stanowiska zaś zbawienia uważali Kościół rzymski za równie bezpieczny port wieczności, jak i prawosławie, które zresztą za mojej już pamięci trzy razy oficjalną nazwę zmieniał. W początkach jeszcze panowania Mikołaja I religia państwowa zwała się oficjalnie błahoczesztwą [bogobojną, świątobliwą – A.K.], następnie greckorosyjską, a wreszcie prawosławną. Duchowieństwo prawosławne nie gniewało się nigdy za tytuły pożyczone od kleru łacińskiego: biskup, kanonik, ksiądz, własne zaś: archierej, pop, użyte w polskiej mowie, poczytano za lekceważenie, a nawet pogardę (P, 161).

Odnotowane wyżej poczucie niższości imperium względem Zachodu przejawiało się, zdaniem duchownego, w tłumaczeniu podręczników i prac naukowych, obsadzaniu stanowisk przez profesorów cudzoziemców, „rodowity zaś Rosjanin nie mógł zasiąść na uniwersyteckiej katedrze, póki nie przepędził przynajmniej dwóch lat na studiach specjalnych za granicą” (P, 161). Dodawał, że z powodu niechęci klientów do wyrobów krajowych rosyjscy fabrykanci fałszowali znaki firm zagranicznych, by zapewnić zbyt swoim towarom.

Postrzeganie roli Rosji przez Mikołaja I zmieniło się, zdaniem pamiętnikarza, po stłumieniu powstania węgierskiego: „tak dalece [cesarz – A.K.] wzrósł w zarozumiałość, że nie tylko pod względem militarnym, ale i pod każdym innym sądził, że wyżej stanął od państw zachodnich, które lekceważyć sobie począł” (P, 161). Duchowny zwrócił uwagę, że za przykładem monarchy poszedł cały naród, a w szczególności słowianofile chcący zrzucić „cudzoziemską czapkę” (P, 162). Za czołowych przedstawicieli nurtu gloryfikującego tradycje dawnej Rusi uznał Piotra Kiriejewskiego i Jerzego Samarina. Ta konstatacja wymaga wszakże komentarza. Feliński nie podał imienia pierwszego z nich. Wśród słowianofilów było dwóch braci Kiriejewskich: Iwan i Piotr. Nawiązanie w tekście pamiętników do folkloru zdaje się wskazywać, że chodziło mu najprawdopodobniej o Piotra, który zbierał utwory ludowe. Trudno jednak zgodzić się z określeniem go mianem koryfeusza. Do najwybitniejszych słowianofilów zalicza się: Iwana Kiriejewskiego (1806–1856), Aleksego Chomiakowa (1804–1860), Konstantego Aksakowa (1817–1860) i Jerzego Samarina (1819–1876).

W przytoczonym wyżej fragmencie Feliński nawiązał również do tzw. teorii oficjalnej narodowości Sergiusza Uwarowa, której istotę oddaje formuła „prawosławie, samowładztwo, narodowość”³³. Zasadnicze tezy tej teorii minister sformułował w sprawozdaniu opublikowanym na łamach pisma „Журнал Министерства Народного Просвещения” z odbytej w roku 1832 inspekcji na Uniwersytecie Moskiewskim. Uwarow formułował dalekosiężne cele pedagogiczne, a jego doktryna służyć miała wychowaniu narodu w precyzyjnym duchu: „na czysto rosyjskich zasadach zachowawczych, jakimi są: prawosławie, samowładztwo, narodowość, one bowiem stanowią ostatnią kotwicę, jaka może nas ocalić, i najpewniejszą gwarancję siły i wielkości naszej ojczyzny”³⁴. Przypomnijmy, że w myśl tej teorii prawosławie stanowiło ostoję panowania carów rosyjskich, cesarstwo rosyjskie znajdowało się pod szczególną Opieką Opatrzności, pod Jej protektorem. Car był władcą z woli Boga. Samowładztwo ukształtowało podstawy życia państwowego Rosji. Władza absolutna carów nie została narzucona narodowi, ale przyjęta w sposób dobrowolny. Te dwa pierwsze człony teorii (prawosławie, samowładztwo) były w istocie rozwinięciem podstawowego punktu ustawodawstwa rosyjskiego, które głosiło, że „car jest władcą absolutnym i władza jego pochodzi od Boga”. Tę właśnie prawdę ilustrować winna literatura i sztuka. Trzeci człon triady (narodowość) oznaczał odrębność, własną drogę Rosji, odmienną od tej, która była udziałem państw europejskich.

Obserwując życie codzienne w imperium Romanowów, Feliński zauważał oczywiście łapówkarstwo, z którego niezwykle rozbudowana i miernie na niższych szczeblach opłacana biurokracja korzystała w sposób prawie legalny i całkowicie akceptowany przez społeczeństwo. Korupcja urzędników była nieodłączną częścią systemu administracyjnego³⁵, objawem głębszego schorzenia, czyli bezprawia³⁶.

Duchowny krytycznie oceniał też stan oświaty w imperium mikołajowskim. Zdawał sobie wszakże sprawę z roli, jaką Uniwersytet Moskiewski – centrum życia naukowego, kulturalnego i ideowego ówczesnego kraju – odegrał w kształtowaniu myśli społecznej i politycznej w Rosji. W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku zajmował czołowe miejsce wśród uczelni rosyjskich, ukończyło go przecież wielu wybitnych przedstawicieli kultury rosyjskiej. Pa-

³³ Informacje o tej teorii podaje za: W. Śliwowska, op. cit., s. 132–138. Zob. również: W. B. Lincoln, op. cit., s. 254–268.

³⁴ Cyt. za: W. Śliwowska, op. cit., s. 134.

³⁵ R. Pipes, *Rosja carów*, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2006, s. 292.

³⁶ Ibidem, s. 296.

miętnikarz podkreślił niechęć Mikołaja I do tej uczelni. Władca znienawidził tę placówkę po historii z Aleksandrem Poleżajewem. Ten student Uniwersytetu Moskiewskiego za poemat *Saszka (Cauka)* został z rozkazu cara wcielony do wojska bez prawa awansowania.

Stosunki między polskimi a rosyjskimi studentami, jak wspominał Feliński, były poprawne, ale żyli oni we własnych kręgach. Zauważał też, że młodzież studiowała nie po to, by zdobyć wiedzę, ale pozycję w świecie, „stopień uczony otwiera wstęp do każdej kariery” (P, 144). Ta uwaga jest niezwykle trafna, Uniwersytet miał bowiem kształcić „urzędników państwowych, urzędników-pedagogów, urzędników-prawników itd. Nic ponadto”³⁷. Jedynym celem studiów winno być przygotowanie do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Przy okazji wspomnień o Paryżu duchowny porównał później metody nauczania w Rosji i we Francji:

W wykładach profesorów uderzony byłem nieograniczoną swobodą traktowania swego przedmiotu wedle własnego uznania, tak pod tym względem wyboru tej lub owej jego części, jak i poglądów na jego istotę. W uniwersytetach rosyjskich każdy profesor obowiązany jest wyłożyć cały powierzony mu przedmiot w oznaczonym na to czasie, jeśli zaś części jakiej nie wyłoży, nie ma też prawa wymagać tego od studentów na egzaminie. W Sorbonie zaś wszyscy profesorowie, jakich słuchałem, trzymali się tej metody, że na kilku pierwszych odczytach dyktują źródła naukowe do przedmiotu, jaki mają wykladać, z krytycznym poglądem na każde dzieło, tak iżby słuchacze wyrobili w sobie zawczasu ogólny przynajmniej sąd o zaletach i niedostatkach każdego dzieła. Ukończywszy tę przygotowawczą robotę, profesor oznajmia, jaką mianowicie część przedmiotu na ten rok obiera, dodając, że w wykładzie swym ukaże przede wszystkim metodę, jakiej w badaniach na tym polu trzymać się należy, tak iżby pracujący w tym zawodzie wiedział, jak się ma wziąć do rzeczy, by trudów swoich nie zmarnować (P, 238).

Oczywiście rosyjski system studiów wynikał z konieczności kontroli. Status uniwersytecki z 1835 r. położył kres autonomii uniwersytetów. Wprowadzono drobiazgową kontrolę programów nauczania, wykładów. Profesorowie byli zobowiązani przekazywać do zatwierdzenia dokładne konspekty wykładów kuratorom³⁸. Nie mieli więc takiej swobody, jak ich francuscy koledzy.

Z racji swego stanu Feliński zwracał uwagę na uwarunkowania natury religijnej. Pisał, że unitów gwałtem zmuszano do przyjęcia prawosławia, dzieci z małżeństw mieszanych musiały wyznawać prawosławie, „prawosławni zaś

³⁷ W. Śliwowska, op. cit., s. 110.

³⁸ Ibidem, s. 42.

opuszczający swe wyznanie skazani byli na utratę majątku, wszelkich przywilejów stanu i na pokutę kościelną w którymś z prawosławnych monasterów” (P, 175). Dlatego ci, którzy zdecydowali się przyjąć katolicyzm, „nawrócić się” w terminologii autora *Pamiętników*, wyjeżdżali za granicę i dopiero tam „szli za głosem sumienia” (P, 175). Wymieniał rodziny Galicyńów, Szuwarowych, Mieszczerskich oraz jezuitów Iwana Gagarina i Iwana Martynowa.

Przypomnijmy w tym miejscu, że właśnie za panowania Mikołaja I przejście na katolicyzm zaczęło być ujmowane jako zdrada narodowa. Jeden z paragrafów *Zbioru praw* głosił: „Kto z wyznania prawosławnego przejdzie na inne, oddany zostanie pod sąd”³⁹. Majątki odstępców zamieszkałe przez ludność prawosławną winny być oddane pod kuratelę, a ich właścicieli pozbawiano prawa do pobytu w swoich dobrach⁴⁰. Represjonowano również za propagowanie katolicyzmu. Szlachcie groziło zesłanie na Syberię, przedstawicielom niższych warstw kara chłosty i wcielenie do wojska. Rosjanom zaś, którzy po przyjęciu katolicyzmu pozostawali za granicą, odmawiano prawa powrotu do kraju, konfiskowano ich majątki, uznając za zdrajców ojczyzny i wiary prawosławnej. Często więc zmiana konfesji utrzymywana była w tajemnicy⁴¹.

Jak autor *Pamiętników* oceniał pobożność ówczesnych Rosjan? Dla osób zamożnych i wykształconych religia była „politycznym jedynie narzędziem, dogodnym do wpływania na sfanatyzowane masy i do wciągania w sferę swych interesów prawosławnego Wschodu” (P, 177). Wiara Rosjan z wyższych warstw, według Felińskiego, miała tylko charakter zewnętrzny, obrzędowy, nie wpływała na ich codzienne zachowanie. Lud rosyjski zaś, zdaniem duchownego, wierzył w Opatrzność, ale jednocześnie brakowało mu podstawowej wiedzy religijnej⁴², znajomości Ewangelii. „Cały stosunek ich z Bogiem zależy na zewnętrznych obrzędach: obrazy, dzwony, śpiewy i pokłony – oto główna, jeśli nie jedyna treść ich nabożeństwa” (P, 180). Kult ikon to, w odczuciu arcybiskupa, zabobonne przywiązanie graniczące z bałwochwalstwem: „W ich przekonaniu sprawcą łask, o które się modlą przed swymi ikonami, jest nie Pan Bóg, ale ta właśnie malowana ikona” (P, 180). W pewien sposób może to potwierdzać ludowy zwyczaj karania ikony św. Mikołaja. Gdy święty nie spełnił zwróconej do niego prośby, ikonę bito lub odwracano ją wizerunkiem do ściany⁴³.

³⁹ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Петербург 1845, s. 45, cyt. za: W. Śliwowska, *W kręgu poprzedników Hercena*, Wrocław 1971, s. 32.

⁴⁰ W. Śliwowska, *W kręgu poprzedników...*, s. 33.

⁴¹ B. Mucha, *W kręgu rosyjskich katolików i filokatolików*, Łódź 1995, s. 21–23.

⁴² Jeszcze w XIX i XX wieku można było spotkać się wśród ludu rosyjskiego ze stwierdzeniem, że w skład Trójcy Świętej wchodzi: Zbawiciel, Matka Boska i św. Mikołaj (B.A. Uspieński, *Kult św. Mikołaja na Rusi*, przeł. E. Janus, M. R. Mayenowa, Z. Kozłowska, Lublin 1985, s. 20).

⁴³ Ibidem, s. 170–174.

Duchowny był przekonany, że cudowne ikony cieszyły się większym kultem niż Najświętszy Sakrament. Zwracał też uwagę na niewłaściwe zachowania moralne: pijaństwo, rozpustę, brak poszanowania cudzej własności, kłamstwo. Odnosząc się do sakramentu pokuty, pisał, że nie ma wynagrodzenia bliźniemu uczynionej krzywdy. Podkreślał, że w testamencie wierni zapisywali różne dobra dla Kościoła lub ubogich, ale nie myśleli o zadośćuczynieniu względem skrzywdzonego bliźniego⁴⁴. Jego zdaniem wynikało to z braku wiedzy, ale i praktyki spowiedzi:

[...] penitent nie oskarża się bowiem nie oskarża się u nich szczegółowo z grzechów swoich, ale odpowiada tylko na zapytanie spowiednika jednym słowem: grzeszny jestem albo nie. Kapłan zapytuje z kolei o każdym przykazaniu w ogólności: czy nie kradłeś? czy nie upijałeś się. Penitent zaś odpowiada twierdząco lub przecząco, nie wdając się w żadne objaśnienia, spowiednik zaś daje rozgrzeszenie, obowiązujące tylko do poprawy, ale nie do restytucji (P, 180).

Dużo uwagi Feliński poświęcił kondycji kleru prawosławnego. Zwracał uwagę na brak wykształcenia i poziom moralny kapłanów. „Lekceważony przez wyższe warstwy społeczeństwa⁴⁵, znienawidzony przez chłopą za nieprawdopodobny wyzysk i chciwość na grosz przy okazji opłat za usługi kościelne, pogrążony w ciemnocie, a nawet w zabobonie, odbijał ten kler od duchowieństwa katolickiego, bardziej światłego, wykształconego i oddanego swym obowiązkom duszpasterskim”⁴⁶.

Ten stan był m.in. skutkiem reform wprowadzonych przez Piotra I, np. obowiązku naruszania tajemnicy spowiedzi, co prowadziło do nieufności ze strony wiernych. Zło wynikało również z dziedziczności. Stanowisko przekazywano synowi lub zięciowi. Praktykę tę zlikwidowano dopiero za panowania Aleksandra II – w 1869 r.⁴⁷ Wiejskie duchowieństwo miało często trudną sytuację materialną. Feliński przytaczał przykłady łapówkarstwa i zabójstw motywowanych względami finansowymi. Doszedł do bardzo smutnej konstatacji: „Nie masz rzeczy w zakresie obowiązków pasterskich, której by za pieniądze otrzymać nie było można od wiejskiego parocha, byle suma była odpowiednia” (P, 178). Ilustracją może być pogrzeb kota Filusia. Bogata bezdzietna wdowa

⁴⁴ Teologia bizantyjska nie знала nauki o zadośćuczynieniu. Zob. J. Meyendorff, *Teologia bizantyjska. Historia i doktryna*, przeł. J. Prokopiuk, Kraków 2007, s. 183.

⁴⁵ W innym miejscu zauważał, że kapłan „traktowany był gorzej od lokaja” (P, 178).

⁴⁶ E. Kozłowski, op. cit., s. 15.

⁴⁷ B. Jegorow, *Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku*, przeł. D. i B. Żyłko-wie, Gdańsk 2002, s. 64.

poprosiła o pochówek ukochanego zwierzęcia, oferując 10 tysięcy rubli⁴⁸. Dodajmy, że kapłani wiejscy w XIX wieku mieli na ogół powierzchowne przygotowanie, często oddawali się pijaństwu. Poziom nauczania w powiatowych szkołach duchownych i seminariach był niski, stosowano kary cielesne⁴⁹.

Jak wynika z przedstawionego materiału, Feliński krytycznie oceniał mikołajowską Rosję, zauważał jej bolączki, przede wszystkim łapówkarstwo, stan oświaty czy świadomość religijną. Oburzała go antypolska i antykatolicka polityka caratu. Najwięcej negatywnych opinii wypowiadał na temat Mikołaja I. Odnotował przeobrażenia, jakie zachodziły na skutek reform Aleksandra II. Miał jednak świadomość, że nie zmieniła się polityka względem Polaków. Wiele uwagi poświęcił represjom po powstaniu styczniowym. W odróżnieniu wszakże od innych pamiętnikarzy duchowny rzadko używał słowa „Moskal”, a jeśli już się pojawiało, to nie miało znaczenia pejoratywnego, występowało jako synonim słowa „Rosjanin”.

Резюме

Картина николаевской России в „Мемуарах” святого Зигмунта Щесного Фелинского

Мемуары святого Зигмунта Щесного Фелинского составлялись во время пребывания архиепископа в городе Ярославль, куда его сослали за защиту прав Церкви и Родины. Они исполняют важную роль в истории польской культуры и литературы. В статье предпринята попытка представить картину николаевской России, с которой будущий архиепископ мог познакомиться во время учебы в Московском университете имени Ломоносова, а потом в католической Петербургской Духовной семинарии. В своих воспоминаниях автор критически оценивал русскую империю, замечал ее пороки, прежде всего взяточничество, уровень просвещения, религиозное сознание, а также положение православного духовенства.

Summary

The image of Nicholas Russia in the „Memoirs” of saint Zygmunt Szczesny Feliński

The memoirs of saint Zygmunt Szczesny Feliński were written down during the archbishop's stay in Jarosław, where he was sent in punishment for his defense of the rights of the Church and the Motherland. The works have played an important role in the history of Polish culture and

⁴⁸ Motyw chrześcijańskiego pochówku zwierzęcia znany jest np. w folklorze rosyjskim. Wśród tak zwanych „zakazanych bajek” (*заветные сказки*) Aleksandra Afanasjewą odnajdujemy *Pogrzeb psa* (*Похороны кобеля*) oraz *Pogrzeb kozła* (*Похороны козла*).

⁴⁹ L. Bazyłow, *Spółczesność rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku*, Wrocław 1973, s. 277.

literature. The article aims at depicting the Nicholas Russia, which the future archbishop had the opportunity to become well acquainted with during his studies in Moscow at the Łomonosow University and later on at the Roman Catholic Spiritual Academy in Petersburg. In his memoirs the author criticized the Russian Empire and noted its weak points, mainly bribery, the state of education, religious awareness and the condition of the Orthodox clergy.

Key words: memoirs, Nicholas Russia, state of education, religious awareness, condition of the Orthodox clergy.

Agnieszka Lenart

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

„Jeruszałaim de Lite”. Obraz Wilna w opowiadaniu Grigorija Kanowicza *Sen o Jeruzalem, którego już nie ma*

Opowiadanie Grigorija Kanowicza *Sen o Jeruzalem, którego już nie ma* (*Сон об исчезнувшем Иерусалиме*) z 1994 r. otwiera zbiór 17 opowiadań pisarza zatytułowany *Obłok o nazwie Litwa* (*Облако под названием Литва*). Analizowane opowiadanie to jedyny utwór z tego zbioru napisany na Litwie jeszcze przed rokiem 1993, czyli przed wyjazdem Kanowicza do Izraela. Już na wstępie warto zwrócić uwagę na tytuł zbioru. „Chmura”, „obłok” według *Słownika symboli* oznacza przemijanie, ale także „odwieczną, niezmienną istotę prawdy najwyższej”¹. I rzeczywiście, utwory zawarte w zbiorze są wspomnieniem żydowskiej Litwy, miejsca wyjątkowego, mitycznego². Dodajmy, iż niejednoznaczna jest tożsamościowa przynależność pisarza, nie tylko jako twórcy, ale jako człowieka – Żyda z pochodzenia piszącego po rosyjsku, który na zawsze ukochał Litwę, a mieszka obecnie w Izraelu³. Tytuł zbioru możemy interpretować zatem jako wspomnienie o miejscu świętym, wiecznym – na ten trop naprowadza również symbolika obłoku.

W wypowiedzi jednego z bohaterów powieści Kanowicza *Sprzedawca snów* (*Продавец снов*), napisanej już w Izraelu, zawarte jest, jak sądzę, *credo* pisarza: „Мы живы до тех пор, пока вспоминаем... Вспоминаем – следовательно,

¹ J. E. Cirlot, *Słownik symboli*, Kraków 2007, s. 96. Zob. także: W. Kopaliński, *Słownik symboli*, Warszawa 2006, s. 38–39.

² Zob. G. Kanowicz, *Park niepotrzebnych Żydów*, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Sejny 2005, s. 215–216.

³ Grigorij Kanowicz urodził się w 1929 r. w miasteczku Janowa koło Kowna. W 1941 r. jego rodzina, uciekając przed Niemcami, osiedliła się w Kazachstanie, a następnie na Uralu. Lata te wspomina pisarz jako czasy ciężkiej pracy w kołchozie, głodu i sierocej samotności. Po wojnie Kanowicz wrócił na Litwę, gdzie ukończył studia filologiczne i w 1948 r. debiutował jako poeta. Wydał wówczas cztery zbiory poezji – dwa w języku litewskim, dwa w rosyjskim (warto jednak dodać, że do 12 roku życia posługiwał się tylko jidisz). Zob. Г. Канович, *Штрихи к автопортрету*, „Иерусалимский журнал” 2008, nr 27; Григорий Канович, [w:] „Слово писателя”, Осень 2002, s. 32; *Справочник Союза русскоязычных писателей Израиля 1999 год*, pod red. L. Finkela; W. Kasack, *Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku*, przeł. B. Kodzis, Wrocław 1996, s. 254–255; С. Чупрынин, Григорий Канович, [w:] *Русская литература сегодня. Зарубежье*, Москва 2008, s. 251.

существом...”⁴. Bez wątpienia należy stwierdzić, że Kanowicz pozostał wierny wspomnieniom, dlatego też w całej swojej pracy literackiej wyrażał tęsknotę za litewską rzeczywistością z lat dzieciństwa i młodości, za wielokulturowym życiem litewskich miasteczek i gwarem żydowskich sztetli. Cała dotychczasowa twórczość Kanowicza, urodzonego w Janowie koło Kowna, jest głęboką i poruszającą refleksją twórcy na temat „Jeruszałaim de Lite” – żydowskiej Litwy. Matwiej Gejzer w artykule zamieszczonym w czasopiśmie „Voprosy Literatury” słusznie zauważa, iż Kanowicz to: „человек устоявшихся принципов и убеждений, которым не изменял в течение всей жизни”⁵.

Akcja opowiadania *Sen o Jeruzalem, którego już nie ma* toczy się częściowo w przedwojennej Janowie, miasteczku, gdzie autor, ale także narrator opowiadania spędził dzieciństwo, częściowo natomiast w powojennym Wilnie – miejscu pozostającym w pewnej opozycji do położonej w odległości 130 kilometrów od Wilna Janowy⁶.

Obraz Janowy opisanej w opowiadaniu jest niewątpliwie synonimem natury, miejscem z daleka od cywilizacji, przestrzenia, gdzie rządzi mądrość ludowa, a także relacje rodzinne i sąsiedzkie⁷. To typowy przykład żydowskiego sztetla, azylu, gdzie pielęgnowane są rodzime żydowskie wartości. Wilno natomiast w przekazie bohaterów nie jest typowym dla postmodernizmu miejscem negacji autentycznych wartości, ale środkiem świata, stolicą wiedzy o historii i kulturze narodu żydowskiego, skarbnicą mądrości, zabytków i wspomnień. Wilno w wyobrażeniach narratora – wówczas jeszcze dziecka – jawi się jako miasto wspańiałe i nieosiągalne, miasto-mit. Porównując Wilno do wyspy wyłaniającej się z oceanu nienawiści i obcości, Kanowicz nawiązuje do wydarzeń antysemickich na Litwie, do ciągłego prześladowania Żydów i stałego poczucia zagrożenia:

Из этих баек [...] из этих рассказов складывался образ Города городов, еврейского острова в бурном океане ненависти и чужести, образ столицы еврейского благочестия и премудрости” – czytamy w opowiadaniu. (s. 6)

Taki właśnie wyidealizowany obraz Jerozolimy Północy zbudował narrator opowiadania na podstawie opowieści członków najbliższej rodziny:

⁴ Г. Канович, *Продавец снов*, „Октябрь” 1998, nr 1.

⁵ Zob. *Считаю себя русским писателем*, беседа вел М. Гейзер, „Вопросы литературы” 2003, nr 4.

⁶ Zob. Г. Канович, *Сон об исчезнувшем Иерусалиме*, [w:] *Облако под названием Литва*, Иерусалим 2011, s. 7 (dalej cytaty według tego wydania – strony podaję w nawiasach).

⁷ Por. K. Sobolewska, *Miasto i wieś jako opozycja kulturowa*, [w:] eadem, *Miasto i wieś. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego*, t. 12, Kraków 2007, s. 7.

В моем детстве, которое, уже само стало сном, сновидения о Нем, удивительном и недостижимом для меня городе, навевались бесконечными, томительными рассказами домочадцев – бабушки и дедушки, дядьев и теток, никогда и никуда не выезжавших за пределы нашего местечка, но знавших обо всем на свете не меньше, чем сам Господь Бог. (s. 5)

Kanowicz konstruuje pewną czasoprzestrzeń mityczną, czyniąc przeszłość ważnym składnikiem terażniejszości, traktując współczesność jako ciągłość tradycji, historii, jako część dziedzictwa pozostawionego przez pokolenia. Śmiało można więc stwierdzić, iż miejsca opisane przez autora opowiadania stają się, używając słów Elżbiety Rybickiej, „refleksją nad miastem, która jest w gruncie rzeczy refleksją nad kulturą”⁸.

Jak się okazuje, legenda o wspaniałym Wilnie budowana była od pokoleń, a co ciekawe – wspomniani bohaterowie nigdy w tym mieście nie byli. Dla ciotki Hawy Wilno jest spełnieniem jej marzeń o zamążpójściu. Pojawiający się w tekście motyw złotej obrączki symbolizować może miłość i wierność „Jerusalaim de Lite” – miastu, które chroni wielkie żydowskie tradycje, historię i pamięć o przodkach. Kanowicz, na co zwraca uwagę Olga Kaczerewska, umiejętnie kreśli sylwetki swoich bohaterów, a następnie z mistrzowską starannością wpisuje stworzone postaci w szerszy litewsko-żydowski kontekst, gdzie istotną rolę odgrywa pamięć: „Однако Литва в романах Кановича не замкнута на самой себе, она вписана автором в более широкий контекст. [...] основным структурообразующим принципом повествования во всех романах выступает память. Отдельные фрагменты, словно кусочки мозаики, объединяясь личностью вспоминающего, создают, с одной стороны, единую, цельную картину бытия, а с другой – образы самих этих персонажей”⁹ – pisze badaczka.

Proces samoidentyfikacji mieszkańców Janowy odbywa się zatem w sposób naturalny, tj. dzięki pamięci genetycznej, poprzez etniczną przynależność, którą interpretować należy jako ciągłość życia i jedność pokoleń¹⁰. Dodać należy, iż

⁸ Zob. E. Rybicka, *Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych)*, [w:] *Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy*, pod red. M. P. Markowskiego i R. Nycza, Kraków 2006, s. 472.

⁹ Zob. O. Качеревская, *Литва в трилогии Г. Кановича (Козлёнок за два гроша, Не открывали лица от смерти, Очарование сатаны)*, „Meninis tekstas” 2008, nr 6 (1), s. 259.

¹⁰ Warto w tym miejscu przywołać teorię Carla Junga na temat nieświadomości zbiorowej. W psychoanalizie Junga istnieje podział nieświadomości na personalną, sprzyjającą przypadkowemu zapamiętywaniu treści, oraz na kolektywną, obejmującą oprócz emocji również ukryte treści zawierające wzory zachowań, doświadczeń ludzkości. Właśnie dzięki komponentom składającym się na nieświadomość kolektywną, tzw. archetypom, wyrażanym głównie poprzez symbole, człowiek dziedziczny, przechowuje utrwalone przez wieki wzorce, instynktownie reaguje na pewne sytuacje.

żydowską Litwę okresu przedwojennego należałoby traktować jako teren pogranicza kulturowego. Jednak fakt, iż tereny bliskie Kanowiczowi zasiedlali głównie Żydzi, zdecydowanie ułatwiał egzystencję przebywającej tam ludności pochodzenia żydowskiego. Autor opowiadania, podobnie jak jego bohaterowie, został wychowany na styku kultur, gdzie świadomość narodowego określenia jest wyostrzona, a to z kolei sprawia, iż raczej nie ma tutaj problemów z samo-identyfikacją¹¹.

Oprócz ciotki Hawy w utworze występują także inni członkowie rodziny narratora, dla których Wilno stanowi najwyższą wartość. Dla wujka Lejzera na przykład największym szczęściem byłoby, gdyby został pochowany obok rabina Eliasza. Chodzi tutaj zapewne o Eliasza ben Salomona Zalmana – Gaona z Wilna. Nawiązanie w tekście do wydarzeń z XVIII wieku i postaci rabina Gaona (z hebr. geniusz), uczonego, któremu przypisuje się niemały wkład w odrodzenie się państwa żydowskiego, staje się w tekście symbolem wierności tradycji i dbałości o narodowe dziedzictwo¹².

Postacią, dla której zarówno postać rabina Gaona, jak i wspomnienie Wielkiej Synagogi w Wilnie ma znaczenie wyjątkowe, niemalże święte, jest w opowiadaniu babcia. Nie chce ona słuchać opowieści kuzyna Pejsacha, który jako jedyny z całego miasteczka miał okazję odwiedzić Wilno. Relacja „Cymesa”, opisującego miasto jako miejsce całkiem pospolite, gdzie na co dzień panuje męczący zgiełk, hałas i brud, sprawia, że kobieta zupełnie traci zaufanie do kuzyna. Jest zdenerwowana i oburzona, nazywa „Cymesa” pijakiem, który nie widzi nic poza karczmą, końmi i ulicznym błotem. Stanowczo odrzuca propozycję zawiezienia jej do Wilna:

С кем угодно поедет – только не с ним. Ни после Йом-Кипур, ни на Хануку, никогда. Она лучше пешком пойдет, одна, без попутчиков, чем сядет в его задрипанную телегу, воняющую мочой и сырыми кожей. С кем угодно, но не с ним, мужланом, обжорой и выпивохой, который кроме корчмы, лошадей и дорожной грязи ничего не видит на свете. Ни-че-го!.. (s. 8)

Archetypy przy dialogu z ego sprzyjają uporządkowaniu życia człowieka, oddziałują na przeżycia, odczucia, uwalniają konotacje właściwe dla wielu pokoleń ludzkich. Zob. C.G. Jung, *Archetypy i symbole*, Warszawa 1993, s. 120; idem, *Psychologia a religia*, Warszawa 1970, s. 231, a także Ю. Козлов, *Проблема национальной/этнической идентификации в творчестве Дины Рубиной*, „Literatura” 2004, nr 46 (2), s. 6.

¹¹ A. Kłosowska, *Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej*, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1, s. 139.

¹² Zob. Г. Аграновский, И. Гузенберг, *Литовский Иерусалим. Краткий путеводитель по памятным местам еврейской истории и культуры в Вильнюсе*, Wilno 1992, s. 64–65. Zob. także: *Электронная еврейская энциклопедия*, [online] <www.eleven.co.il/?mode=article&id=15060&query> (10.06.2013).

Identyfikacja bohatera z tradycją i historią oraz odwołanie się do wspomnień mają bardzo istotne znaczenie dla procesu formowania się jego samoświadomości¹³. Ważna jest zatem pamięć o przeszłości i odpowiedzialność za podtrzymywanie historycznego dziedzictwa, nawiązywanie do tradycji oraz dbałość o podstawowe wartości, gwarantująca trwałość ideałów i ocalenie czy budowanie własnej tożsamości¹⁴. W twórczości Kanowicza zauważalne są elementy filozofii antropologii fenomenologicznej. Autor, kreując postać babki w zestawieniu z postacią „Cymesa”, zachęca do odkrywania w człowieku istoty świadomej, posiadającej własne stanowisko wobec swojego istnienia. Zamiast próżnego stosunku do świata jakże ważne wydaje się epistemologiczne „nastawienie poznawcze”, podążające w kierunku samozrozumienia, co więcej – zrozumienia człowieka i otaczającej go rzeczywistości¹⁵. Wiara w wartości, czego dowodem są słowa narratora wdzięcznego za konsekwentną postawę babki względem „Cymesa”, dodaje sił w najtrudniejszych momentach życia, chroni przed złem i rozpaczą:

Спасибо ей за гнев и обиду – она уберегла от порчи мои сны, не позволила законопатить трюмы плившего по нашему тихому омуту корабля с его драгоценностями и сокровищами. Благодаря ей до рокового двадцать второго июня – мое детство еще заливало светом, струившимся из окон Большой синагоги, – светом святости и веры; благодаря ей оно продолжало пахнуть, не извозничьей правдой, грубой и зловонной, как конская моча или сырые кожи, а благовониями вымысла, который возвышал душу и переносил ее в иные, недоступные и прекрасные пределы: благодаря ей у меня был неосязаемый, верный талисман, охранявший меня от зла и отчаяния. (s. 8)

Analizując motyw Wilna w opowiadaniu *Sen o Jeruzalem, którego już nie ma*, należy także zwrócić uwagę na kwestię nazewnictwa. Narrator mówi o Wilnie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, przy czym używa zaimków pisanych wielką literą (я увидел Его, Он принял меня, сновидения о Нем), co uwydatnia niepospolity stosunek do tego miasta, choć niejednoznaczny. Z jednej

¹³ Por. J. Nikitorowicz, *Tożsamość osobowa i kulturowa*, [w:] idem, *Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa*, Białystok 1995, s. 68. Zob. także E. H. Erikson, *Tożsamość a cykl życia*, Poznań 2004.

¹⁴ K. Dettlaff, *A gdyby nas lepiej kuszono? O ocaleniu i zagładzie Miasta wartości. „Raport z oblężonego Miasta” Zbigniewa Herberta*, [w:] *Literatura i/a tożsamość w XX wieku*, pod. red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2007, s. 25. Por. także O. Urban, *Źródła tożsamości jednostki ludzkiej w świetle badań psychologicznych i socjologiczno-kulturoznawczych*, [w:] *Kim jestem? Perspektywy tożsamości. Podmiot, przedmiot, tożsamość*, pod red. B. Andrzejewskiej, J. Matejczuk, K. Podłasa, M. Wojnarowskiej, Poznań 2003, s. 18.

¹⁵ Zob. I. Bittner, *Współczesna antropologia filozoficzna*, Łódź 1999, s. 25.

strony jest to miasto unikatowe, zachwycające, nieosiągalne, miasto nad miastami, z drugiej – co należy podkreślić – jest to miejsce niespełnionych marzeń, pełne przelanych łez i naznaczone krwawymi wojennymi wydarzeniami:

Мне снились Его улицы и переулки, узенькие, как веревки, на которых веками сушилось еврейское белье – непросыхающее от пролитых слез, засиненное синькой несбывшихся надежд. (s. 5)

Narrator wymienia różne miejsca, w których miał okazję przebywać, a więc Nowy Jork, Paryż, Toronto, Londyn, Pragę, Warszawę. Choć wszystkie te miasta są niezwykle, osobliwe i wielu pragnęłoby się w nich znaleźć, to jednak jedynie Wilno stało się miastem snów narratora:

За свою уже некороткую жизнь я побывал во многих городах – в Нью-Йорке и Париже, в Торонто и Женеве, в Лондоне и Турине, в Праге и Варшаве, но ни один из них, величественных, неповторимых, желанных, не входил в мои сны. (s. 5)

O ile wymienione przez Kanowicza nazwy wielkich stolic, którymi zachwyca się świat, z pewnością posłużyć miały ukazaniu ich ziemskiego fenomenu, mit litewskiej Jerozolimy wskazuje na jego niebiańską moc, przestrzeń-universum. Podobne, jak sądzę, jest stanowisko Norberta Leśniewskiego, który w jednym z artykułów pisał: „Są miasta, które przyciągają. Miasta, które roztaczają wokół siebie niepowtarzalny urok, porażają swoją wyjątkowością i szczególnością [...], zapierają dech w piersiach niezwykłością historii. Są miasta, które jakby z głębi swych dziejów dumnie do nas przemawiały, opowiadały o historycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce, o wielkich ludziach, którzy w nich żyli. Siła i niewyczerpalność tradycji, która w miastach zagaja nas każdą niemal kamienicą, zaułkiem [...] stanowi dla nas nieprzebrany skarbiec – powód do dumy i poczucia pewności – bogate i stabilne miejsce zakotwiczenia naszej teraźniejszości”¹⁶.

Wilno u Kanowicza jest takim właśnie miastem-symbolem, ikoną, mitem. Jerozolima Północy przyciąga swoją niesamowitą magią, którą współtworzą historia, pamięć o zamieszkujących tam ludziach, a przede wszystkim wciąż żywe wspomnienia. Tylko to miasto, czego potwierdzenie znajdujemy już na początku

¹⁶ N. Leśniewski, *Miasto i jego miejsca. Próba ujęcia radykalno-hermeneutycznego*, [w:] *Pisanie miasta, czytanie miasta*, pod red. A. Zeidler-Jeniszewskiej, Poznań 1997, s. 50–51. Cyt. za: K. Wieczorek, *Miasto i człowiek. Między zamieszkaniem i polknięciem*, [w:] *Miasto i czas*, pod red. J. Kurka i K. Maliszewskiego, Chorzów 2008, s. 15.

opowiadania, stało się tym jedynym, bezwzględnie wyjątkowym miejscem na świecie: „Мне снился только Он, единственный город на свете” – zapewnia narrator opowiadania.

Stale pojawiający się w tekście motyw snu jest niewątpliwie wyrazem ukrytych w podświadomości dążeń i pragnień, a także przejawem tęsknoty za spokojem, za życiem bez wojen, śmierci, łez, strachu i obaw, za miejscem znanym ze szczęśliwego dzieciństwa¹⁷. Na istotną rolę snu i pamięci jako kluczy interpretacyjnych do badań nad twórczością Kanowicza zwraca uwagę Jurij Kaminskij: „Память – это и есть сон, который длится дольше жизни” – swoeобразный ключ к вхождению во всечеловеческое историческое пространство, в котором и происходит действие прозы Кановича”¹⁸. Sen jest zatem odzwierciedleniem stanu umysłu narratora, będącego *alter ego* autora. Sen o Jerolimie Północy staje się wyrazem pamięci Kanowicza o przeszłości, ale także obrazem jego dziennych trosk. Twórca poprzez swoich bohaterów próbuje ocalić od zapomnienia litewsko-żydowskie wspomnienia, zachęca do refleksji nad historią, a także do zadumy nad kondycją świata¹⁹.

Kanowicz, posługując się metaforą pociągu, podkreśla bezlitosne wykorzenienie z rodzimego środowiska. W oddali, za sprawą okrutnej wojennej rzeczywistości znika ukochane żydowskie Wilno: „Под стук безжалостных колес, увозивших нас в неизвестность, я по слогам повторял: Ие-ру-ша-ла-им де Ли-та! Ие-ру-ша-ла-им де Ли-та!” (s. 9). Winą za owe wykorzenienie obarcza narrator działania ludzkości – ukryte pod określeniem „rosyjska, niemiecka i litewska zamieć”. Z żalem stwierdza, iż nawet Bóg nie mógł powstrzymać tej zamieci, a wojna, niestety, stała się rzeczywistością, nie oszczędziła także „wiecznego miasta” Wilna.

W prozie Kanowicza, o czym zapewnia sam autor, Bóg nie jest jedynie dekoracją, ale występuje jako pełnoprawny bohater. Pisarz sam o sobie mówi, że nie wierzy w Boga, ale się go boi²⁰. W analizowanym opowiadaniu Bóg, posiadający przymioty „miłosierny”, „wszechmogący”, nieco jakby rozczarował narratora. Piotr Fast w artykule *Łzy i modlitwy głupców – Grigorija Kanowicza pytanie o wartości* zwraca uwagę, iż bohaterowie prozy Kanowicza nierzadko podważają autorytet Boga, zarzucają mu, że zapomniał o swoim ludzie, nie

¹⁷ Por. B. B. Агеносов, *Несколько слов о литературе русской эмиграции*, [w:] idem, *Литература Русского зарубежья*, Москва 1998, s. 510.

¹⁸ Ю. Каминский, *Еврейских слез связующая сила*, „Еврейское слово” 2007, nr 26 (348).

¹⁹ Zob. W. Kopaliński, op. cit., s. 369–372.

²⁰ П. Люкимсон, *Я смотрел на свои звезды...*, Портал IzRus, 7.06.2009, [online] <http://izrus.co.il/weekly_news /696.html> (dostęp: 11.06.2013).

okazuje mu swojej łaski²¹. W opowiadaniu *Sen o Jeruzalem, którego już nie ma* jest podobnie. Wiara w wieczne miasto Wilno, ową niezatapialną wyspę mądrości i pobożności, podobnie zresztą jak wiara w Boga-Ojca i Pana, została wystawiona na próbę. Bóg okazał się zbyt słaby:

Стыдно признаться, но я в своих мыслях, в своих снах норовил не столько быть рядом с отцом и матерью, сколько с ним, Всевышним. Что могли родители? Они могли одеть и накормить, и то недосыта. Он же мог спасти город моих снов, сделать так, чтобы все выюги утихли и все сугробы растаяли! – Гот из а тате! Бог – наш отец! (s. 9).

Narrator nigdyś zaufał Bogu, starał się w myślach i snach być nawet bliżej Boga niż matki i ojca. Wiara we Wszechmogącego okazała się jednak złudna. W jego wypowiedzi brzmi wyrzut: On mógł zbawić miasto moich snów, sprawić, żeby na świecie zapanował spokój.

Fast komentuje taki stosunek do Boga jako typowy dla kultury żydowskiej: „Człowiek w świecie Żydów staje się partnerem Boga, kimś takim jak on”²². Analizując stosunek człowieka do Boga u Kanowicza, Fast wskazuje na „gloryfikowanie wartości człowieka”, „orientację na człowieka”²³. Istotnie, bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza, w prozie Grigorija Kanowicza jest idea antropocentryczna. Podstawę świata wartości w całej twórczości pisarza bez wątpienia stanowi człowiek wpisany w koło historii. Co więcej, historia dominuje tu nad ludzkością. Jest to jednak, o czym pisze Anna Woźniak w monografii poświęconej sylwetce i twórczości Abrama Terca, zjawisko typowe dla twórców wychowanych „na glebie totalitaryzmu sowieckiego”²⁴.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z eschatologicznymi przekonaniem Żydów, także i w opowiadaniu Kanowicza momentem zwrotnym w historii Wilna będzie nadejście Mesjasza. Historia będzie kiedyś miała swój koniec: „Gdy przyjdzie Mesjasz, świat zostanie ocalony raz na zawsze, a historia przestanie istnieć”²⁵. W analizowanym opowiadaniu narrator jest przekonany, iż kiedyś Mesjasz zbawi świat i wszyscy znowu będą mogli przybyć do Wielkiej

²¹ Zob. P. Fast, *Łzy i modlitwy głupców – Grigorija Kanowicza pytanie o wartości*, [w:] *Literackie portrety Żydów. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej*, Lublin – Nałęczów, listopad 1993, pod red. E. Łoch, Lublin 1996, s. 215.

²² Ibidem, s. 118.

²³ Ibidem, s. 218–219.

²⁴ Zob. A. Woźniak, *Historia i człowiek*, [w:] *Uluda i cud. W świecie sztuki Andrieja Siniawskiego – Abrama Terca* Lublin 2004, s. 167.

²⁵ M. Eliade, *Sacrum, mit, historia*, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 265.

Synagogi w Wilnie na modlitwę: „Придет Мессия, и мы, мертвые, встав из могил, первыми поспешим туда молиться!...” (s. 7).

Filozof żydowski, Abraham Joshua Heschel, autor książki *Człowiek nie jest sam*, podejmując rozważania na temat judaizmu, podkreśla, iż prawdziwa wiara oparta jest nie tylko na tradycji, lecz także na zdolności czytania świata w aspekcie wieczności. Czasami człowiek otrzymuje sygnały od Boga, które powinien odpowiednio zinterpretować: „W życiu każdego człowieka są chwile, w których nad horyzontem tego, «co znane», unosi się zasłona, odsłaniając widok na «to, co wieczne»”²⁶.

Rozważaniom o wieczności towarzyszy w utworze wspomnienie Wielkiej Synagogi, będącej nie po raz pierwszy w twórczości Kanowicza symbolem judaizmu, muzeum żydowskiej kultury i religii, dumą litewskich Żydów, wreszcie domem. Podobnie zresztą jak dla bohaterów powieści *Park niepotrzebnych Żydów* świątynia jest nieśmiertelnym domem, ojczyzną: „Dom modlitwy był dla ich dziadków i pradziadków, dla ojców i matek, dla nich samych – nie trawą, pędzącą przez fale po obcym, wzburzonym morzu, nie wyspą, zagubioną wśród odmętów, lecz ojczyzną”²⁷ – czytamy w powieści. Wspomnienie świątyni w opowiadaniu *Sen o Jeruzalem, którego już nie ma*, staje się, o czym wspomina Krzysztof Maliszewski w swoich studiach o mieście i człowieku, pytaniem o źródło sensu życia²⁸. Pisarz poprzez takie właśnie „zamieszkiwanie” Wilna zwraca uwagę na istotę człowieczeństwa, na przestrzeń duchową wypełnioną sensem²⁹. Maliszewski w artykule *Pedagogicznie mieszka człowiek* przytacza słowa Hanny Buczyńskiej-Garewicz na temat świątyni i umiejętności odczytywania sensów: „Świątynie [...] mogą być dla nas darem, jeśli potrafimy go z nich odczytać [...]. Dar jest dla wrażliwego, dla myślącego. Niektórzy rozumieją, inni nie. Jednakże istnienie i treść duchowa świątyni są niezależne wobec tych różnorodnych ludzkich percepcji i reakcji, są niezmiennie w swym bogactwie zawsze tylko fragmentarycznie i przelotnie odczytywanym”³⁰.

Wileńska przestrzeń, oprócz tego, iż jest przepełniona wydarzeniami dnia codziennego, jest przede wszystkim miejscem o ważnym, egzystencjalnym znaczeniu, gdzie budowana była przez wieki żydowska duchowość. Jerozolima Północy, używając metafory Martina Heideggera, jest niewątpliwie „poetyckim

²⁶ Zob. W. Panas, *Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej*, Lublin 1996, s. 138–139. Por. także: S. J. Żurek, *Miasto święte*, „Kurier Lubelski” z 9 maja 2007.

²⁷ Zob. G. Kanowicz, *Park niepotrzebnych Żydów...*, s. 37.

²⁸ K. Maliszewski, *Pedagogicznie mieszka człowiek*, [w:] *Miasto i czas...*, s. 28.

²⁹ Ibidem, s. 24.

³⁰ H. Buczyńska-Garewicz, *Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni*, Kraków 2006, s. 145. Cyt. za: K. Maliszewski, *Pedagogicznie mieszka człowiek...*, s. 285.

mieszkaniami”. Kanowicz bowiem „widzi szerzej i więcej”, a także zachęca do rozszyfrowywania znaczeń, które są głęboko ukryte³¹. Twórczość pisarza to zamieszkiwanie, które jest zdolnością osvajania i rozumienia wielu miejsc oraz polega na nieustannym rozszerzaniu, reinterpretowaniu i semantycznej rewitalizacji rodzinnej okolicy. Nie tylko Wielka Synagoga, ale całe przedwojenne żydowskie Wilno w badanej prozie jest symbolem domu jako schronienia, bezpieczeństwa, trwałości oraz porządku. W opowiadaniu widoczna jest nie tylko radość i duma z bycia członkiem litewskiej społeczności żydowskiej, ale także odpowiedzialność za pamięć o przeszłości.

To właśnie literatura staje się medium ocalającym przeszłość. Pisarstwo jest swoistym wewnętrznym wyzwoleniem – cytując słowa Martina Bubera „wyzwoleniem z getta chorej duszy”³². Wierność litewskiej Jerozolimie, bo tylko tej chce pozostać wierny Kanowicz, nasuwa skojarzenia z obietnicą zawartą w *Księdze Psalmów*:

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Niech język mi przyschnie do podniebienia,
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
jeśli nie postawię Jeruzalem
ponad największą moją radość.
(Psalm 137, 4-6)

I rzeczywiście z korespondencji mojej z autorem wynika, iż dusza pisarza jakby mniej cierpi, gdy jego twórczość znajduje odbiorców. Wówczas czuje się on szczęśliwy i dumny, że pielęgnuje pamięć o swoim mieście, o stolicy litewskich Żydów – Jerszalaim de Lite.

Kanowicz, na co zwraca uwagę Arkadij Krasilszиков³³, za wszelką cenę dąży do ocalenia żydowskiej tożsamości i reprezentuje stanowisko przeciwne poglądom syjonistycznym. Naród bez przeszłości, nawet jeśli owa przeszłość jest trudna i krwawa, co wybrzmiewa w badanej literaturze, to naród bez przyszłości. Kanowicz, podobnie zresztą jak Marc Chagall w swoich pracach, apeluje o patrzenie do przodu, nie zapominając jednak o przeszłości, pielęgnując

³¹ Por. K. Maliszewski, *Pedagogicznie mieszka człowiek...*, s. 22.

³² Por. M. Antosik-Piela, *Powieść syjonistyczna w Europie. Analiza wybranych problemów*, [w:] *Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice*, pod red. E. Prokop-Janiec i S. Żurka, Kraków 2011, s. 71.

³³ Zob. A. Красильщиков, *Григорий Канович – связь времен*, 1 июля 2013 г., [online] <http://a.kras.cc/2013/07/blog-post_1.html> (10.06.2013).

budowaną od wieków historię, dbając o tradycję i pamięć o przodkach³⁴. Szczęście nazwał Kanowicz w jednym z listów fakt, że młodsze pokolenie czytelników w różnych miejscach na świecie zna jego książki³⁵. To dowód na to, iż pamięć o litewskiej Jerozolimie żyje, a literatura będąca pomnikiem dla tych, którzy odeszli, wciąż jest spoiwem, które chroni przed wydziedziczeniem z historii i kultury.

Резюме

„Иерушалаим де-Лите”. Образ Вильнюса в рассказе Григория Кановича
„Сон об исчезнувшем Иерусалиме”

В статье рассматривается образ Вильнюса в творчестве Григория Кановича, писателя, который остался верен своей единственной теме – еврейской Литве, которую он помнит с детства. Предметом исследования является рассказ *Сон об исчезнувшем Иерусалиме* с 1994 г. Послевоенный Северный Иерусалим, несомненно, является центром еврейского этноса, это мифическое место, уникальное и потрясающее, но это тоже, к сожалению, место разочарований и разбитых мечтаний город, отмеченный слезами и кровавыми событиями войны. Использован автором мотив сна – это стремление к свободе, возврат к прошлому, а также символ заботы и воспоминание места, которое уже никогда не будет прежним.

Summary

„Yerushalayim de Lite”. Image of Vilnius in the story of Grigory Kanovich
“Dream of Jerusalem, which no longer exists”

The considerations made in the article concern the image of Vilnius in the prose of Grigory Kanovich, a writer, who in all his previous works remains faithful to the Jewish Lithuania, which he remembers from his childhood. The story of Kanovich entitled *Dream of Jerusalem, which no longer exists* has been carefully analyzed. The post-war Jerusalem of North is undoubtedly the center of the Jewish ethnos, a mythical place, unique, admirable, but also a place of disappointments, broken dreams, a city full of shed tears and marked by bloody events of the war. The theme of dream present in the work is at the same time longing for freedom, return to the ideal past, but also a symbol of fear and memory of the place which will never be the same again.

Key words: Grigory Kanovich, Yerushalayim de Lite, Jewish Vilnius, Jewish ethnos.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Korespondencja moja z autorem z dnia 7 czerwca 2013 r.

Valentina Macapura
Połtawa (Ukraina)

Баллады Адама Мицкевича в художественной интерпретации Александра Пушкина

Творческий „диалог” между Пушкиным и Мицкевичем – научная проблема, имеющая много аспектов и направлений. Учёные добросовестно подсчитали, где и когда встречались поэты, как часто упоминали друг друга в своих произведениях, какое влияние оказали друг на друга. Об этом свидетельствуют работы М. А. Цявловского, Д. Д. Благого, Н. В. Измайлова, Д. П. Ивинского и других исследователей¹. Однако многие вопросы, касающиеся „диалога” между поэтами, не потеряли своей актуальности, несмотря на то, что к их решению обращались авторитетные исследователи России, Польши, Украины, Белоруссии и других стран. Это связано с тем, что произведения, созданные почти два века назад, нуждаются в новых подходах к анализу и новых интерпретациях, цель которых – приблизить шедевры классики к восприятию современного читателя.

Объектом анализа в данной работе являются пушкинские баллады *Будрыс и его сыновья* и *Воевода* в их сопоставлении с балладами Мицкевича *Trzech Budrysów* и *Czaty*, впервые опубликованными в России в 1829 г. Обстоятельства создания этих переводов, как справедливо указывает Я. Л. Левкович, хорошо изучены². Их созданию предшествовали польские события 1830–1831 гг. В 1833 г. С. А. Соболевский привёз Пушкину из Парижа том собраний сочинений Мицкевича, Пушкин взял его в поездку на Урал, а на обратном пути – в Болдине переписал в рабочую тетрадь польский текст стихотворений *Русским друзьям*, *Олешкевич*

¹ См: М. А. Цявловский, *Мицкевич и его русские друзья*, [в:] idem, *Статьи о Пушкине*, Москва 1962, с. 157–206; Д. Д. Благой, *Мицкевич и Пушкин*, [в:] idem, *От Кантемира до наших дней*, Москва 1979, т. 1, с. 289–318; Н. В. Измайлов, *Мицкевич в стихах Пушкина (К интерпретации стихотворения „В прохладе сладостной фонтанов”)* [в:] idem, *Очерки творчества Пушкина*, Ленинград 1976, с. 125–173; Д. П. Ивинский, *Пушкин и Мицкевич: история литературных отношений*, Москва 2003.

² Я. Л. Левкович, *Переводы Пушкина из Мицкевича*, [в:] *Пушкин. Исследования и материалы*, т. VII: *Пушкин и мировая литература*, Ленинград 1974, с. 157.

и тридцать один стих из *Памятника Петру Великому*. Очевидно, поэт переписал их для того, чтобы перевести, однако вместо указанных текстов он перевёл две баллады Мицкевича – *Trzech Budrysów* и *Czaty*.

В собраниях сочинений Мицкевича, изданных на русском языке, эти произведения, как правило, печатаются исключительно в переводах Пушкина. Следует напомнить, что первая публикация стихотворений *Воевода* и *Будрыс и сыновья* в „Библиотеке для чтения” в 1834 г. сопровождалась авторской пометкой: „Из М-а” (т.е. из Мицкевича). Позже, в том числе и в прижизненном издании *Стихотворений* Пушкина (1834), заглавия баллад печатались уже без этого уточнения. Это объясняется тем, что после польского восстания имя Мицкевича в России оказалось под запретом, поскольку могло восприниматься как символ борьбы за независимость Польши. Однако в черновом автографе указанных произведений Пушкина значилась не только дата и место переписки чернового текста: „28 окт. 1833. Болдино”, но и авторское примечание – „подражание Мицкевичу”. Это примечание представляется важным, поскольку свидетельствует о том, что сам поэт не воспринимал созданные им произведения как переводы в точном смысле слова. Думается, что слово „подражание” в пушкинском примечании не следует воспринимать буквально. Пушкин как истинный романтик опирался на поэтику литературной игры и в оригинальном творчестве, и в текстах, которые относятся к разряду переводов.

Интерес к балладе как жанру в творчестве Пушкина и Мицкевича не случаен: он объясняется популярностью этого жанра в романтической литературе, в частности интересом романтиков к народной балладе. Оба поэта были признанными мастерами этого жанра. До того, как Пушкин обратился к балладам Мицкевича, его перу принадлежали баллады *Сраженный рыцарь*, *Черная шаль*, *Песнь о вещем Олеге*, *Утопленник*, *Анчар*, *Гусар*. Русскому читателю, начиная с 1825–1826 гг., в переводах были известны баллады Мицкевича, вошедшие в цикл *Баллады и романсы*. Оба поэта пытались решить проблему национального колорита, проявляли интерес к сборнику баллад Проспера Мериме *Гузла* и долгое время не подозревали, что Мериме является автором мистификации, воспринимая опубликованные им произведения как истинно народные.

Из множества баллад Мицкевича Пушкин выбрал те, которые были близки его творческим устремлениям. *Trzech Budrysów* и *Czaty* отличаются от других баллад Мицкевича тем, что не имеют фантастических элементов, важную роль в их построении играют исторические детали, динамический

сюжет и неожиданная развязка. По своей структуре они соответствуют традиционному построению фольклорной баллады. Им свойствен драматизм развития сюжета, концентрация внимания на кульминационных моментах, использование монологов и диалогов как сюжетообразующих факторов, а также недосказанность, придающая балладам таинственность. В обеих балладах изображены необычные ситуации из жизни обычных людей, а общественные и исторические коллизии преломляются сквозь призму личных взаимоотношений и судеб.

В стихотворении Пушкина *Будрыс и его сыновья* связь с оригиналом более тесная. Поэт сохранил особенности ритмики и строфики, сильные позиции оригинала. Известно, что обе баллады Мицкевича написаны одной и той же строфой, восходящей к балладе В. А. Жуковского *Замок Смальгольм, или Иванов вечер*, которая в свою очередь воспроизводит строфу баллады Вальтера Скотта. Позже эту строфу стали называть „мицкевичевой”. Эта строфа состоит из четверостиший, в которых чередуются 14-сложные и 10-сложные стихи. Исследователи установили, что обе баллады Мицкевича написаны трёхстопным размером – анапестом, при этом первый и третий стих каждого четверостишия делится на два полустипа, связанные внутренней женской рифмой, естественной для польского стихосложения³.

До появления пушкинского перевода баллады Мицкевича *Три Будрыса* в 1829 г. в журнале „Сын Отечества и Северный архив” был опубликован прозаический подстрочник данного текста, автором которого по предположению А. Федуты был Ф. В. Булгарин, для которого польский язык был родным⁴. В примечании к подстрочнику переводчик заметил, что „эту балладу в подлиннике должно почитать образцом простоты рассказа и легкости. Форма стихосложения совершенно новая. В первом и третьем стихах окончательное слово на цезуре составляет рифму с последним”⁵. Пушкину в его поэтическом переводе удалось передать смысловые акценты, лёгкость и простоту рассказа, присущую первоисточнику, а также особенности его ритмики и рифмовки. В первом издании (в публикации

³ См.: Б. В. Томашевский, *Строфика Пушкина*, [в:] idem, *Пушкин. Работы разных лет*, Москва 1990, с. 354–355; *Жуковский и русская литература конца XVIII–XIX века*, Москва 1988, с. 316; В. Э. Вацура, *Мицкевич и русская литературная среда. Строфа „Воеводы”*, [в:] idem, *Избранные труды*, Москва 2004, с. 693.

⁴ См.: А. Федута, *Три Будрыса: Авторский текст – подстрочник – поэтический перевод*, [online] <filologija.vukhf.lt/.../2.5%20Feduta_RED_VM>.

⁵ Цит. по изд. [Ф. В. Булгарин] *Три Будрыса. Литовская баллада. Соч. А. Мицкевича*, „Сын Отечества и Северный архив” 1829, т. V, с. 113.

журнала „Библиотека для чтения”, 1834), как и в первоисточнике, сохранилось примечание-уточнение – „Литовская баллада”. Однако поэт изменил название баллады, выдвинув на первый план образ крестьянина-воина Будрыса, подчеркнув его ведущую роль в произведении: именно он отправляет своих сыновей на три стороны света, предлагает принять участие в трёх походах. В подстрочнике Ф. Булгарина это звучало так: „Мне сказывали в Вильне, что скоро возгласят // Три похода, на три стороны света: // Ольгерд нападёт на русские селения, Скиркомо на Ляхов соседей, // А князь Хейстуд ударит на тевтонов. Вы сильны и здоровы, ступайте служить отечеству, // Да пекутся о вас Литовские боги”⁶. Историческим фоном баллады Мицкевича является ситуация междоусобных войн, характерная для XIV века.

Одно из ключевых слов в балладе Мицкевича и в переводе Пушкина – историзм „литвин”, который для адекватного восприятия современного читателя требует комментария. Слово „Litwa” обозначало в первой трети XIX века территорию Великого княжества Литовского, союзного Коронной Польше, входившего вместе с Польшей в состав Речи Посполитой. Среди напутствий, которые даёт Будрыс сыновьям, на первом месте – совет привезти богатства: соболя хвосты, серебряные оклады и деньги из России; янтарь и сукна чёрного блеска от крестоносцев-пруссаков. И только из-за Немана, то есть из Польши, где нет в домах богатых вещей, он просит привезти сабли и щиты, а также невестку. При этом старый Будрыс красочно описал, как выглядят „Ляшские красотки”, какие у них ресницы и глаза:

Bo nad wszystkich ziem branki milsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak młode koteczki...⁷

Эти и подобные им детали и определяют исход событий в балладе, финал которой окрашен лёгким юмором: каждый из сыновей привёз домой вместо денег и материальных ценностей „Ляшку-невестку”.

В балладе Мицкевича *Три Будрыса* ярко выражена такая черта фольклорной баллады, как применение повторов, усиливающих драматизм ситуации⁸. В частности, это касается повтора символического числа три:

⁶ Ibidem.

⁷ А. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, Kraków 1998, с. 30.

⁸ См.: Предисловие А.А. Гугнина к сборнику *Эолова арфа*: Антология баллады, Москва 1989, с. 11.

три сына, три дороги, три невестки и три свадьбы. Кроме того, трижды повторяется строка, в которой описано, как возвращаются сыновья домой: дважды „Po śnieżystej zamieci do wsi zbrojny mąż leci...” и третий раз – „Po śnieżystej zamieci do wsi jedzie mąż trzeci...”. Дважды повторяется ответ первых двух сыновей на вопрос о том, что находится под буркой: „Nie, mój ojczce, to Laszka synowa”⁹.

Пушкин в своём переводе сохраняет эти смысловые акценты, незначительно видоизменяя их:

Снег на землю валится, сын дорогою мчится
И под буркою ноша большая,
„Чем тебя наделили? что там? Ге! Не рубли ли?”
„Нет отец мой; полячка младая”.

Снег пушистый валится; всадник с ношею мчится
Черной буркой ее покрывая.
„Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?”
„Нет, отец мой; полячка младая”¹⁰.

Изменения, внесённые Пушкиным в текст баллады *Trzech Budrysów*, объясняются его стремлением приблизить текст польского поэта к восприятию русского читателя. Эти изменения отмечались исследователями, в частности Я. Л. Левкович указывает, что поэт изменил имя одного из литовских князей (Паз вместо Скиргайло), а также описание полек, которые в буквальном переводе „Веселенькие, как маленькие котята, лица белее молока, веки с черными ресницами, Глаза блестят как две звездочки”¹¹. У Пушкина „польская девица” „Весела – что котёнок у печки – // И как роза, румяна, а бела, что сметана; // Очи светятся будто две свечки!”¹². Очевидно, подобные замены обусловлены желанием переводчика усилить фольклорный характер произведения. А поскольку таких замен в тексте стихотворения Пушкина *Будрыс и его сыновья* немного, его, как правило, относят числу переводов, хотя, на мой взгляд, этот текст занимает промежуточное положение между собственно переводом и вольным переводом или свободной художественной интерпретацией подлинника.

⁹ A. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, с. 30–31.

¹⁰ А. С. Пушкин, *Будрыс и его сыновья*, [в:] idem, *Собрание сочинений в трёх томах*, т. 1, Москва 1985, с. 517.

¹¹ См.: Я. Л. Левкович, *Переводы...*, с. 164.

¹² А. С. Пушкин, *Будрыс и его сыновья*, с. 517.

Совсем другую картину наблюдаем в пушкинском переводе баллады *Czaty*. Передав смысловые акценты баллады Мицкевича, поэт придал им другую форму. Ритмика и строфика перевода отличаются от оригинала. Пушкин заменил размер подлинника (анapest) четырёхстопным хореем с пиррихиями, а также изменил характер строфы: вместо четверостиший использовал шестистишия. В. Э. Вацуро установил, что строфа пушкинского *Воеводы* близка по структуре и характеру рифмовки к строфе стихотворения А. А. Дельвига *Поляк* (1815), к которой поэт добавил одну строку¹³.

В балладе *Czaty* Мицкевич использует такой распространённый международный сюжет, как возвращение мужа домой, а также известный мотив несчастных влюблённых. Сохранив сюжетную схему баллады Мицкевича, Пушкин по-своему интерпретирует её текст, начиная с названия. Заменив *Czaty* – дозор, слежка на *Воевода*, он тем самым подчеркнул ведущую роль образа воеводы в произведении. Вынесенный в название баллады историзм „воевода” в контексте баллады воспринимается как полонизм (в значении глава воеводства). Но для русского читателя (вне контекста) это слово могло иметь и другой смысл – начальник войска. Так, в *Толковом словаре живого великорусского языка* В. И. Даля одно из значений слова „воевода” – предводитель войска, военачальник, старший в войске.

В пушкинском тексте исчезли многие украинские акценты, присущие подлиннику, в частности подзаголовок – „украинская баллада”, имя слуги воеводы – украинского казака Наума и т.д. Поэт сократил текст баллады на три строфы. В результате внесённых изменений из „украинской баллады” получилась „польская баллада”. Не случайно уточнение „польская баллада” фигурирует в черновом автографе *Воеводы*, а также в первой публикации стихотворения, в журнальном варианте.

Почему Мицкевич сделал акцент на том, что его баллада *Czaty* „украинская”? Как известно, подзаголовок – сильная позиция в тексте произведения, он играет важную роль в реализации авторского замысла. По свидетельству одного из биографов поэта, в балладе описано подлинное происшествие, имевшее место в Украине¹⁴. Однако дело не только в этом, ведь собственно реалии украинской жизни в самом её тексте отсутствуют. Роль и функции подзаголовка в этой балладе, на мой взгляд, обусловлены

¹³ В. Э. Вацуро, *op. cit.*, с. 696.

¹⁴ См.: М. Живов, *Адам Мицкевич. Жизнь и творчество*, Москва 1956, с. 322.

тем, что в её структуре важны не только образы воеводы, его жены, влюблённого в неё мужчины, но и образ слуги – дворового казака Наума, поступок которого решает исход событий и неожиданную развязку конфликта. Слово „kozak”, которое можно рассматривать как украинизм и историзм, встречается в балладе Мицкевича пять раз. Пушкин заменяет его разговорным „хлопец” и употребляет значительно реже (трижды). Исторический, социальный и психологический подтекст имеют грубые обращения воеводы к казаку: „Hej, kozaku, ty chamie...”, „plemię hajducze” (напомним, гайдук – участник борьбы против польского владычества). В приведенных высказываниях воеводы ощутим исторический подтекст.

Черновые варианты переводческой интерпретации Пушкина свидетельствуют о том, что поэт с самого начала задумал *Воеводу* как „польскую” балладу. Вместо казака Наума и в черновиках, и в окончательном варианте фигурирует лексема „хлопец”, не содержащая намёков на национальную принадлежность. Можно предполагать, почему Пушкин изменил детали баллады Мицкевича и отказался назвать её украинской. У самого поэта уже был опыт создания „украинских” баллад. Ещё в лицейские годы он написал балладу *Казак* (1815) с подзаголовком „подражание малороссийскому”, которая была тесно связана с украинским фольклором и украинской песенной традицией. Кроме того, незадолго до начала работы над переводами баллад Мицкевича он создал балладу *Гусар*, имеющую ярко выраженный украинский колорит. Действие этой баллады происходит в Украине, здесь упоминается Киев, автор использует украинизмы, сюжет баллады связан с украинскими сказками о ведьмах и Лысой горе и т.д. Эту балладу Пушкина с полным правом можно было бы назвать украинской. Возможно в балладе Мицкевича *Czaty* создателю „Гусара” не хватало украинского колорита, и поэтому он решил придать ей другой национальный колорит – польский.

В основе баллады Мицкевича – ярко очерченная психологическая и драматическая ситуация, по сути, ситуация любовного треугольника, которая определяет развитие конфликта. Автор детально описывает состояние воеводы, который „z ogrodowej altany” бежит в замок и не находит в ложе своей жены. Он взволнован и встревожен:

[...] wojewoda zdyszany
Bieży w zamek z wściekłością i trwogą [...]
Wzrok opuścił ku ziemi i rękami drżącemi
Siwe wąsy podkręca i duma¹⁵.

¹⁵ A. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, с. 79.

Многие психологические детали оригинала не сохранились в балладе Пушкина. В художественной интерпретации поэта воевода возвращается „Поздно ночью из похода”. Его внезапное появление в замке запланировано, он знает об измене возлюбленной:

Он слугам велит молчать;
В спальню бросился к постели:
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.¹⁶

Я. Л. Левкович указывает, что „это не убитый неожиданным горем человек, а беспощадный и неколеблющийся мститель”¹⁷. Ещё одно существенное отличие между подлинником и пушкинским текстом заключается в том, что в нём отсутствуют упоминания о жене воеводы. Та, которой хочет отомстить воевода, у Пушкина дважды названа «панной», словом, которое в польском языке имеет чётко закреплённое значение – девушка, незамужняя женщина. В отличие от пушкинского текста героиня баллады Мицкевича в разных её частях названа по-разному: она жена воеводы („żona”), в сцене ночного свидания – „niewiasta” („Na darniowym siedzeniu coś bieleje się w cieniu: // To siedziała w białźnie niewiasta”); а в диалоге между казаком и воеводой в финале произведения – „dziewka”¹⁸. В этих словоупотреблениях нет противоречий, учитывая то, что „niewiasta” – женщина, недавно вышедшая замуж, а „dziewka” – в устах украинского казака звучит как эквивалент украинскому разговорному слову „дівка”. Даже в современных русско-украинских словарях «девушка» переводится как „дівчина” с указанием на разговорный вариант – „дівка”. В разговоре с казаком воевода повторяет это слово. Учитывая то, что это слово в польском языке имеет негативную окраску, Я. Л. Левкович пишет, что казак, как и воевода, осуждает поведение женщины, изменяющей мужу, что его отношение к ней выражено в презрительном „девка”¹⁹. Однако подобные акценты противоречат финалу текста и монологу казака Наума:

„Panie! – kozak powiada – jakiś bies mię napada,
Ja nie mogę zastrzelić tej dziewczki;

¹⁶ А. С. Пушкин, *Воевода*, [в:] idem, *Собрание сочинений...*, т. 1, с. 517–518.

¹⁷ Я. Л. Левкович, *Переводы...*, с. 161.

¹⁸ А. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, с. 79–81.

¹⁹ Я. Л. Левкович, *Переводы...*, с. 161.

Gdym półkucrze odwodził, zimny dreszcz mię przechodził
I stoczyła się łza do panewki”²⁰.

Образ жены воеводы представлен в балладе Мицкевича не столь детально, как мужские персонажи, но всё же достаточно рельефно. Автор описывает её только в сцене ночного свидания, сосредотачивая внимание на её состоянии, движениях, чёрных волосах и белом одеянии:

Jedną ręką swe oczy kryła w puklach warkoczy
I pierś kryła pod rąbek bielizny;
Drugą ręką od łona odpychała ramiona
Kłęczącego u kolan mężczyzny”²¹.

В этом, как и в других подобных примерах, Пушкин сокращает детали: „На скамейке у фонтана в белом платье, видят, панна // И мужчина перед ней”²².

Монолог молодого пана в переводческой интерпретации русского поэта также сокращён. Например, одна из строф данного монолога, пронизанная глубоким чувством и яркими цветовыми оттенками, не нашла отражения в переводе Пушкина:

„Co wieczora on będzie, tonąc w puchy łabędzie,
Stary łeb na twym łonie kołysał,
I z twych ustek różanych, i z twych liców rumianych
Mnie wzbronione słodczyce wysysał”²³.

В балладе Мицкевича после пламенной речи молодого пана жена воеводы падает в его объятия („I schyliła się w jego objęcia”)²⁴. В пушкинском тексте – „Панна плачет и тоскует, // Он колени ей целует”²⁵. Небезынтересно, что разные наименования героини в балладе Мицкевича – „żona”, „niewiasta”, „dziewka” – в пушкинском тексте объединены одним словом – „панна”. В исследовательской литературе высказывалась мысль о том, что подобная замена была „ошибкой Пушкина, вызванной смещением понятий”²⁶.

²⁰ A. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, с. 81.

²¹ Ibidem, с. 79–80.

²² А. С. Пушкин, *Воевода*, с. 518.

²³ A. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, с. 80.

²⁴ Ibidem.

²⁵ А. С. Пушкин, *Воевода*, с. 519.

²⁶ См.: Я. Л. Левкович, *Переводы...*, с. 161.

Однако в черновых вариантах пушкинского текста упоминались и „жена”, и „муж”, и „молодица” как эквивалент слову „niewiasta”. Например, „он бежит к жене в светлицу”, „дернул полог – молодицу”, „нет жены – пуста кровать”²⁷. То есть вначале поэт шёл за первоисточником, а в окончательном тексте сознательно отступил от него. Очевидно, всем указанным наименованиям Пушкин предпочёл вариант, имеющий национальную, в данном случае польскую окраску.

В художественной структуре оригинала важную роль играют оппозиции: *богатство – бедность*, *старый воевода – молодой пан* („siwe wąsy”, „stary łeb” – „pan młody”), а также оппозиция с социальным подтекстом – *воевода – казак-слуга*. В пушкинском тексте все они сохранены.

Поэт приглашает читателя к сотворчеству, используя (и довольно часто – восемь раз) стилистическую фигуру умолчания (сравним в тексте баллады Мицкевича подобных умолчаний всего два). Ярко выраженная эмоциональность пушкинского текста проявляется также в частом обращении к риторическим вопросам и восклицаниям. Например, в *Воеводе* Пушкина таких фигур поэтического синтаксиса восемь, а в тексте оригинала – две.

Особого внимания заслуживает пушкинская интерпретация двух финальных строк баллады Мицкевича: „Kozak odwiódł, wycelił, nie czekając wystrzelił // I ugodził w sam łeb – wojewody”²⁸. В тексте *Воеводы* такому финалу соответствует целая строфа:

Выстрел по саду раздался.
Хлопец пана не дождался;
Воевода закричал,
Воевода пошатнулся...
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал²⁹.

В художественной интерпретации Пушкина при помощи двукратных повторов „хлопец” и „воевода”, усилено социальное противостояние слуги и его хозяина. В подтексте ощутима авторская ирония по отношению к воеводе, который тщательно подготовился к засаде и к мести, но не

²⁷ А. С. Пушкин, *Полное собрание сочинений: В 16 томах*, т. 3, кн. 2: *Стихотворения*, 1826–1836. *Сказки*, Москва – Ленинград 1949, с. 905, 906.

²⁸ A. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, с. 81.

²⁹ А. С. Пушкин, *Воевода*, с. 519.

предвидел, что опасность может ожидать его с неожиданной стороны. В балладе Мицкевича воевода, заставляя слугу выстрелить в свою жену, не оставляет ему выбора:

Podsyp zapał, a żywo szczyść paznokciem krzesiwo,
Potem palnij w twój łeb lub w tę dziewczkę³⁰.

Слуга выбрал третий вариант.

Значительное количество разночтений между балладой Мицкевича *Czaty* и пушкинским *Воеводой* подтверждает мысль о том, что перед нами свободная художественная интерпретация текста оригинала, мастерски выполненный вольный перевод. В своё время М. Ф. Рылский писал о том, что „поэтический перевод должен звучать не как перевод, а как самостоятельное произведение. [...] Перевод должен быть сотворчеством”³¹. Именно так звучит пушкинский *Воевода*.

Ярко выраженная творческая индивидуальность поэта сказалась и в выборе текстов, и в их интерпретации. По-своему интерпретируя баллады Мицкевича *Trzech Budrysów* и *Czaty*, Пушкин создаёт произведения, ориентированные на русского читателя, которые обогатили русскую поэзию. В них сказались такие характерные особенности пушкинского стиля, как динамизм, гармоничность, лаконизм, особая энергетика пушкинского стиха.

Перед нами образцы творческих переводов, которые стали фактом родной литературы благодаря тому, что автор внёс в текст переводимого источника ряд изменений. Сохранив дух оригинала, он вступил в творческое соревнование с польским поэтом. Традиция публикации рассматриваемых пушкинских текстов без указания „Из Мицкевича” сохранилась и в дальнейших изданиях. Связь пушкинских произведений *Будрыс и его сыновья* и *Воевода* с балладами Мицкевича отмечается только в комментариях или в примечаниях к многотомным собраниям сочинений Пушкина, а также в примечаниях к собраниям сочинений Мицкевича.

Известно, что перевод в эпоху романтизма имеет свою, ярко выраженную специфику, которая проявляется, в первую очередь, в довольно свободном обращении с текстом оригинала. Пушкинские переводы не стали исключением в данном плане. Сопоставление их

³⁰ A. Mickiewicz, *Ballady i romanse*, с. 81.

³¹ М. Рылский, *Искусство перевода: Статьи. Заметки. Письма*, Москва 1986, с. 11, 166.

с оригиналом наталкивает на мысль о том, что, несмотря на ярко выраженную зависимость от первоисточника, указанные произведения занимают промежуточное положение между собственно переводом и оригинальным творчеством. Данное наблюдение касается, прежде всего, пушкинского *Воеводы*.

Streszczenie

Ballady Adama Mickiewicza w artystycznej interpretacji Aleksandra Puszkina

W artykule analizie poddano ballady Adama Mickiewicza *Czaty*, *Trzech Budrysów* oraz Aleksandra Puszkina: *Wojewoda*, *Budrys i jego synowie*. W ujęciu porównawczym jest analizowana specyfika tych utworów, rola opozycji, narodowy koloryt w strukturze artystycznej, użycie języka, rytmu, pytania retoryczne i okrzyki itp.

Ustalając podobieństwa i różnice między balladami Mickiewicza i Puszkina, autorka skupia się na rozbieżności między oryginałem a tłumaczeniem. Dochodzi do wniosku, że ballady *Wojewoda* i *Budrys i jego synowie* zajmują pozycję pośrednią między tłumaczeniem a oryginalną twórczością, wolną interpretacją artystyczną. Szczególnie widoczne jest to w tekście ballady *Wojewoda*.

Summary

Ballads by Adam Mickiewicz in Alexander Pushkin's artistic interpretation

The main target of research in this article is the ballads by Mickiewicz *Czaty* (*The watch*), *Trzech Budrysów* (*The three brothers Budrys*) in comparison with the ballads by Pushkin *Воевода* (*The waywode*) and *Будрыс и его сыновья* (*Budrys and his sons*). In particular, there have been compared the artistic specific features of the mentioned works, the role of opposition, the role of ethnic flavour in their structure, language features, peculiarities of rhythm system and stanzaic prosody, functions of aposiopesis, rhetorical questions and exclamations and etc.

When finding out the common and the different between the ballads by Mickiewicz and Pushkin, the author of the article points up the difference between the original and the translation. The type of these differences testifies, that the ballads *The waywode* and *Budrys and his sons* mediate between the translation and the original creative work and can be considered an independent interpretation of the ballads by Mickiewicz. It becomes apparent especially well in the text of Pushkin's ballad *The waywode*.

Key words: a ballad, an original, translation, artistic interpretation, artistic structure.

Halina Mazurek
Uniwersytet Śląski

Konfrontacje rosyjsko-polskie w dramatach Gabrieli Zapolskiej

Gabriela Zapolska, znana głównie z takich dzieł jak *Moralność pani Dulskiej*, *Żabusia*, *Panna Maliczewska*, *Ich czworo* czy *Skiz*, próbowała zmierzyć się również z dramatem patriotycznym. Tomasz Weiss skomentował ten zamiar następująco: „Żądna sławy, zazdrosna, że zdobywają ją Sienkiewicz, Żeromski czy Wyspiański, opracowując tematy patriotyczne i historyczne, chciała spróbować swych sił w tej nowej dla siebie problematyce. [...] Decyzja Zapolskiej okazała się niesłuszną. Patos jej utworów patriotycznych brzmi fałszywie, w dramatach widać niedostatki wiedzy, nieumiejętność wżycia się i wczucia w klimat dawności. [...] Chęć dorównania sławie najpopularniejszych pisarzy zawiodła, [...] jakkolwiek oba dramaty patriotyczne Zapolskiej odniosły swego czasu wcale duży sukces sceniczny”¹.

Napisała parę sztuk, które oparła na konflikcie Polaków z rosyjskim zaborcą: *Tamten* (1898), *Sybir* (1899), *Car jedzie* (1900). Dramat osnuty na tego typu kolizji miał w literaturze polskiej swoje genialne przykłady w postaci dzieł scenicznych romantyków, a w czasach Zapolskiej – w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Wymienione utwory dramatyczne, rzecz jasna, nie dorównywały arcyzmowi *Warszawianki* czy *Dziadów*, choć jeden z nich – *Tamten* – święcił na wielu scenach triumfy nie mniejsze od tych, jakimi cieszyły się wystawienia napisanego później *Wesela*. Pozostałe niezbyt przychylnie zostały przyjęte przez krytykę, a publiczność, zachwycona *Tamtym*, np. *Sybir* odebrała z pewnym dystansem i rozczarowaniem. Zbigniew Raszewski uważa: „Przeciwstawienie obu narodowości w warunkach tak niezwykłych, jak powstanie Polaków na Syberii, mogłoby dać wyniki niezwykle pod piórem wielkiego pisarza. Zapolska napisała melodramat ściśle tromtadracki. W ten sposób cofnęła się poza osiągnięcia *Tamtego*, w którym zdobyła się bądź co bądź na interesującą konstrukcję i kilka

¹ T. Weiss, *Gabriela Zapolska. Życie i twórczość*, Kraków 1968, s. 13–14.

przekonywających postaci. Faktura *Sybiru* to ogromne rumowisko motywów naznaczonych pośpiesznie skąd się dało².

Jeśli szwankowała u Zapolskiej spójność konstrukcji dramatów patriotycznych, raziła zbytnia rozwlekłość *Sybiru*, melodramatyczność finału i egzaltacja patriotyczna, to na pewno wielkim osiągnięciem pisarki było mistrzowskie ukazanie kontaktów międzyludzkich, nastrojów społecznych, postaw i mentalności Polaków i Rosjan. W obiektywnej ocenie Weissa „Zapolska była obdarzona wybitnym nerwem społecznym [...], wobec tego spośród żywotnych wtedy prądów i konwencji literackich najbliższe jej okazały się realizm i naturalizm. W tych bowiem konwencjach najpełniej mógł się wypowiedzieć talent Zapolskiej – znakomitej obserwatorce życia codziennego [...]. Dowodem wyrobionego zmysłu obserwacyjnego były także świetne portrety reprezentantów tak różnych środowisk, jak dziennikarskie i literackie, środowisko służących [...] rosyjskiej policji”³. Zatem w dramatach patriotycznych skoncentrowała się nie tyle na polityce, prawdzie historycznej i klimacie dawnych czasów, ile na naturze ludzkiej, na zakłamaniu moralnym i grze pozorów.

Zapolska – powieściopisarka, dziennikarka, dramaturg i aktorka – prowadziła aktywne życie, grywała w wielu teatrach i na wielu scenach wystawiała swoje dramaty. Chciała być popularna, niepokoiły ją nieprzychylnie oceny jej utworów. Miała wielkie ambicje i pragnęła zawsze zaspokajać gusta publiczności. Kiedy przenosiła się do Krakowa, wiedziała, że mieszkańcy Galicji chętnie oglądają sztuki patriotyczne i ciekawi są, jak przeciwstawiają się zaborcom warszawiaczy. Sztuka *Tamten* stała się jej pierwszą odpowiedzią na oczekiwania krakowian. Powstała nie bez inspiracji Tadeusza Pawlikowskiego, ówczesnego dyrektora teatru krakowskiego, w którym Zapolska występowała. Wyobrażał on sobie niezwykłą kolizję, wynikającą z zetknięcia rosyjskiej maszyny policyjnej z polską młodzieżą z tajnych organizacji⁴. A tę maszynę Zapolska dobrze знаła, gdyż dosyć często przebywała w towarzystwie rosyjskich żandarmów, którzy chcieli poznać nastroje Polaków, zaś autorka *Żabusi* z kolei zdobywała wiedzę o działaniach policji, przydatną niekiedy do ratowania z opresji młodych polskich działaczy podziemia.

² Z. Raszewski, *Zapolska – pisarka teatralna*, [w:] G. Zapolska, *Dramaty*, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961, t. 2, s. XLII.

³ T. Weiss, op. cit., s. 6–7, 9.

⁴ O okolicznościach powstawania patriotycznych dramatów Zapolskiej pisze dokładnie Z. Raszewski we wstępie do przywołanej wyżej książki – jedyne kompetentne źródło wiedzy o dramatach pisarki.

W dramacie *Tamten* w postaci pułkownika Korniłowa odtworzyła osobowość szefa żandarmów warszawskich Andrieja Margrafskiego. Swój prototyp miał również zajadły biurokrata generał Horn, porucznik Striełkow, jak też sporo innych osób. Tkana misternie intryga żandarmów przeciwko Kazimierzowi, niedawnemu więźniowi cytadeli, który dał słowo Korniłowowi, że już nigdy nie będzie działał przeciwko władzy carskiej, splata się z wątkiem osobistym bohatera, który nie może sobie poradzić ze swoją skomplikowaną sytuacją. Zdruzgotana jego kompromisowością narzeczona Anna w chwili aresztowania jej w finale sztuki wyraża pragnienie, by Kazimierz się zmienił i stał się „tamtym”, czyli tym sprzed cytadeli, bezkompromisowym działaczem na rzecz wolności Polski. Motorem napędowym dramatu są konfrontacje Polaków i Rosjan podkreślające dramatyczność sztuki i utrzymujące w napięciu widza już od samego początku akcji. Sama intryga bowiem dzieje się poza sceną. Pierwsze starcia zachodzą w początkowych scenach w restauracji niejakiej pani Matałkowskiej. Butnym, głośnym, wyzywającym i prowokującym zachowaniom żandarmów traktujących Polaków z góry, z pozycji zaborców, wszechpotężnym przedstawicielom caratu przeciwstawiane są przez pisarkę zdystansowane, niemal bezgłośne, ostrożne, nieufne i dyskretnie postawy młodych Polaków, którzy w takim miejscu są szczególnie obserwowani i podsłuchiwani.

Sztuka *Tamten* zyskała popularność ze względu właśnie na budujące akcję konflikty wynikające z przeciwstawienia bezdusznej, okrutnej i bezwzględnej maszyny policyjnego terroru szlachetności, uczciwości, szczerości i prostolinijności walczących o niezależność działaczy polskiego podziemia. Zbliża to omawianą sztukę do traktującej o tych samych problemach literatury romantycznej, która jednak nie wnikała w niuanse zachowań, bazując tylko na jednej motywacji – patriotycznej Polaków, a z drugiej strony – ślepym posłuszeństwem żandarmów wobec zwierzchników. Zapolska wszakże, jako świetna znawczyni relacji międzyludzkich i doskonała obserwatorka życia i postaw, skomplikowała charakter, a działania postaci ożywiła nieco i urozmaiciła, wprowadzając motywację z pobudek osobistych i subiektywnego podejścia do sprawy.

Zapolska w osobie Korniłowa stworzyła postać żandarma o cechach ludzkich – po raz pierwszy w dziejach literatury polskiej traktującej o rosyjskim zaborcy. Korniłow stara się być dżentelmenem, nie chce zwracać na siebie uwagi w miejscach publicznych – prosi Matałkowską, by nie tytułowała go pułkownikiem. Podczas przesłuchań aresztowanych Polaków, choć bardzo oficjalny, stara się nie przekraczać granic i zachowywać kulturalnie. Jest przekonany o niewinności Kazimierza i posyła na śmierć Striełkova, który knuł intrygi, chcąc pogrozić Polaka, bo uważał go za swojego rywala w miłości do kelnerki.

Korniłow szanuje słowo honoru dane przez Kazimierza i robi wszystko, aby odnaleźć winnego, gdyż przed władzami zaręczył za lojalność Polaka.

Niejednostronna jest także postawa Kazimierza, daleka od romantycznego ujęcia ideału powstańca. Przestrzega on obietnicy nadto dobrze, unika pytającego i pełnego wyrzutu spojrzenia Anny, czas woli spędzać z kelnerką Józią. Zdumionym kolegom wyjaśnia:

[...] ja odpoczywam przy tej głupiej, bezmyślnej restauracyjnej posługaczce, znużony bezmiarem inteligencji mojej narzeczonej. [...] Co chcesz? jestem człowiekiem z krwi i kości, a Anna jest... aniołem! Ona jest dla mnie za mądra...⁵

Kazimierz namawia przyjaciół do zaprzestania przeciwstawiania się carskiej władzy, powoli staje się – jak sam mówi – filistrem, człowiekiem pragnącym stabilizacji, spokoju. Stałe konfrontacje z żandarmami osłabiają go, wskutek czego porywy wolnościowe Anny nazywa egzaltacją i egoizmem. Kiedy napięcie między żandarmami a młodzieżą polską goszczącą w restauracji Matałkowskiej dochodzi do zenitu, radzi usilnie kolegom, żeby się nie narażali, bo „walka jest nierówna”. Mówi językiem zaborcy, Korniłowa, który też chce uniknąć ostrej konfrontacji i grzecznie prosi Polaków, aby opuścili salę. Reszta społeczeństwa polskiego prezentuje postawy raczej zachowawcze. Zwykle nikt nie chce się narażać, lecz postępować tak, by wilk był syty i owca cała, jak mówi Matałkowska, która sama przede wszystkim chce chronić swoje prywatne interesy, co zresztą nie przeszkadza jej podsuszać pijanym rosyjskim gościom nadpsute potrawy. Ogólnie rzecz ujmując, Zapolska zachowuje w relacjach polsko-rosyjskich odwieczną wrogość. Ale jako wnikliwa obserwatorka zachowań ludzkich podkreśla, że zarówno Polacy, jak Rosjanie są tylko ludźmi i w swoim życiu okazują słabości i przejawy nienawiści, jak również współczucie i życzliwość, co zdarza się najczęściej ludziom prostym. Choćby staremu żandarmowi Kultiapkinowi, który troskliwie opiekuje się dziećmi aresztowanej właścicielki mieszkania, gdzie zbierali się zawsze spiskowcy.

Jeszcze bardziej zróżnicowane są kolizje rosyjsko-polskie w sztuce *Sybir*, którą Zapolska osnuła na fakcie przygotowywania przez polskich zesłańców powstania przeciw rosyjskim ciemnizyicielom. Związany z tym wątek przeplata się z intrygą gubernatora Aksakowa i dyrektora więzienia Tarasowicza, którzy plany Polaków już dawno przejrzeni, lecz chcą dopuścić do wybuchu buntu, żeby złapać powstańców na gorącym uczynku i zasłużyć sobie w ten sposób na wyższe stanowiska. Intryga ta, zwana przez gubernatora, „systemem pielęgowania

⁵ G. Zapolska, *Dramaty...*, s. 15 (pozostałe cytaty z tego samego wydania).

buntu”, nie podoba się młodemu oficerowi Aniuczkinowi, który od razu chce unieszkodliwić przywódcę zamieszek, Zdanowskiego, aby móc potem zdobyć jego żonę, w której jest zakochany i nie potrafi maskować swej namiętności. Wrogie relacje między polskimi zesłańcami a ich rosyjskimi prześladowcami komplikują się z powodu niezgodności interesów tak w obozie Rosjan, jak i wśród zesłańców, gdyż nie wszyscy Polacy zgadzają się na udział w powstaniu ludu syberyjskiego, pragnącego oderwać swoje ziemie od imperium carskiego i stworzyć własne państwo. Podziały w społeczności polskiej nie doprowadzają jednak do eskalacji emocji i do poważnych antagonizmów, ponieważ wszystkich łączy jeden cel. Mimo różnic Polacy trzymają się razem, natomiast rozłamy wśród reprezentantów władzy carskiej powodują wzrost wzajemnej nienawiści i niweczą plany wszystkich. Rezultatem jest tragiczny finał, w którym autorka nie ustrzegła się melodramatyczności i przesadnej wzniosłości.

W *Sybirze* Zapolska konfrontacje rosyjsko-rosyjskie skomplikowała poprzez kolizje na liniach: przedstawiciele władzy przeciwko sobie, miejscowa ludność a reprezentanci władzy, prości żołnierze a ich przełożeni. Jeśli po stronie polskiej, mimo różnicy zdań, panuje jedność, wzajemny szacunek i wyrozumiałość, to po stronie rosyjskiej żandarmi z jednakową pogardą, z szantażem i nadużyciem władzy traktują zesłańców, lud syberyjski i swoich żołnierzy. Wśród tych ostatnich jest wielu uczciwych ludzi, chętnie spełniających prośby uwięzionych Polaków, jak np. unteroficer, który zwraca pięć kopiejek dane mu za usługę, gdyż nie udało mu się jej wykonać. Na uwagę zasługuje też Rosjanin nazwany przez pisarkę Brodiagą, który ratuje niejednokrotnie zesłańców z opresji i pomaga im zorganizować powstanie. Miejscowa ludność również współczuje Polakom i każdą nową partię więźniów politycznych częstuje specjalnie przygotowanym jedzeniem i dodaje otuchy dobrym słowem. Nawet poniżani prości żołnierze rosyjscy chcą przyłączyć się do powstania, lecz w finalnej scenie, przerażeni krzykiem Aniuczkiń, gubią się i w końcu kierują lufy karabinów w stronę Polaków. Zapolska, przedstawiając odwieczne antagonizmy rosyjsko-polskie, koncentruje się zatem bardziej na tzw. życiowym podejściu. Konflikty między obu narodami to nie tyle opozycja Polacy – Rosjanie, ile Polacy a zdeprawowani władzą jej przedstawiciele, oddani carowi, lecz działający w imię własnych interesów. Aksakow i Tarasowicz chcą wyższych stanowisk, zaś Aniuczkin, co jest nowością wprowadzoną dla zaostrenia kolizji, kierowany obsesyjną miłością pragnie zdobyć panią Zdanowską. Gubernator stara się wyperswadować Aniuczkinowi, że jego sposób polowania na przywódcę powstania nie jest najlepszy:

Ach, ty rebionok! [...] Z ciebie krasiwyj frontowyj oficer – no ty nie dyplomata. U ciebie krik, strielaj – razbij! razwie na tiem stoi rząd? Rząd eto... kot... koszka. Wyciągnie łapę i czeka... Idzie mysz, koszka idiot – czeka [...] mysz gula kontenta, myśli: koszka śpi [...] i wlezie prosto w rot. [...] Zdanowski naczynajet wiercić, jak Sybir podnieść przeciw Rosji... nie przerywać... gołubczik, niet, żdat'... sieci zarzuć i ślepie zamknąć. (s. 225)

Gubernator podstępem zdobywa potrzebne mu wiadomości o działaniach zesłańców, co w finale daje górę Rosjanom. Natomiast nieprzewidywalni, ufni, prostolinijni i działający w emocjach Polacy ponoszą klęskę, podobnie jak zaślepiony swoimi racjami i namiętnościami Aniuczkin, którego Tarasowicz przestrzegął:

Nu czto? czy ja winien? że wy przez miłość krugom durak? [...] Wy widzicie, że ja z moim umem więcej mogę jak wy z waszym tiempieramentem. [...] Wy przyszli po męża żony, w której wy wlublon – a ja po dowódcę buntu... Tak u mnie prawo, nie u ciebie. (s. 288, 298)

Środowisko rosyjskich decydentów jest podstępne, fałszywe, amoralne i małostkowe, co pisarka potrafiła świetnie wykazać. Negatywne portrety żandarmów dopełniają wizerunki ich rodzin, chodzi tu zwłaszcza o małżonkę gubernatora pałającą nienawiścią do Zofii Zdanowskiej, zatrudnionej u niej w charakterze guwernantki. Talent Zapolskiej dał tu o sobie znać najbardziej. W osobie gubernatorowej widzimy rosyjską prowincjonalną Dulsą. Sam gubernator bynajmniej Felicjanem nie jest. Z właściwą sobie podłością i przebiegłością wykorzystać chce dla swoich interesów słabość małżonki do Aniuczkina, o której wie już od dawna i czeka tylko na właściwy moment.

Konfrontacje i pojedynki słowne między Rosjanami, jak też między Polakami i Rosjanami są głównym wyznacznikiem dramaturgii sztuk Zapolskiej. To krótkie dramaty w dramacie, ze swoim zawiązaniem, punktem kulminacyjnym i finałem – niekiedy zakończonym śmiercią którejś z postaci. W zasadzie intryga właściwa odbywa się poza sceną. Na pierwszym planie są właśnie potyczki słowne, odkrywające prawdę o stosunkach polsko-rosyjskich, potęgujące napięcie widza i – jak każdy doskonale skonstruowany dialog – decydujące o kierunku rozwoju akcji oraz jej ostatecznym rozwiązaniu. Przykładem spektakularnym może być pełna emocji rozmowa Aksakowa ze Zdanowskim. Polak wyraża przekonanie o prawości swojego działania i o słuszności sprawy polskiej. Na jego słowa o cierpieniu narodu, o tysiącach polskich nazwisk, które „wytyczyły trupami drogi sybirskie”, o „wolnych ludach nie służących za żer dla jednego despoty” gubernator odpowiada:

eto romantizm... i wy by, Polaki, nie mogli oddychać, żebyście romantiku nie podpuszczali. [...] Deklamacja... u was, w Polsce, wszyscy deklamują. [...] tak zawsze z wami, Polakami. Rezon i rezon. (s. 251, 254–255)

Od słowa do słowa dochodzi do ostrej wymiany zdań, kiedy to przez Aksakowa zostaje użyty argument najgorszy z możliwych – nazwanie żony Zdanowskiego kochanką Aniućkina. W wyniku kulminacji kłótni Zdanowski niechcący zabija Kasakowa, kończąc w ten sposób pewien wątek i powodując jednocześnie nagły i decydujący o dalszych rozstrzygnięciach zwrot akcji. Charakterystyczny język omawianej sztuki Raszewski określił następująco: „Nie jest to ani rosyjski, ani polski, tylko własny, polsko-rosyjski żargon autorki”⁶. Zastosowała go chyba jednak w dramacie w jakimś celu. Czy przypadkiem nie chciała w ten sposób zasugerować, iż Rosjanom zależy na zdobyciu zaufania Polaków, choćby tylko poprzez wprowadzanie wyrazów z języka polskiego do własnej mowy? Zaufanie to niekoniecznie musiało służyć dobrem celom, mogło być raczej częścią podstępного planu. Mieszanina języków to też wynik ponad stuletnich wzajemnych kontaktów pod zaborem. Zapolska nawet w tekście odautorskim i spisie osób posługuje się elementami języka rosyjskiego: „mużyk”, „sōłdat”, „turma”, „domek etapnego oficera”.

Autorka *Moralności pani Dulskiej* była – jak się wydaje – cichą zwolenniczką pokojowego porozumienia obu zwaśnionych od wieków narodów, czemu dała wyraz nie tylko w rozmowach zesłańców z miejscową ludnością w *Sybirze*, ale i w dramacie *Car jedzie*, gdzie przedstawiła zachowanie warszawiaków 31 sierpnia 1897 r., tj. w dniu rozpoczynającym wizytę Mikołaja II. Sztuka ta była własną wersją podejścia pisarki do tych wydarzeń i reakcją na głośną w tym czasie powieść Wacława Gąsiorowskiego *Ugodowcy* (1901). Nie pokazała ugodowości Polaków (pewnego ich odłamu, jak to uczynił Gąsiorowski), lecz w finale ustami Dziadka, dawnego zesłańca za uczestnictwo w powstaniu styczniowym, powiedziała:

Nie w mordzie, nie we krwi dziś nam majaczy świt. Serdecznej pracy znój, umysłów wielkich trud – a zwyciężymy ciemnie – i wejdzie jasny dzień [...]. Wśród spójni czystych serc ofiarnej tęczy dusz, powoli dźwigniem gmach. (s. 352)

Ale to Dziadek wraz z młodym pokoleniem sprzeciwiał się najbardziej oświeceniu balkonu i wystawieniu flagi na cześć carskiej pary. Jego rozmowy z przedstawicielami władzy podsycaly napięcie i ujawniały nienawiść wobec zaborców. Niemniej to w ich rezultacie dochodzi wreszcie do porozumienia, którego wynikiem są powyższe słowa. Poprzez zrytmizowany ton wypowiedzi

⁶ Z. Raszewski, *Zapolska – pisarka teatralna...*, s. XLII.

bohaterów chciała Zapolska zapewne nawiązać do tonacji *Wesela* Wyspiańskiego, ale – jak stwierdza Raszewski – stworzyła „raczej jego mimowolną karykaturę – w wierszu, w tragicznej pozie, w nastrojowości”. Przyznaje jednak dalej, że temat dramatu był „precyzyjnie osadzony w rzeczywistości”⁷. Weiss sprawiedliwie podkreśla, że wszystkie utwory patriotyczne pisarki „są w zasadzie nienagannie zbudowane, świadczą o jej znanym talencie dramatopisarskim”⁸. Dodajmy, że świetnie ukazywały one stosunki rosyjsko-polskie oraz posługiwały się mistrzowsko skonstruowanymi pojedynkami słownymi, co w głównej mierze decydowało o wartości patriotycznej dramaturgii Zapolskiej – mistrzyni w szlifowaniu całości konstrukcyjnej poszczególnych scen.

Резюме

Русско-польские сопоставления в драмах Gabrieli Запольской

В статье рассматриваются три драмы о русско-польских отношениях во время чужеземного господства. Запольска нарушила в них стереотипное понимание взаимных контактов поляков и русских. Враждебное отношение проявляется прежде всего у представителей царской власти. Поляки отвечают взаимностью. Однако обыкновенные люди ищут согласия и взаимопонимания. Внимания заслуживает созданный писательницей персонаж русского жандарма, характеризующегося гуманными чертами, приличным поведением по отношению к польским революционерам. Русско-польские конфликты, отображаемые в мастерски созданных диалогах определяют драматургию пьес Запольской, влияют значительно на динамику действия и сами в себе становятся отдельными драмами в большой драме взаимных русско-польских отношений.

Summary

Russian-Polish confrontations in the dramas of Gabriela Zapolska

In the article were subjected analysis and interpretation three dramas of the writer, treating about Russian-Polish relationships under the annexation. Zapolska broke in them stereotypes in portraying mutual relations Poles and Russians. Hostile reposition marked mostly the representatives of the tsarist power. It was returned by Poles. However usual people looked for agreements. The contribution of Zapolska was also creation of the Russian gendarme figure about human features, which in the face of Poles tried not to be cruel and unfair. Russian-Polish confrontations reflecting in dialogues of the representatives of both nations are the determinant of the dramaturgy of Zapolska arts, steer the run of the action, proclaim in itself dramas in the drama, because the main intrigue is holds beyond the scene.

Key words: Russian-Polish confrontations, gendarme, human features, Zapolska, mutual relations.

⁷ Ibidem, s. XLIX.

⁸ T. Weiss, op. cit., s. 17.

Wioleta Nikitiuk-Perkowska
Uniwersytet w Białymstoku

Паэзія Наталлі Арсенневай ваеннага часу

Другая сусветная вайна стала для беларускага народа адной з найвялікшых нацыянальных трагедый: падчас яе загінуў кожны чацвёрты, а ў Віцебскай вобласці кожны трэці жыхар Беларусі. І невыпадкова, што звыш паўстагоддзя адным з тэматычных прыярытэтаў беларускай літаратуры было асэнсаванне трагічнага ваеннага часу ў розных яго праяўленнях.

Зразумела, што тэма вайны аказалася ў цэнтры ўвагі беларускіх пісьменнікаў ужо з першых дзён ваеннай нядолі. Спачатку яна рэалізавалася шмат у чым як працяг так званай абароннай літаратуры, па-свойму псеўдапатрыятычнай, аптымістычнай, якая была вынікам афіцыйнай палітычнай устаноўкі на перамогу сусветнай рэвалюцыі і рэпрэсійных працэсаў падчас культу асобы Сталіна, што распахаўся на мяжы 20–30-х гг. Аднак вельмі хутка пад уплывам жорсткай рэчаіснасці адносіны да ваенных падзей памяняліся. На змену чыста аратарскім, публіцыстычным вершам прыходзіць цвярозае асэнсаванне трагедыі, праз лозунгавыя інтанацыі прабіваюцца, гучаць індывідуальныя галасы. Нараджаюцца глыбока патрыятычныя радкі, прасякнутыя вялікай любоўю да Радзімы, болей, трывогаю за яе лёс. „Яна мела патрэбу ў абароне і сама была жыццядайнай крыніцаю кожнаму, хто да яе прыпадаў. Да таго ж пачуццё Радзімы прыкметна лакалізавалася – не бясконцую «шостую частку» свету славілі паэты, а часцей, наадварот, свой родны кут”¹, – адзначае Галіна Тварановіч.

Такім чынам, беларускае прыгожае пісьменства ваеннага перыяду напоўнена шматлікімі вобразами Беларусі. Па моцы патрыятычнага пачуцця літаратура таго часу не мае сабе роўных, бо ніколі раней у паэзіі не наглядалася столькі непасрэдных зваротаў да Беларусі, столькі замілаваных вобразных выказванняў пра родны край. Дастаткова згадаць, напрыклад, толькі назвы твораў: *Беларусі* Максіма Танка, Пімена Панчанкі, Пятра

¹ Г. Тварановіч, *Беларуская паэзія ваеннага часу (1941–1945): новае прачытанне*, „Slavia Orientalis” 2000, т. XLIX, № 4, с. 553.

Глебкі, *Беларусь* Пятруса Броўкі, Максіма Танка, Кастуся Кірэенкі, Анатоля Астрэйкі. Вельмі часта літаратары звярталіся да нацыянальнай гісторыі, уваскрашалі ў памяці народныя імёны барацьбітоў за незалежнасць і свабоду (Скарына, Каліноўскі, Вашчыла, перамогі на Чудскім возеры, пад Грунвальдам і г.д.). Паэты ўсведамлялі, што патрэбу ў абароне мае не толькі беларуская зямля, але і беларуская мова (М. Танк, *Родная мова*).

Паэзія ваеннага часу выдатнай беларускай эміграцыйнай паэтэсы Наталлі Арсенневай, як і Масея Сяднёва, Алеся Салаўя, Рыгора Случаніна і іншых эміграцыйных беларускіх паэтаў, таксама ў значнай ступені гучала ва ўнісон з усёй тагачаснай беларускай літаратурай, на што звернута асаблівая ўвага ў апошнія дзесяцігоддзі. „Навідавоку [у творчасці паэтаў-эмігрантаў – В. Н.-П.] актуалізацыя каштоўнасцей мінулага, творчасць у рэчышчы нацыянальнай традыцыі, што супадала з агульнымі тэндэнцыямі развіцця беларускай літаратуры ваеннага часу. Падзел праходзіў хутчэй па лёсах, а не па творах. Праўда, як альтэрнатыва вершам-клятвам у вернасці партыі, правадырам, узнікалі творы біблейнай тэматыкі, звароты да Усявышняга”².

Ваенны перыяд жыцця і творчасці Наталлі Арсенневай лічыцца найменш даследаваным у яе біяграфіі. Другая сусветная вайна застала беларускую паэтэсу ў Польшчы, куды яна пераехала ў 1922 г., выйшаўшы замуж за беларускага патрыёта – капітана польскага войска Францішка Кушала. Тут паэтэса пражыла больш за 15 гадоў. За той час пабачыў свет першы зборнік Арсенневай *Пад сінім небам* (1927) і быў падрыхтаваны да друку на працягу 1928–1936 гг. другі – *Жоўтая восень*, які з-за вайны, на жаль, не пабачыў свету. Ян Чыквін адзначае: „Творчай пазіцыяй Наталлі Арсенневай таго часу стаецца адстароненае назіранне і эстэтызацыя жыццёвых з’яў і фактаў. Яе паэзія ў гэты «польскі» (1922–1939) перыяд тэматычна звужаецца да сферы прыватнасці, камернага лірычнага «я», якое аднак штурхала экстрапаліравала сябе ў план прыроды ды ў перспектыву вечнасці”. Тым самым „паэтэса значна пашырыла і паглыбіла псіхалагічны партрэт сваёй лірычнай гераіні”, якая напоўнена любоўю і захоплена дасканаласцю прыроды³. Замілаванне Арсенневай краявідам, такое відавочнае ў гэтых двух зборніках, і дало падставы назваць яе „пясняркай прыроды” і „паэтэсай восені”. У яе вершах даваеннай пары вельмі часта ўзнаўляюцца родныя восенскія краявіды. Складаецца ўражанне, што

² Ibidem, с. 564.

³ Я. Чыквін, *Між Вільняй і Рочэстэрам. Творчасць Наталлі Арсенневай*, [у:] idem, *Далёкія і блізкія. Беларускія пісьменнікі замежжя*, Беласток 1997, с. 43.

ў гэтай сваёй мастацка-эстытычнай рэчаіснасці, нібыта ў цудоўным ласкавым казачным свеце, яна адчувае сябе сапраўды спакойнай і шчаслівай. Бясспрэчна таксама, што зборнікі вершаў *Пад сінім небам* і *Жоўтая восень* сведчаць аб тым, што паэзія Н. Арсенневай – гэта паэзія душы, сэрца, мараў, фантазіі, настрою, летуценняў, інтуіцыі, уяўлення, эмоцыі, ды уражанняў⁴. Аднак ваенная пара ўладна ўнясе свае значныя карэктывы ў тэматычны дыяпазон творчасці паэтэсы.

Inter arma tacent musae – сведчыць антычная грэчаская мудрасць. Ды муза Арсенневай не маўчала, калі гаварылі гарматы. Сапраўды, час вайны, здавалася б, неспрыяльны для ўзнікнення новых твораў, а вось для Н. Арсенневай ваенная пара аказалася ці не самай багатай у творчым вымярэнні. Бо вайна, як адзначыла яна сама, напоўнена шматлікімі перажываннямі, а „Перажываньні для паэта – гэта той-жа хлеб. У галодныя гады ён дае зь сябе менш, у гады, багатыя на ўражанняў, ён творыць больш”⁵. Выдатным пацвярджэннем гэтых слоў з’яўляецца зборнік лірычных вершаў Н. Арсенневай *Сягоньня*, выдадзены ў Мінску ў 1944 г.

Гэтая паэтычная кніга, па словах Любы Тарасюк: „Наскрозь прасякнута драматызмам, трывогай за лёс чалавека і народа. Яна непазбаўлена і гераічных, змагарных матываў [...], і сузірання неўміручай красы прыроды [...], але часцей яе пачуццёвы тон уздымаецца да высокага трагічнага запалу, скрушанай горычы, горкага шкадавання, малітвы за чалавечасць”⁶. Сярод дзевяноста вершаў знаходзім і славутую *Малітву* або *Магутны Божа* – твор, напісаны ў 1942 г. ў Мінску на замову архіепіскапа Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Філарэта, а пяццю гадамі пазней пакладзены Міколам Равенскім на музыку. Гэта верш, у якім асабліва выразна праявіліся глыбокія хрысціянскія і патрыятычныя пачуцці Арсенневай, яе вера ў Боскую магутнасць, але і адначасова свядамосць, што беларускі народ і яго зямля без Божай дапамогі зусім бяссільныя самі па сабе, каб стаць шчаслівымі і свабоднымі. Сёння гэты верш з’яўляецца сапраўдным нацыянальным гімнам для многіх беларусаў, і словы: *Магутны Божа! Уладар сусветаў,/ вялізных сонцаў і сэрц малых,/ над Беларусыяй ціхай і ветлай/ рассып праменьне Свае хвалы...* гучаць як у метраполіі, так і за яе межамі.

⁴ М. Мікуліч, „Мая песня – натхненне, жыцця майго чар...”. Паэзія Наталлі Арсенневай заходнебеларускага перыяду, „Тэрмапілы” 2008, № 12, с. 342.

⁵ Н. Арсеннева, *Аўтабіяграфічны нарыс*, [у:] Л. Юрэвіч, *Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі*, Нью-Ёрк 1999, с. 158.

⁶ Л. Тарасюк, *Праз акіян забыцця. Паэзія Наталлі Арсенневай*, [у:] Idem, *Аналогія красы. Кніга пра беларускую паэзію*, Мінск 2003, с. 9.

Адначасова з творчым уздымам разам з другой суветнай вайной для Н. Арсенневай распачаўся цяжкі, нават трагічны час, які паклаў канец яе спакойнаму, нават аднастайнаму жыццю⁷. Муж паэтэсы пайшоў на вайну, а Арсеннева разам з сынамі пераехала да брата ў Вілейку, дзе ўладкавалася на працу стыліста ў „Сялянскую газету”. Ды 13 красавіка 1940 г. паэтэса разам з сынамі была арыштавана органамі НКВД і без афіцыйнага абвінавачвання саслана ў сталінскі ГУЛАГ у Казахстане. На Радзіму мужа, у Доры на Валожыншчыне, яна вярнулася ў лютым 1941 г. 3 мая таго ж года па 1944 г. Арсеннева сям’ёй жыла ў Мінску, дзе кіравала аддзяленнем літаратуры Беларускага культурнага згуртавання. У 1944 г. яна была вымушана пакінуць Мінск і разам з мужам і сынам падацца яшчэ далей, чым у маладыя гады, на захад, на гэты раз у Нямеччыну – найперш у Берлін, затым у Форст, Амбэрг, Рэгенсбург, Міхэльсдорф.

Нібыта хаваючыся ад суровых, жорсткіх рэалій ваеннага часу, імкнучыся хоць на нейкія імгненні адгарадзіцца ад навакольнага кашмару, Н. Арсеннева асалоды жыцця шукае ў музыцы – займаецца перастварэннем на родную мову выдатных, геніяльных твораў. Перакладае лібрэта да оперы *Кармэн* Джорджа Бізэ і *Яўгеній Анегін* Пятра Чайкоўскага, піша лібрэта да новай оперы, за сюжэт якой узяла свой верш *Лясное возера* з цыклу *Зачараваны кут* са зборніка *Пад сінім небам*. Пасля прэм’еры *Ляснога возера* зрабіла пераклад казачнай драмы *Затонуты звон* Герхарда Гаўптмана. Потым распачала працу над перакладамі аперэты *Цыганскі барон* Ёгана Штраўса, п’есы *Разьбіты кубак* Генрых фон Кляйста ды опер *Зачараваная жалейка* Вольфганга Амадэя Моцарта і *Вольны стралец* Карла Марыі фон Вэбера. Па просьбе кампазітара Міколы Шчаглова паэтэса напісала арыю для кнігі Праксэды для 3-а акта оперы *Усяслаў Чарадзеі*. Аднак, зразумела, немагчыма было падчас вайны засланіцца мастацтвам, нават самым высокім.

Ва ўсе часы, асабліва ў цяжкія для Радзімы, сапраўдных мастакоў слова хвалявалі месца і роля вершаваных радкоў у рэчаіснасці. Цалкам невыпадкова, што на самым пачатку ваеннай нядолі Н. Арсеннева найперш, як ніколі раней, „з трывогай услухоўваецца ў сваё мастакоўскае «я», спрабуючы, неяк прымірыць, улагодзіць непрымірымае: абражанае гуманістычнае пачуццё і абавязак мастака тварыць”⁸. Паэтэса задаецца

⁷ Н. Арсеннева, *У казахстанцай ссылцы*, [у:] *3 гістолыя на „вы”*. Артыкулы. Дакументы. Успаміны, кн. 3, Мінск 1994, [online] <http://zbsb.org/lib/index.php?option=com_aliblib&view=article&id=330>.

⁸ Л. Тарасюк, *op. cit.*, с. 9.

пытаннямі, як жыць і пра што пісаць сярод дзікіх пажарышч, шэрага дыму руін, гарматных грымотаў, калі кроў і смерць з'яўляюцца штодзёншчынай. Чым апраўдваецца ў такі час існаванне паэта і яго вершаў? Арсеннева нібы з надзеяй, што атрымае адказ на сваё балючае пытанне, спрабуе разважаць пра месца мастака і яго твораў у жудасныя для чалавецтва часы, калі крушацца ўсе каштоўнасці, даўгавечныя ідэалы, калі найвышэйшай мэтай, здаецца, з'яўляецца не складаць вершаваныя радкі, а „выжыць-ператрываць”:

Хто ён, паэт?
Біблейны мытар,
прарок натхнёны, сьвету лекар
ці чалавек з душой, ускрытай
лязом хістаньняў, скрозь нясыты
жыцця і сьмерці,
славы, зьдзеку?
Мячом ягоным
шэпт ці крыкі?
Пра што і як пісаць ён мае?⁹

Як не пагадзіцца з Я. Чыквіным, што „Наталлю Арсенневу, як творцу, вельмі хвалюе пытанне пра сваё месца ў свеце, які «за горла душыць вайна», і пра сваю адказнасць перад гэтым светам – не толькі за сябе, але і за ўвесь народ, нацыю, за ўсю Айчыну”¹⁰, таму і зразумела, што яна прад’яўляе самыя вялікія патрабаванні да сябе як ад паэта, які лічыцца цэнтрам сусвету, які заўсёды павінен быць мужным і моцным духам, у прыватнасці „сягоння”, у час вялікіх выпрабаванняў, у зусім нечалавечую ваенную пару. Ён, з узнятай галавою, мусіць смела ісці наперад, пераадольваючы нягоды і няўдачы, а неаднойчы і асабістае гора, якое і мусіла перажыць сама паэтэса – смерць старэйшага сына. І тое ж у сваіх радках, на працягу ўсяго жудаснага ваеннага перыяду, робіць Н. Арсеннева, бо яна разумее змагарную ролю паэта, нават у самых цяжкіх і неспрыяльных для пісання абставінах:

Трэба быць песняром і цяпер,
калі дзень наш –
ізь сьмерцый братаньне,

⁹ Н. Арсеннева, *Між берагамі. Выбар паэзіі Наталлі Арсенневай 1920–1970*, New York – Toronto 1979, с. 99. Далей пры спасылцы на гэта выданне старонка падаецца ў дужках.

¹⁰ Я. Чыквін, *op. cit.*, с. 47.

калі ночы, як ранены зьвер,
дзесь па норах залізваюць раны (81).

У выніку роздумаў Наталлі Арсенневай над існаваннем і прызначэннем паэта ды паэзіі ў страшэнных ваенных рэаліях паўстаў выдатны цыкл вершаў, у які ўвайшлі паэтычныя творы *Сягоньня* (1941), *Пясьняр* (1941), *Зоры сітца* (1942), *Хто ён, паэт?* (1942), *Вось толькі выпішуся трохі* (1942), *Вы хочаце* (1942), *Салаўі* (1942), *Слоў ня трэба шукаць* (1942), *Музыка* (1942-43), *Хараство* (1943), *3 камарынай песьняй* (1943), *Нашым паэтам* (1943), *Усёроўна* (1943).

У вершах Н. Арсенневай ваеннай пары не знойдзеш ранейшага апявання прыгажосці зямлі, сіняга неба, зорных ночаў, залатой восені. У яе тагачасных творах адбываецца „своеасаблівае ўзбройванне супраць вайны”¹¹. Таму і невыпадкова, што на яе паэтычнай карціне паўстаюць цяпер ноч, змрок, чорная сажа, грымоты, кроў, смерць, крыжы, жалоба, руіны, розпач, голад, боль, калецтва... Паэтэса карыстаецца такімі словамі-вобразамі як смутак, жах, гора, трывога, журба, туга, адзінота, разлука, чаканне... На гэты час перад яе вачыма і ў вершах ствараецца цалкам іншы, чым у даваенным зборніку *Пад сінім небам*, вобраз – катастрофічная вайна і ўсё тое, што прынесла яна чалавецтву:

Ўж тут рынулі чорнаю хмараю,
разьліліся чырвонаю плямай
дні інакшыя:
з жудзяй, з пажарамі,
з горкай мглою дымоў над палямі...
Смерць...
Руіны...
Крыжы і пажарышчы...
Розпач, голад,
калецтва, жалобы...
Аб прыгожасці тут не размарыся! (118)

Дымы...
Пажары...
Посьвіст куляў, –
дай Бог, мінулася усё (18).

¹¹ Ibidem, с. 48.

Н. Арсенневай „лѣс даў можа болей як каму” (*Мой скарб*) – яна паэтэса, і ў сваіх творах яна не толькі можа апісваць рэаліі вайны, але і найперш падтрымліваць надзею на выратаванне, веру ў перамогу над ворагам і ўмацоўваць у змаганні за лепшае заўтра, за шчаслівую, бестурботную сонечную будучыню беларускага народа, ды ўрэшце за адраджэнне роднай Беларусі:

а ў сэрцах сумлевамi звоняць
надзея
і восень – удзвѣх.
Надзея на заўтра
бяз плачу,
на хлеб залаты на сталe,
на тое, што будуць iначай
вясѣласьцяй сэрцы пылець,
што доля манiсты iзь сьмеху
парве,
і пакоцiцца ён
па краі сарэбраным рэхам
пад песьняў дажынкавых тон (113).

Паэзія Н. Арсенневай таго часу перапоўнена і шматлікімі, зусім натуральнымі для такіх выпрабаванняў, экзістэнцыяльнымі пытаннямі. Чым ёсць чалавек перад няўмольнай сілай абставін? Што ад яго залежыць у сітуацыі, якая мацнейшая за яго фізічныя магчымасці? Ці чалавек неяк саграшыў, а таму і заслугоўвае пакарання? Роздумы пра сэнс жыцця ў творах Н. Арсенневай выступаюць шматразова ў вершах *Жыві* (1942), *Пакуль жыцця* (1942), *А ўсё-ж будзем жыць* (1942), *Жыцьцё* (1944), *Проста ў вочы жыццё* (1943), *Варта жыць* (1943), *Перажытае* (1943). Але лірычная гераіня Арсенневай не займае пасіўнага становішча, наадварот – актыўна заклікае да змагання з рэчаіснасцю, якая прыніжае чалавека, бо, як даказвае паэтэса, у кожным чалавеку дрэмле вялікая сіла, што можа дапамагчы яму з гонарам прайсці праз іспыты вайны, знайсці выйсце з сітуацыі, якая здаецца зусім безнадзейнай і безвыходнай:

Сяньня мы самі жыцьцём паланеем,
сяньня мы самі – надзея і сіла.
Сьмела ж наперад,
ня ў вырай прывольны,
як бы ні вабіў ён мёдам і хлебам,

але па нашу ўпартую долю,
 птушку,
 што ўсё йшчэ
 лунае ў паднеб'і! (150)

Лёс не заўсёды ласкавы, ды і дарога жыцця бывае крутою, таму чалавеку неаднойчы прыходзіцца пераадоўваць розныя цяжкасці, змірацца з турботамі, нават жахамі. Але, як і кажа Н. Арсеннева ў адным са сваіх вершаў, няма чаго праклінаць лёсу, але трэба з ім пагадзіцца, а нават можа і дзякаваць за тое, што прыйшлося жыць у такія важныя для чалавецтва часы, бо якраз „ты” можаш змяніць свет, нанова яго збудаваць, з усімі яго новымі каштоўнасцямі, ідэаламі:

Так,
 шчаслівы, хто йдзе праз жыццё
 ў дні вялікіх, як сьвет, пераменаў,
 раскідае старое шмаццё,
 разьбівае зацесныя сыцены,
 не схіляе нідзе галавы,
 на глухіх раздарожжах ня стыне,
 не баіцца
 у мора крыві
 перажытыя праўды укiнуць! (114)

Аднак, зразумела, „вайну паэтэса ўспрымала як усёагульнае нялюдскае няшчасце, выразна па-жаночаму, з увогуле нетрадыцыйным для беларускай літаратуры арыстакратызмам, – заўважае Я. Чыквін. – У яе адносінах да поля вайны, змагання чуюцца Яраслаўлін пачатак. Як і ў *Слове пра паход Ігаравы*, лірычная гераіня Наталлі Арсенневай таксама чакае, у сваёй крэпасці, у сваім «не занятым» ворагамі доме, калі ж вернуцца жаўнеры-воі. Складае пра іх песні. Узбройвае маршамі. Плача ды моліцца за іхняе вяртанне жывымі. І верыць у тую недалёкую светлую будучыню”¹².

Гэтая ж вера ў жыццё, перамогу, вяртанне любых з вайны гучыць найвыразней у сэрцах самых далікатных істот – маладых жанчын, галоўных гераінь вершаў *Спарышы* (1941) і *Не заплачу болей* (1941). Ім таксама прыйшлося пераадоўваць ваенную рэчаіснасць – жыць у самоце, няведаючы нічога пра лёс свайго люблага. Успаміны мучаюць душу, але адначасова і ратуюць – бо ў іх яны зноў разам, зусім шчаслівыя. Але ўсё

¹² Ibidem, с. 49.

ж такі трэба глядзець на будучыню, на тую пару, якая мелася быць больш радаснай, больш чалавечнай, чым ваенны час, і тое робіць лірычная гераіня Арсенневай – марыць аб канцы вайны і яе асабістага няшчасця, верыць, што яе каханы ўсё ж жывы і неўзабаве вернецца дахаты, да жонкі, дзіцяці:

Эх, Васілёк,
мой хлапчына,
З кім ты начуеш і дзе?
У пыле сыпкім каляінаў,
Ў цвілым багавінні ў вадзе?
Выпіў ты ўжо
ці не выпіў
чарку да дна? (90)

Праўда, цемнавокі мой Габрусь далёка,
[...]
але прычакаю зноў хлапца увесну,
як нальлюцца лозы залацістым сокам,
сэрцу стане цесна.
Ён увойдзе ў хату, вымытую бела
сонцам і вясною, чубам замяцеліць,
крыкне: „Гэй, дзяўчына, годзе стыньма стынуць,
глянь, ужо ж благое за высокім тынам,
ужо кроў ня пляміць ні душы, ні цела,
можна адпачынуць!” (89)

Сярод жаночых вобразаў у вершах Н. Арсенневай выступае не толькі жонка, але і маці, лёс якой таксама не быў ласкавым. Яна церпіць можа і больш, чым жанчына ў разлуцы са сваім каханым, бо яна страціла сваё дзіцё, якое нарадзіла і выхавала і для якога бачыла іншы лёс, чым ваеннае змаганне за Айчыну, якое неаднойчы можа каштаваць нават самага дарагога. І яна плача, але ведае, што трэба жыць надзеяй. Маці, успамінаючы першыя крокі свайго адзінага сыночка, як і тая жонка, верыць, што яе дзіцё, якое забрала ў яе вайна, не паддасца ёй і ачалее, вызваліцца і вернецца жывым ў родны матчын дом:

– Годзе ж плакаць, ну, дось – сягоньня
ці мо заўтра, а прыйдзе сын.
Ён, напэўна, даўно ў палоне...
Годзе ж плакаць,
чакай вясны!
Гэтак кажуць табе суседзі,
гэтак ты запаўняеш дні... (91)

Глыбокія перажыванні ўласцівы арсеннеўскай маці – уласцівы і самой паэтэсе, бо і яна зведала самае найвялікшае мацярынскае гора – 22 чэрвеня 1943 г. ад міны, прызначанай немцам, у Мінскім гарадскім тэатры загінуў яе старэйшы сын – дваццацігадовы Яраслаў. Дзень, у які прыйшлося ёй развітацца назаўсёды з сынам, Арсеннева лічыла самым найгоршым і найцяжкім у сваім жыцці.

Наш Ярак, якога я так любіла, быў разарваны мінаю, падложанаю ў тэатры. Разам зь ім загінула шмат, шмат іншых. Немагчыма было, здаецца, перажыць гэтыя дні, а трэба было. І я сапраўды ня ведаю, каму я павінна дзякаваць за тую сілу, той дзіўны гарт, які даў мне ператрываць гэты час спакойна, – лёсу, Богу? Пахаваньне ахвяраў бальшавіцкага тэрору было ўрачыстае, ды я мала што памятаю. Памятаю толькі, што трунаў было 14. Памятаю, што сьвяціла сонца і што я плакала і плакалі ўсе вакол...¹³

– занатавала пазней у сваім аўтабіяграфічным нарысе паэтэса. Пагадзіцца маці са смерцю сына – немагчымая задача, можна аднак крыху залячыць рану ў сэрцы, суцішыць унутраны мацярынскі боль. І для Арсенневай такім лекам, ды спецыфічнай псіхатэрапіяй з’яўляецца хіба ж і верш *Успаміны* (1943), прысвечаны адышоўшаму ў вечнасць яе дарагому Яраславу:

Кажаш,
быў хлопец адзінай удачай,
хіба, тваёй у жыцці... ну й загінуў...
Дзедка, паслухай –
хто ж сяньня ня плача
ці па бацькох, ці па сыне?
[...]
Дзедка,
так будзе штогод...
І астыне,
хочаш ці не, – найдзічэйшая роспач,
і адцвітуць пакрысе успаміны,
як пустацвет, неўсыярэжна і проста... (105)

І калі „ўсюды цемра, усюды пажары ад бомбаў, пад нагамі ямы, нейкая злавесная цішыня...”, Арсеннева не паддаецца, бо як адзначыла ў аўтабіяграфічай нататцы: „такая ўжо ў мяне нейкая недарэчная натура: калі няма

¹³ Н. Арсеннева, *Аўтабіяграфічны нарыс...*, с. 175.

чаго, – я й баюся, і хістаюся, і капрыжу, але як здарыцца бяда, – усё як рукой адымае: і страх, і хістаньне, і сьлёзы, раблюся адважнай і дужай”¹⁴. І гэта адлюстроўваецца ў яе лірычных радках. У адрозненне ад значнай часткі людзей таго часу паэтэса, як адзначыў Мікола Мішчанчук, не маўчала, а смела і мужна дапамагала свайму беларускаму народу – адчуць сябе народам у тым жа злавесным крывавым месіве-бойні, устаць з каленяў, узняць галаву, паглядзець наперад – у светлую будучыню сваей нацыі, захавацца і выстаць у барацьбе за выжыванне¹⁵. Арсеннева мае ў сябе агромную сілу жыцця, якую хоча перадаць і сваім суайчыннікам, дык голасна заклікае:

А ўсё ж будзем жыць!
І ня так, „бабы з возу”,
інакш –
каб у сэрцах пылеліся лозы,
і кроў бурбалела бярозавым сокам,
і можна было б і на долю зацмокаць!
Жыць так, каб далосся нам выпіць із смагай
і поўнаю чарай жыццёвую брагу,
а выпіўшы –
чаркаю вобземлю кінучь,
каб рэха на сьвеце зьвінела з гадзіну
на зайздрасць і злосьць усялякім суседзям,
што й сьняння йшчэ –
нас тут ня ўмеюць угледзець! (111)

Гэты заклік выступае ў многіх тагачасных вершах паэтэсы. Хочацца тут пералічыць, прынамсі, некалькі: *А ўсё-ж будзем жыць* (1942), *Жыве Беларусь* (1942), *Хай грывіць* (1942), *У дажынкi* (1942). Але любоў да Радзімы выяўлялася ў Н. Арсенневай не толькі праз заклікі да барацьбы з ворагам, але, так як і ў многіх тагачасных пісьменнікаў, як напрыклад М. Танка ці П. Панчанкі, у напаміне, што самым каштоўным нацыянальным скарбам кожнага народа, беларускага таксама, з’яўляецца мова, бо „каб не мова, даўно б мы растаялі, расплыліся б імглой між чужых, збеглі ў вырай гусінаю стаяю... Але з мовай – і мы будзем жыць. Будзем жыць!”. Менавіта гэта і падкрэслівае Арсеннева ў сваіх паэтычных шэдэўрах:

¹⁴ Ibidem, с. 159.

¹⁵ М. Мішчанчук, *Між берагамі. Лёс і творчасць Наталлі Арсенневай*, [у:] *Культура і адукацыя беларускага замежжя*, Мінск 1993, [online] <<http://zbsb.org/node/7704>>.

Наша ж мова –
 цудоўная, сьпеўная,
 ўмее сьпелым калосьсем шумець,
 галасіць навальніцай улеўнаю,
 верасьнёваю медзяй зьвінець.
 Мова наша – выкутая з золата –
 не йржавее,
 блішчыць,
 зігаціць.
 Гэта мова паэтаў і волатаў,
 скарб, які нас трымаў пры жыцці (111).

Паплыло,
 зацьвіло,
 наліваецца,
 сьпее
 столькі слоў беларускіх –
 жывых каласоў!
 І зь іх кажнае – наша,
 ў кожным гарт і надзея,
 і драбочак душы – наша, нашае ўсё!
 [...]
 У палёх, узараных нарогамі танкаў,
 беларускага слова падбіраем жніво (112).

Звароты-заклікі Н. Арсенневай да суайчыннікаў, каб змагаліся з ворагам, верылі ў перамогу, вызваленне з нядолі ды помнілі аб каштоўнасці беларускай мовы, раскрываюць цалкам яе патрыятычныя пачуцці, якія найпаўней хіба выяўляюцца ў вершах *Песьня Каліноўцаў* (1941), *Жыве Беларусь* (1942), *Прысяга* (1943), *Краіне* (1941–1942), ды не сціхаюць ў пасляваенную пару – як у Нямеччыне, так і ў далёкай Амерыцы. Арсеннева была вымушана эміграваць, але ніколі не забывала сваю родную, так блізкую яе сэрцу Беларусь. У сваіх вершах неаднойчы адгукалася на самыя важныя для беларускага народа падзеі. Свае творы прысвяціла між іншым дню абвяшчэння незалежнасці Беларусі: *25 сакавік* (1950), *Ён граць ня сьціхне* (1964), ды Слуцкаму збройнаму чыну: *Раздзел На Слуцкія ўгодкі з вершамі Лістапад* (1947), *Мы йшлі* (1947), *Над паўстанцкаю магілаю* (1952), *Вы пайшлі паміраць* (1956), *Ты не адна* (1960), ды *Косы* (1959–1960), *Сыны і маці* (1957).

Сапраўды, творчасць Наталлі Арсенневай ваеннага часу займае значнае месца ў яе літаратурнай спадчыне, а таксама ва ўсёй беларускай літаратуры.

Streszczenie

Poezja wojennego okresu Natalii Arsienniewej

Poezja okresu wojennego białoruskiej emigracyjnej poetki Natalii Arsienniewej zajmuje znaczące miejsce nie tylko w jej dorobku literackim, ale także w całej białoruskiej literaturze. Poezja ta jest jak dotąd najmniej zbadana w twórczej biografii poetki. W okresie wojennym Natalia Arsienniewa odchodzi od charakterystycznego dla niej poetyzowania przyrody i całą swoją uwagę skupia na opisie otaczających ją tragicznych wojennych realiów dnia codziennego. W jej wierszach tego czasu dominują tzw. wiersze-wezwania do rodaków, wiersze-apostrofy do Ojczyzny, jak również rozmyślenia dotyczące ludzkiej egzystencji, w tym losu poety. Swoistym poetyckim podsumowaniem tego okresu jest zbiór wierszy *Siahonnia* wydany w 1944 r. w Mińsku.

Summary

The wartime poetry of Natalia Arsienniewa

The wartime poetry of Belarussian emigre poet Natalia Arsienniewa has a significant place not only in her literary output, but also in the whole Belarussian literature. This type of work is the least explored in artistic biography of the poet. During the war, Natalia Arsienniewa departs from poetising nature typical for the pre-war period. At that time she focuses all her attention on the description of war surrounding the tragic realities of everyday life. Then in her poems dominate so-called: poems-calls to compatriots, poems-apostrophes to Homeland, as well as reflections about human existence, including the fate of the poet. A kind of poetic summary of this period is a collection of poems *Siahonnia*, released in 1944 in Minsk.

Key words: war period art, poems-calls, poems-apostrophes, patriotism, existence, the role of poetry.

Grzegorz Ojcewicz

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

**Słońce w kaftanie bezpieczeństwa,
czyli najkrótsza historia misji Chrystusa
(na przykładzie *Na wielkiej głębokości...*
Borysa Popławskiego)**

Poezja surrealistyczna sama w sobie stanowi fenomen interpretacyjny, który umożliwia stosowanie najprzeróżniejszych miar analitycznych, a w konsekwencji – snucie wniosków bez tego typu skrępowania, jakie narzucają gatunki silnie skodyfikowane. Swoista wolność interpretacyjna zobowiązuje chyba jednak bardziej niż w przypadku tekstów, które odgórnie organizują ostateczny wymiar interpretacyjny. Bajka, na przykład, z tytułu silnej kodyfikacji gatunkowej już na wstępie implikuje formalny efekt końcowy, którym jest zazwyczaj morał. Odbiorca bajki może się zatem bardziej skupić na tym, co jest przedmiotem centralnej wypowiedzi bajkopisarza, wiedząc, że morał zwieńczy narracyjne dzieło i ujawni stanowisko piszącego wobec przedstawionej w utworze rzeczywistości.

Nieco inaczej rzecz wygląda w przypadku tekstów słabo skodyfikowanych, do jakich na pewno wypada zaliczyć poetyckie utwory surrealistyczne. Wyobraźnia surrealistyczna to przykład jednej z najrzadszych typów wyobraźni poetyckiej¹, w której odbiorczy standard miesza się z absolutnym brakiem odbiorczego wzorca, przez co efekty odbiorcze i interpretacyjne nigdy nie należą do zamkniętych i zakończonych raz na zawsze, z założenia bowiem tekst surrealistyczny jest pozbawiony logicznych powiązań, stanowiąc rejestrację skojarzeń nawet bardzo luźno ze sobą korespondujących².

Pomimo występowania stosunkowo kruchych więzi pomiędzy elementami surrealistycznego tekstu poetyckiego da się jednak spojrzeć na utwór surrealistyczny jako całość jak na wielowymiarową propozycję autorskiej wizji, będącej zarazem lapidarnym artystycznym komentarzem w odniesieniu do rzeczywistości

¹ Więcej o wyobraźni poetyckiej: G. Bachelard, *Wyobraźnia poetycka. Wybór pism*, wyboru dokonał H. Chudak, przełożyli H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedmowa J. Błoński, Warszawa 1975.

² Więcej o wyobraźni surrealistycznej: M. Baranowska, *Surrealna wyobraźnia i poezja*, Warszawa 1984.

pozaliterackiej. Na tym właśnie założeniu buduję swoje odczytanie wiersza Borysa Popławskiego (1903–1935) *Na wielkiej głębokości...* jako najkrótszej historii ziemskiej misji Chrystusa.

Zdaję sobie sprawę, że odległości pomiędzy komponentami poetyckiego tekstu surrealistycznego mogą być nawet relatywnie duże, lecz i w tym przypadku wolno pokusić się o próbę odnalezienia w analizowanym utworze elementów w pewien sposób od siebie zależnych, a więc budujących sieć określonych powiązań, inicjujących i umożliwiających proces konstruowania odczytania wiersza. Lektura poezji surrealistycznej chyba tylko w skrajnej postaci może być odpowiednikiem zmienności i nieprzewidywalności kształtów oraz układu barw tak typowych dla efektów uzyskiwanych w wyniku obracania kalejdoskopem.

Nie znamy dokładnej daty powstania wiersza oznaczonego numerem 75, będącego jednym ze 185 utworów Popławskiego, włączonych do jedynego tego rodzaju tomiku poetyckiego zatytułowanego *Automatyczne wiersze*. Reprezentują one jeden z pięciu zbiorów poetyckich Popławskiego napisanych w latach 1922–1935 podczas pobytu na emigracji we Francji³. Z dedykacji umieszczonej na początku tomiku można wnioskować, że cały zbiorek był już ostatecznie zamknięty w roku 1931.

Pobyt w Paryżu umożliwił Popławskiemu poznanie samych surrealistów oraz zapoznanie się z ich koncepcjami i poetyką, zwłaszcza ze wskazówkami głównego animatora ruchu nadrealistycznego – André Bretona (1896–1966)⁴. Surrealiści czynili z człowieka estetyczne centrum, świadomie eksponowali jego egzystencjalny niepokój i przebywanie w świecie pełnym tajemnic, a przez to – trudnym do całkowitego poznania. Człowiek surrealistów nie bez trudu określał nie tylko granice własnej osobowości, lecz także granice realnego otoczenia. Automatyzm psychiczny, skojarzeniowość oraz intuicjonizm zdominowały logiczne porządki związane z postrzeganiem świata. Surrealista, któremu towarzyszyła świadomość niepoznawalności „rzeczy w sobie”, kierował uwagę odbiorcy

³ *Autonomiczne wiersze* odnaleziono w archiwum rękopisów poety dopiero wiosną 1998 r. Wcześniej ukazały się następujące tomiki poetyckie Borysa Popławskiego: *W woskowym wianku* (wiersze z lat 1922–1930, druk: 1938), *Flagi* (wiersze z lat 1923–1930, druk: 1931), *Sterowiec donikąd* (wiersze z lat 1924–1935, druk: 1965), *Śnieżna godzina* (wiersze z lat 1931–1935, druk: 1936). Chronologicznie najwcześniejszymi zbiorami wierszy 22-letniego poety były dwa tomiki, tj. *Sterowiec donikąd* oraz *Gramofon na biegunie północnym*, które z bliżej nieznanых powodów nie zostały wydane drukiem w 1925 r. Zapewne główną przeszkodą był brak środków pieniężnych na finansowanie wydania.

⁴ Pisałem o tym przy innej okazji. Zob. np.: G. Ojcewicz, „*Automatyczne wiersze*” Borysa Popławskiego: *zaklinanie mroku i światła*, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 196–203; G. Ojcewicz, *O Borysie Popławskim słów kilka*, „Borussia” 2008, nr 44–45, s. 201–202.

ku wymiarowi odmiennemu od realności – ku nadrealności: dziwaczność porównań, alogizm i przypadkowość skojarzeń wyznaczały teraz odbiorczy standard.

Popławski, pomimo jawnego zafascynowania koncepcjami nadrealistów, nie uległ im, nie podporządkował się nawet urokowi André Bretona i programowo zacierając granice pomiędzy człowiekiem i światem, przestrzenią i czasem, wartościami i uczuciami, wprowadzał do swoich utworów ślady ładu, minimalizujące chaos świata i chaos surrealistycznego myślenia artystycznego⁵. Czynił tak, gdy zestawiał na przykład wieczność z teraźniejszością, *sacrum* z *profanum*, mitologię z religią. Popławski, będąc obdarzonym rzadką umiejętnością odbioru i nazywania wrażeń sensorycznych, charakterystyczną dla Iwana Bunina (1870–1953), rejestrował głównie doznania wzrokowe i słuchowe, barwy i głosy wpisane w nieruchomy nierzadko lub pogrążony w wiecznym śnie świat.

Wiersz 75 *Na wielkiej głębokości...* składa się z trzynastu wersów. Trzynastcie wersów jest, być może, oczywistym przypadkiem, a niewykluczone, że ważnym mistycznym sygnałem, albowiem – jak wiadomo – w poezji nie ma rzeczy niezaplanowanych. Trzynastcie mogłoby oznaczać pozaharmoniczne 12, mające w *Biblii* określone ważne znaczenie zupełności i zorganizowania służ Bożych (Ap 7, 5–8; 12,1). Najlepszym tego przykładem jest układ grupa–przywódca, jak w przypadku apostołowie–Jezus. Oto oryginał:

На большой глубине
Где-то где-то
В смиренной рубашке
Во тьме, во сне
Безумное солнце – и камень
На сотни верст вокруг.
Безумно и глухо оно говорило во сне
Закованы ангелы в черные цепи
Всё спит – помогите
Не надо, так лучше –
Светлеет усталость
Как утро сквозь души
Рождается жалость⁶

⁵ Zdarzało się również, że Popławski podejmował literacki dialog na odległość z twórcami przebywającymi w rosyjskiej ojczyźnie. Zob. np.: G. Ojcewicz, *Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie „Это было у моря” Igora Siewierianina i „Вы смотрели на море...” Borysa Поплавского*, „Acta Polono-Ruthenica” 2011, t. XVI, s. 137–148.

⁶ Б. Поплавский, *На большой глубине...*, [w:] Б. Поплавский, *Том первый. Стихотворения, составление текста, вступительная статья, комментарии*, Е. Менегальдо, Moskwa 2009, s. 352.

Z punktu widzenia zawartości filologicznej autor mówi nam w danym utworze o tym, że na wielkiej, lecz bliżej nieokreślonej głębokości, pozbawionej dodatkowo konkretnego odniesienia geograficznego (*Gdzieś tam gdzieś tam*), znajduje się w promieniu setek wiorst dookoła w kaftanie bezpieczeństwa szalone słońce, któremu towarzyszy kamień. Słońce i kamień przebywają w określonym otoczeniu kolorystycznym oraz określonym stanie świadomości: jest nim, z jednej strony, mrok, a z drugiej sen. Słońce, które szaleńczo i głucho mówiło przez sen, zdradziło w ten sposób aktywność nietypową dla stanu jawy. Brak znaków interpunkcyjnych w wierszu nie pozwala na jednoznaczną ocenę, jak dalej układa się potencjalny ciąg narracyjny: czy świadkami słów szalonego słońca stają się zakute w czarne łańcuchy anioły, czy też ich pojawienie się w wierszu inicjuje kolejny zwrot skojarzeniowy, kolejną zmianę narracyjną, co wynika z poetyki surrealistycznej. Stan snu musi być dla autora istotny, ponieważ powraca do niego ponownie i konstatuje, że wszystko śpi i że nie jest to stan pożądany, skoro pojawia się wołanie o pomoc. Ktoś z zewnątrz, a może sam bohater liryczny ocenia, że pomoc nie jest jednak potrzebna, że lepiej będzie, gdy ona nie nadejdzie, gdyż brak pomocy implikuje wystąpienie nowego stanu, w którym zajaśnieje zmęczenie. Ponownie niewystępowanie znaków interpunkcyjnych otwiera podwójną możliwość odczytania ostatnich trzech wersów analizowanej miniatury, nie wiemy bowiem, czy to jaśniejze zmęczenie jak poranek przez dusze, czy też jak poranek przez dusze rodzi się żal.

By powiedzieć nam coś istotnego o świecie rejestrowanym za pomocą poetyki nadrealności, poeta uruchomił najważniejsze z jego punktu widzenia trzy kanały modalności: wzrokowy, słuchowy i logiczny. Do kanału wzrokowego odnoszą się następujące konstrukcje językowe: *На большой глубине, Где-то где-то, В смиренной рубахе, Во тьме, во сне, На сотни вёрст вокруг, Закованы ангелы в чёрные цепи, Всё спит*. Z kolei kanał słuchowy reprezentują takie połączenia wyrazowe, jak: *Безумно и глухо оно говорило во сне*, jeśli przyjmiemy, że za przysłówkiem *безумно* kryje się na przykład synonim *głośno*, a za przysłówkiem *глухо* – *cicho*. Z kolei kanał logiczny opiera się na kilku wyrażeniach i zwrotach: *Безумное солнце, Безумно оно* [słońce – G.O.] *говорило, помогите / Не надо, так лучше, Светлеет усталость / Как утро сквозь души / Рождается жалость*. Kanał logiczny odwołuje się do operacji myślowych i utrwalonych schematów wyrażania, jak posługiwanie się porównaniem i metaforą: *Как утро сквозь души, Светлеет усталость, Рождается жалость*. Kolorystyka jako istotna cecha stylu indywidualnego każdego twórcy występuje w analizowanym utworze w bardzo wąskim zakresie, a to może oznaczać, że to, co występuje, zostało nacechowane szczególnym znaczeniem.

U Popławskiego kolorystyka w analizowanej miniaturze surrealistycznej jest wyrażona dwojako: wprost i w sposób domyślny. Gdy poeta pisze o kaftanie bezpieczeństwa, to możemy zakładać, że przywołuje on barwę białą, gdyż kaftany bezpieczeństwa są zwykle barwy białej. Gdy lokuje akcję we mroku, przybliża szarości łamane granatem aż do potencjalnej czerni. Gdy korzysta z narzędzi metaforycznych i twierdzi, że zmęczenie jaśniej, to możemy przyjąć, że jaśnienie wiąże się z kolorystyką bieli łamaną żółcieniami, złotem i srebrem. Gdy zaś stawia przed nami aniołów zakutych w czarne łańcuchy, to z jednej strony ponownie odwołuje się do barwy białej, albowiem anioły zwykle są kojarzone z tym właśnie kolorem, a z drugiej – do koloru czarnego połączonego z narzędziem przemocy, czyli łańcuchem. Anioły zakute w łańcuchy to bardzo wyraźna i mocna asocjacja – potęgująca słowa poety.

Co może wynikać z wypowiedzi Popławskiego? Na pewno niejedno, jak z każdego wielowymiarowego tekstu, zwłaszcza o nacechowaniu surrealistycznym i eksponującym motyw snu. Dla mnie wiersz rosyjskiego emigranta pierwszej fali jest, jak to już zaznaczyłem, najkrótszą historią ziemskiej misji Chrystusa. Stosując podstawianie, czyli zastępowanie elementów oryginału substytutami konstrukcyjnymi, uzyskuję dość wiarygodne, jak miemam, uzasadnienie własnej interpretacji. Czytam i rozumiem utwór Popławskiego wedle następującego kodu: *Na wielkiej głębokości / Gdzieś tam gdzieś tam* jest dla mnie zamiennikiem dalekiej przeszłości, sygnowanej znaczną odległością w czasie bez bliższego sprecyzowania miejsca w przestrzeni; w wymiarze tekstowym może to być na przykład *Stary Testament*, który utrwała i komentuje najdawniejsze dzieje ludzkości i jej dramatyczny dialog z Jahwe. *Kaftan bezpieczeństwa, mrok i sen* symbolizują tutaj, być może, inercyjne, zdezaktualizowane, a więc i krępujące człowieka działanie prawa Mojżeszowego – dobrego i zrozumiałego dla Żydów w momencie zawierania przymierza ze Stwórcą, lecz zbyt już słabego, a miejscami nawet nieludzkiego w czasach narodzin Jezusa. Jezus został tutaj utożsamiony z *szalonym Słońcem*, które będzie musiało paść na *kamienie rozrzucone na setki wiorst dookoła*, czyli na Żydów nieprzygotowanych mentalnie na nadejście Mesjasza. Nawet dla apostołów mowa ich Nauczyciela była przecież zbyt trudna, więc dla pozostałych słuchaczy Jego nauk – tym bardziej.

To *szaleńcze Słońce*, czyli Zbawiciel, równie *szaleńczo i głucho mówiło przez sen*, a więc usiłowało dotrzeć do świadomości współczesnych Jezusowi Żydów z nową nauką, z nowym rozumieniem roli człowieka we wszechświecie i jego bardziej dojrzałego stosunku do Boga. Zaprawdę, tylko szaleniec, za jakiego uważano za życia Chrystusa, mógł się porwać na tak wielkie dzieło przebudowy mentalności Żydów i ich skamieniałych serc. Symbolicznie zadanie

to wyraziło się w zamiarze Chrystusa zburzenia Jerozolimy i jej odbudowy w ciągu trzech dni. Jezus przyszedł na świat, aby zaszczyć ludziom nowe przykazanie – przykazanie miłości bliźniego, które miało zastąpić przykazania starotestamentowe. Jezus przyszedł także z misją pokonania śmierci. Zwycięstwo nad nią dokonało się zgodnie z symboliczną zapowiedzią dokładnie po trzech dniach i nosi miano zmartwychwstania, ale wtedy tej Boskiej kosmicznej zależności nie byli w stanie pojąć nawet uczniowie Chrystusa, prości przecież rybacy. Z jakim więc oporem słowa Zbawiciela musiały trafiać na *kamienie* rozsiane dookoła *na setki wiorst*, czyli na naród żydowski. Miara odległości, jaką jest wiorsta, symbolizuje tutaj zapewne przestrzeń geograficzną zajmowaną przez Izraelitów.

Czy *aniołami zakutymi w czarne łańcuchy* nie są apostołowie Jezusa? Czy ich bezsilności, trwającej aż do momentu zmartwychwstania Chrystusa, nie symbolizuje atrybut fizycznej niewoli – łańcuchy? Mentalnie *spali* zarówno apostołowie, jak i ci, do których kierował swe słowa Mesjasz. Wyjątkowymi postaciami z najbliższego kręgu Chrystusa była na pewno Matka Boża oraz Maria Magdalena: one wiedziały i pojmowały znacznie więcej niż uczniowie Zbawiciela. Wydawać by się mogło, że należałoby sen, w którym był pogrążony naród żydowski, jak najspieszniej przerwać, stąd konstatacja *Wszystko śpi* i wołanie: *pomóżcie*. Mesjasz chciał jednak inaczej. To, być może, Jego słowa powtarza Popławski: *Nie trzeba, tak lepiej* – co znaczy, że trzeba poczekać na ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, by w umysłach narodu żydowskiego dojrzała nowa świadomość religijna. Czas jednak negatywnie zweryfikuje nadzieje Mesjasza: upływ nawet dwóch tysiącleci dowodzi, że przykazanie miłości nie jest powszechnie realizowane. Z tego być może powodu Popławski pisze, że *jaśniejże zmęczenie* – synonim trudu misji Chrystusa, która nie poszła jednak całkowicie w zapomnienie, skoro od rezurekcji jest zdolna do wysyłania promieni przechodzących przez dusze jak poranek. Poeta kończy wiersz smutną konstatacją: *rodzi się żalność*. Jeśli miał on na myśli czas, który człowieczeństwo zmarnowało w drodze ku wieczności, to rzeczywiście fakt ten może rodzić żalność.

Taka jest przykładowa, eksperymentalna interpretacja surrealistycznej miniatury Borysa Popławskiego *Na wielkiej głębokości...* Zawiera ona trzy najważniejsze elementy religijnych dziejów świata: obecność Jahwe we Wszechświecie i w świadomości Żydów, zapowiedź nadejścia Mesjasza i Jego Zmartwychwstanie, ocenę misji Chrystusa. Elementy te tworzą kosmiczny cykl, na który składają się adwent i narodziny, życie i działalność nauczycielska, śmierć i odejście-wniebowstąpienie. W tym sensie mamy w analizowanym utworze do czynienia z najkrótszą historią ziemskiej misji Jezusa – twórcy *Nowego Testamentu* – z historią wciąż pisaną po swojemu przez nowe pokolenia.

Jak wiadomo, tekst przetłumaczony daje nowe życie oryginałowi. Czasami jest to życie nadmiernie odmienione, gdzie trudno o rozpoznanie pierwowzoru. Przypadki te są, na szczęście, w sztuce przekładu artystycznego dość rzadkie, niemniej interesujące z punktu widzenia rozwiązań translatorskich, które potwierdzają najczęściej dwie opcje: albo brak dostatecznych kompetencji po stronie przekładowcy, albo fakt występowania eksperymentu, na który przyzwala na przykład postmodernizm.

Do chwili obecnej na język polski przetłumaczono wiersz Borysa Popławskiego *Na wielkiej głębokości...* tylko raz, a zatem tłumaczenie to otwiera serię translatorską⁷. Warto, jak sądzę, przyjrzeć się pracy tłumacza, by prześledzić nie tyle jego warsztat, ile element strategii, wyrażający się w zachowaniu paralelizmu dwóch wyobraźni poetyckich – szczególnego nadawcy tekstu, czyli autora, i szczególnego odbiorcy, czyli przekładowcy. Ważne jest tutaj także sprawdzenie, czy tekst docelowy nie burzy zaproponowanej powyżej interpretacji przez zaoferowanie jednostek nadto odbiegających od tekstu wyjściowego. Oto przekład jako wynik świadomych operacji językowych i podjętych przez tłumacza decyzji:

Na wielkiej głębokości
Gdzieś tam gdzieś tam
W kaftanie bezpieczeństwa
W mroku, we śnie
Szalone słońce – i kamień
Na setki wiorst dookoła.
Szaleńczo i głucho mówiło ono przez sen
Zakute anioły w czarne łańcuchy
Wszystko śpi – pomóżcie
Nie trzeba, tak lepiej –
Jaśniej zmęczenie
Jak poranek przez dusze
Rodzi się żalność⁸

Jak widać, tłumacz nie zburzył zamiaru autora: uwzględnił jego semantykę, styl i interpunkcję. Stworzył iluzję równoległości światów zapisanych w oryginalnym i przekładzie. Wszystkie istotne elementy wiersza Popławskiego zostały zachowane, w tym atrybuty skrepowania jednostki – *kaftan bezpieczeństwa* oraz

⁷ B. Popławski, *На большой глубине / Na wielkiej głębokości...*, [w:] idem, *Automatyczne wiersze*, „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, t. I, tłum. G. Ojcewicz, Olsztyn 2009, s. 177.

⁸ Ibidem, s. 177.

zniewolenia grupy – *czarne łańcuchy*. Pozostawiono apelatywność: *Wszystko śpi – pomóżcie*, jak też reakcję na nawoływanie do działania: *Nie trzeba, tak lepiej*. Ta sama jest w obydwu tekstach przyroda, jej barwy i stany. Ta sama poetyka przekazu kanałów modalnych – sensorycznych i mentalnych. Można na tej podstawie wnioskować, że otrzymaliśmy za sprawą polskiego przekładu drugą wersję najkrótszej historii ziemskiej misji Chrystusa. Teraz wiersz Popławskiego ma co najmniej dwie możliwości wypełniania przestrzeni i donoszenia surrealistycznego przekazu do niekoniecznie surrealistycznego odbiorcy. *Biblia*, jak wiadomo, należy do tekstów kodowanych i z tą tezą godzą się nawet ortodoksyjni bibliści. Utwór Popławskiego stanowi zaledwie drobinę pyłu, jaki osiadł na kulturze Zachodu, lecz może się ona okazać tą kroplą, która skutecznie naruszy skałę zastygłych wyobrażeń o ważnych dla ludzkości sprawach natury religijnej.

Spójrzmy jeszcze na utwór Popławskiego od strony statystycznej, odszukując w nim istotne semantycznie komponenty, reprezentowane przez takie części mowy, jak rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki i zaimki. Dokonywane wcześniej przeze mnie tego typu próby statystyczne w odniesieniu do twórczości Sergiusza Jesienina i Borysa Popławskiego owocowały całkiem ciekawymi spostrzeżeniami, a obrona metoda sprawdzała się bez zarzutu⁹. Poszczególne części mowy zbiera tabela 1, rejestrująca formy gramatyczne występujące w oryginale i tłumaczeniu.

Jak widać, świat Popławskiego jest zrównoważony, o czym świadczy ta sama liczba rzeczowników konkretnych (a) i abstrakcyjnych (b) – w każdej grupie po siedem, a więc ponownie reprezentowanych przez magiczną liczbę: a) *kaftan, słońce, kamień, setka, wiorsta, anioł, łańcuch*; b) *głębokość, mrok, sen* (2), *zmęczenie, poranek, dusza, żalność*.

Przymiotniki występują w oryginale czterokrotnie i za każdym razem jest to inna jednostka. Podczas przekładu wyrażenia *смирительная рубашка*, ze względu na odmiennność systemową języka polskiego i rosyjskiego, tłumacz musiał się posłużyć formą dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika *безпеченство*.

⁹ Zob.: G. Ojcewicz, „Czarny człowiek” Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze złem. *Geneza. Losy. Interpretacja*, „Acta Neophilologica” 2010, nr XII, s. 115–143; G. Ojcewicz, „Czarny człowiek” Sergiusza Jesienina w przekładzie Władysława Broniewskiego, „Acta Polono-Ruthenica” 2009, t. XIV, s. 167–188; G. Ojcewicz, „Czarny człowiek” Sergiusza Jesienina w tłumaczeniu Adama Pomorskiego jako drugi element polskiej serii przekładowej, „Acta Neophilologica” 2012, nr XIV (1), s. 165–183; G. Ojcewicz, „W woskowym wianku” Borysa Popławskiego. *Analiza statystyczna i interpretacja*, „Acta Neophilologica” 2009, nr 11, s. 67–94.

Tabela 1. Wybrane części mowy w wierszu Borysa Popławskiego *Na wielkiej głębokości...* z uwzględnieniem ich form gramatycznych występujących w oryginale i przekładzie wraz z zaznaczeniem frekwencji ponad 1

Rzeczowniki глубине / głębokości	Przymiotniki большой / wielkiej	Czasowniki говорило / mówiło	Przysłówki где-то (2)/gdzieś tam (2)	Zaimki оно / ono
рубашке / kaftanie	смирительной / bezpieczeństwa	спит / śpi	вокруг / dookoła	всё / wszystko
тьме / mroku	безумное / szalone	помогите / pomóżcie	безумно / szaleńczo	
сне / śnie	черные / czarne	светлеет / jaśniej	глухо / głucho	
сон / sen		рождается / rodzi się	лучше / lepiej	
солнце / słońce				
камень / kamień				
сотни / setki				
верст / wiorst				
ангелы / anioły				
цепи / łańcuchy				
усталость / zmęczenie				
утро / poranek				
души / dusze				
жалость / żalność				
14 jednostek 15 użyć (sen – 2)	3 jednostki zachowują tę samą kategorię przymiotnikową 1 jednostka zmienia w tłumaczeniu kategorię przymiotnikową na rzeczownikową (смирительной / bezpieczeństwa) 4 użycia	5 jednostek 5 użyć	5 jednostek 6 użyć (где-то – 2)	2 jednostki 2 użycia

Z kolei czasowniki pojawiły się w utworze Popławskiego pięciokrotnie, a autor preferował czas teraźniejszy, utrwalony w takich formach, jak *śpi*, *jaśniej*, *rodzi się*. Czas przeszły reprezentuje forma *mówiło*, a tryb rozkazujący *pomóżcie*. Przysłówki ujawniają swoje znaczenia w połączeniu z czasownikami. Jest ich w analizowanym wierszu pięć: *gdzieś*, *dookoła*, *szaleńczo*, *głucho*, *lepiej*. Szczególną rolę przypisał autor przysłówkowi *gdzieś*, który ma frekwencję 2 i został wzmocniony przez tłumacza przysłówkiem *tam*. Zaimki są tutaj tylko dwa: *ono* i *wszystko*, co z jednej strony wskazuje na skłonność

Popławskiego do konkretyzacji i nazywania rzeczy po imieniu, a z drugiej – do generalizowania pewnych obserwacji, jak tutaj – *wszystko śpi*¹⁰.

Czy dokonany rozbiór miniatury surrealistycznej *Na wielkiej głębokości...* na części mowy koresponduje z główną tezą artykułu, zgodnie z którą utwór Popławskiego jest najkrótszą historią ziemskiej misji Chrystusa? W mojej ocenie – tak, a potwierdzenia należy poszukać na poziomie wyższym niż kategorie gramatyczne, które stanowiły punkt wyjścia do określonych obserwacji. Zazna- czyłem już, że świat Borysa Popławskiego, nie tylko zresztą reprezentowany niniejszym wierszem, jest światem konkretnym – do takiego właśnie konkretnego świata przyszedł Mesjasz, by na wielkiej przestrzeni dokonać zmian w pojmowaniu istoty Boga przez Żydów. Chrystus *jaśniał* jak *słońce* w utworze Popławskiego, bo był największym ze znanych ludzkości Słońc, a jego pobyt na ziemi wiązał się z narodzinami nowej jakości mentalnej w świadomości religijnej i społecznej narodu żydowskiego, osadzonej na wprowadzeniu przykazania miłości bliźniego. Przysłówki wykorzystane przez poetę (*szaleńczo, głucho, dookoła, gdzieś*) mogą podkreślać intensywność zdarzeń w Jerozolimie i w innych miastach, w których nauczał Jezus. To przecież Jezus-Słońce mówił i nawoływał do nawrócenia, lecz Izraelici wciąż spali; ten apel sprzed tysiącleci rozbrzmiewa według mnie do dzisiaj.

Nie twierdzę, że przedstawiona tutaj interpretacja wiersza Borysa Popławskiego jest wyczerpująca i jedyna z możliwych. Traktuję ją jako propozycję w ramach eksperymentu filologicznego. A eksperymenty, jak wiadomo, rządzą się swoimi prawami. By je sformułować, trzeba eksperymentować.

Резюме

*Солнце в смиренной рубашке или Кратчайшая история миссии Христа
(на примере „На большой глубине...” Бориса Поплавского)*

Автор анализирует сюрреалистическую миниатюру Бориса Поплавского *На большой глубине...* По автору, это стихотворение можно прочитать как самую короткую историю миссии Христа. Такую гипотезу поддерживает формальная сторона произведения и его содержание. Потенциально религиозное содержание скрывается за символическими предметами и действиями. Сон, например, заменяет время адвента и указывает на ментальное усыпление евреев, не подготовленных к проповедям Иисуса. Автор считает, что

¹⁰ O epitetach przymiotnikowych na tle idiolektu pisarza zob. np.: G. Ojcewicz, „*W woskowym wianku*” Borysa Popławskiego. *Epitetyka przymiotnikowa na tle idiolektu poetyckiego twórcy*, [w:] *Сучасні проблеми епітетології. Збірник наукових праць. Випуск 1*, Кам’янець-Подольський 2011, s. 54–60.

текст Поплавского позволяет констатировать, что ни израильтяне тогда, ни христиане сегодня не воспользовались уникальным шансом, полученным человечеством благодаря новой заповеди Христа, заповеди любви ближнего. Этот факт вызывает у Поплавского „жалость”. Данное состояние заканчивает анализируемую миниатюру и оценивает земную миссию Христа.

Summary

*The sun in a strait jacket or the shortest history of Christ's mission
(by the example of "At Great Depth..." by Boris Poplavsky)*

The author analyzes the surrealistic miniature *At great depth...* by Boris Poplavsky and believes that the poem may be understood as the shortest history of Christ's mission. This hypothesis is supported both by the form and the content of the work. Potentially religious meanings are hidden behind symbolic objects and actions. Sleep, for instance, takes the place of Advent, on the one hand, and, on the other, symbolizes mental doze of the Jews who were completely unprepared for the lessons Jesus taught. The author believes that Poplavsky's text allows to state that neither the Israelites then nor the Christians now use the unique chance given to the humanity by the new commandment of Christ, the commandment to love one's neighbor. That fact arouses poet's pity. That state crowns the analyzed miniature and implies the evaluation of Jesus' earthly mission.

Key words: Boris Poplavsky, Christ's mission, surrealistic miniature.

Irena Rudziewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Olsztyn

Польша в жизни и творчестве Наталии Горбаневской

В творчестве русской современной поэтессы Наталии Горбаневской (г. р. 1936) ярко ощущается сближение литературы отечественной и эмиграционной, чувствуется влияние польской литературы и культуры, что приводит к развитию общеевропейских аспектов и элементов. В стихотворном творчестве Горбаневской преобладает тематика гражданственная и общечеловеческая, обращения к „вечным”, мучительным, трудным и тревожным вопросам, стоящим перед человечеством, с целью осмысления времени и судьбы как личности, так и общества, попытка разрешения философских проблем, связанных с поисками духовности, смысла бытия, нравственности и ответственности в современном мире.

Наталия Горбаневская, общественная активистка с 1967 г., оставила страну, выехала в эмиграцию с сыновьями 17 декабря 1974 г. С 1956 г. поэтесса сильно связана с Польшей, прекрасно знает польский язык и литературу, культуру и сложные общественно-политические и экономические проблемы. По ее словам, польскую прессу начала читать в 1956 г., желая познать язык и узнавать все новости о происходящих событиях. Чаще всего читала „Пшекруй”, где „статьи были написаны простым и живым языком и их было легко читать”, а „когда уже научилась читать простые тексты, взяла учебник и проштудировала его в течение месяца”¹, чтобы спокойно познавать более серьезные книги, художественную, научную и документальную литературу, а также читать в переводе на польский язык западные тексты.

Горбаневская находилась среди других русских писателей – „шестидесятников”, которые были увлечены личностью Анджея Дравича, были „z nim na ty, m.in. Wasilij Aksionow, Władimir Wojnowicz, Georgij Władimow,

¹ *Я очень не люблю об этом говорить...* Беседа Гжегожа Пшебинды (под псевдонимом Генрих Цивинский) с Натальей Горбаневской, „Новая Польша” 2009, № 12, с. 81.

Anatolij Gładilin, Władimir Bukowski, Natalia Gorbaniewska”², которая многократно высказывалась о польском исследователе русской литературы, обращая внимание на его различные книги. В эмиграционном журнале „Континент” (1982, № 32) напечатала рецензию на книгу Дравича *Pytanie o Rosję* (1981), которая, считает поэтесса, „не монографический курс по современной русской литературе, а сборник статей, написанных в разное время, тем не менее здесь охвачены многие важнейшие аспекты ее нынешнего состояния”. Особенно важно, подчеркивает Горбаневская, что автор в своих статьях дает „малоизвестный польскому читателю образ русской литературы и журналистики за пределами СССР”³.

Познакомилась будущая поэтесса с польским русистом в 1963 г. в Ленинграде и дала ему запрещенное в то время *Реквием* Анны Ахматовой, распространением которого, как вспоминает, „я тогда рьяно занималась”⁴. Горбаневская постоянно подчеркивает значение Дравича для популяризации русской литературы в Польше, но „как литературовед он был, считает, все-таки не больше чем популяризатор. Каких-то глубоких новых идей у него нет”⁵.

Поэтесса 1 февраля 1986 г. поселилась в Париже, где стала активно сотрудничать с журналом „Континент” и газетой „Русская мысль”, печатая там свои стихи, политические обзоры, статьи, рецензии, полемику, переводы, часто представляя происходящие в Польше события и факты, актуальные проблемы, разнообразные перемены и существенные для страны вопросы. Горбаневская знает, что „Гедройц, Чапский и Герлинг-Грудзинский входят в редколлегия, что там много польских материалов, что «Континент» уже сотрудничает с «Культурой»”⁶ и мечтает познакомиться с Гедройцем. Печатает очень много различных материалов о Польше и общественно-политических событиях, положении рабочих и разных годовщинах, переводы книг, стихотворений, статей и работ польских авторов (например, статьи Яна Новака-Езеранского). На основе некоторых материалов создает серию радиопередач на радио „Свобода” (например, о сорокалетию Катыни в 1980 г.)⁷.

² A. Wołodźko-Butkiewicz, *Literatura rosyjska w świadectwach polskich krytyków literackich*, [w:] *50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej*, pod red. B. Stempczyńskiej i P. Fasta, Katowice 2000, s. 250–251.

³ Н. Горбаневская, *Ответы на вопросы о России*, „Новая Польша” 2011, № 3, с. 83.

⁴ Н. Горбаневская, *Кто с кем дружит*, „Новая Польша” 2006, № 4, с. 14.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ См. об этом: „Новая Польша” 2005, № 3, № 4; 2006, № 4.

Горбаневская высоко ценит и с огромным уважением говорит и пишет о жизни, высказываниях, суждениях и деятельности Ежи Гедройца, с которым многие годы сотрудничала и дружила. Поэтесса очень высоко оценивает роль и значение журнала „Культура”, редактором которого был Гедройц, многое делая для сближения наций, особенно русских и поляков, а также его сотрудничество и участие в редколлегии русского эмиграционного журнала „Континент”, в котором особенно высоко ценил „восточно-европейский раздел”⁸. Благодаря этой личности „pojawiło się coraz więcej ludzi – zarówno Polaków, jak i Rosjan – którzy się przyjaźnili, widzieli w sobie nie tylko «innego», ale przede wszystkim bliźniego. To się działo i dzieje nadal właśnie dzięki Giedroyciowi i «Kulturze». A od pewnego czasu także dzięki miesięcznikowi «Новая Польша», pismu redagowanemu przez Jerzego Pomianowskiego, choć jego pomysłodawcą był Giedroyc”⁹.

На смерть польского эмигранта Горбаневская откликнулась стихотворениями, в которых выражает свою боль, скорбь, сожаление, но и необходимость продолжать и вводить в жизнь его идеи, помыслы, мысли о сближении всех народов, особенно соседей.

Kto żyw, młodzi, starcy
śpieszą, co sił starczy,
by nie dożyć do końca stulecia.
Już dosyć, już pora,
już przykrzy się porać
z ciemnościami, jak samotna świeca¹⁰.

В Париже Горбаневская познакомилась тоже с Виктором Ворошильским¹¹, с которым сотрудничала и дружила многие годы. Встречалась там также с Чеславом Милошем, „который всегда, завидев меня еще издалека, заговаривал со мной по-русски, хотя я изо всех сил старалась говорить с ним по-польски”¹². Многие годы была связана с оппозиционными польскими кругами, о чем „свидетельствуют продолжающаяся по сей день дружба со многими поляками и два сборника стихов, выпущенных в 1986 г. парижским издательством «Контакт», *Переменная*

⁸ Т. Максимова, Н. Горбаневская, „Культура” – „Континент”, Ежи Гедройц – Владимир Максимов, „Новая Польша” 2006, № 12, с. 82.

⁹ N. Gorbaniewska, *Człowiek stulecia*, „Tygodnik Powszechny” 2000, № 39, с. 13.

¹⁰ N. Gorbaniewska, *Dwa wiersze na śmierć Jerzego Giedroycia*, „Kultura” (paryska) 2000, № 10, с. 9.

¹¹ См. об этом: „Новая Польша” 2000, № 9.

¹² Н. Горбаневская, *Кто с кем...*, с. 16.

облачность и Где и когда”¹³; ее многократные посещения нашей страны (впервые приехала в 1988 г. на Международную конференцию по правам человека в Кракове) и постоянная бескомпромиссная борьба за права человека, если они где-нибудь нарушаются. Горбаневская хорошо знает многих польских деятелей политики и культуры, известных поэтов и прозаиков, переводит их произведения. Некоторым посвящает свои стихи. Среди них находится Адам Михник, которого хорошо знает и очень уважает.

Слушай – и услышишь.
А пока до свиданья, до завтра,
до поры желтеющих листьев,
увядающего азарта¹⁴.

Поэтесса часто бывает в Польше, принимает участие во многих мероприятиях, печатает стихи и различные переводы, находится среди редакторов журнала „Новая Польша”, где помещает многие статьи, рецензии, заметки и воспоминания. В 1997 г. присутствовала на встрече поэтов Востока и Запада. „Przybyła też Natalia Gorbaniewska, отмечает польский журналист, mieszkająca obecnie w Paryżu rosyjska tłumaczka (przełożyła na rosyjski m.in. *Traktat poetycki* Miłosza oraz *Inny świat* Herlinga-Grudzińskiego) w Polsce znana bardziej ze swej politycznej odwagi i działalności na rzecz praw człowieka”¹⁵.

Польша для Горбаневской – это „kraj, którego kultura przyciągała całe pokolenia mieszkańców ZSRR, dorastających w latach 1950–1980 XX wieku”¹⁶. На протяжении многих лет наша страна постоянно появляется в статьях, воспоминаниях, рассказах о различных польских поэтах, прозаиках, деятелях культуры, политики, общественной жизни. Очень тепло пишет о Густаве Герлинг-Грудзинском, который для „mnie, czytelnika i tłumacza, a także dla nas Rosjan – pozostanie przede wszystkim autorem *Innego świata*, a tak ceniony przeze mnie *Dziennik pisany nocą* umieścić musimy na drugim planie. *Inny świat* jest bowiem «martwym domem» totalitarnego XX wieku, jest światem ujrzanym oczyma zeka [...]. Taki świat ujrzał zek – a zarazem pisarz [...]”.

¹³ П. Минцев, *Благодарность. К 70-летию Натальи Горбаневской*, „Новая Польша” 2006, № 5, с. 3.

¹⁴ Н. Горбаневская, *Перелетая снежную границу. Стихи 1974–1978*, Paris 1979, с. 76.

¹⁵ [tw], *Spotkanie poetów Wschodu i Zachodu*, „Dekada Literacka” 1997, № 10/11, с. 5.

¹⁶ *Czy stosunki polsko-rosyjskie mogą być dobre?* (ankieta), „Arcana” 2005, № 64–65, с. 71.

Pisarz, przyjaciel, zek – tym wszystkim był jeden człowiek, – подчеркивает в своих воспоминаниях Горбаневская. Człowiek, którego głos słyszę i w tej chwili, którego mimikę nadal widzę”¹⁷.

Многим полякам посвящает русская поэтесса стихи, в которых выражает свою привязанность к польской поэзии, литературе, языку и культуре, признание и уважение. Среди различных произведений находятся посвящения Чеславу Милошу (*I wtedy pokochałam te wiersze obce...*) и Анджею Вайде после просмотра в Варшаве его новейшего фильма *Катынь*, рецензию которого поэтесса помещает на страницах журнала „Новая Польша”, считая что „film ten jest przede wszystkim o kłamstwie. Lecz także o pamięci!”¹⁸. После возвращения в Париж Горбаневская пишет о фильме стихотворение, которое в переводе на польский язык появляется тоже на страницах этого журнала.

Andrzejowi Wajdzie

Młyny Boże miałą powoli,
lecz, Bogu dzięki,
zmielą to wszystko. I los pozwoli
ze zmielonej męki

zaczynić, ugnieść nam ciasto pamięci,
by wzeszła dawno
nad widnokregiem, spod ziemi, pomiędzy
żywymi – prawda¹⁹

(tł. Adam Pomorski)

Горбаневская часто пишет и помещает в книгах и журналах рецензии на книги разных польских или иностранных авторов, посвященных польской литературе, культуре, политике или общественной деятельности, а также свои наблюдения, высказывания и суждения о различных событиях, связанных с современной польской культурой²⁰. Среди них находятся отклики на книги Милоша²¹; информации о неизвестных текстах

¹⁷ J. Jarzębski, *Całość i sens. Po śmierci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego*, „Tygodnik Powszechny” 2000, № 29, с. 7–9.

¹⁸ *Zobaczone, przeczytane*, „Zeszyty Literackie” 2007, № 4, с. 173.

¹⁹ *Ibidem*, с. 175.

²⁰ Н. Горбаневская, *Поляки в Петербурге или freefeduta*, „Новая Польша” 2011, № 4, с. 62–63; 2008, № 2, с. 31–33.

²¹ Н. Горбаневская, *Литва и Вильнюс. Милош и Венцлова: Полилог*, „Новая Польша” 2012, № 9, с. 36–39.

Гедройца²²; сообщения об открытии театральной студии при Институте имени Ежи Гротовского во Вроцлаве, которая со временем станет „местом многих театральных событий, не связанных с ее деятельностью напрямую: театральных фестивалей, польских и международных научных конференций, практических семинаров, выставок, гастрольных спектаклей и концертов”²³; заметки о смоленской катастрофе с подборкой стихов, написанных после этой трагедии²⁴.

Поэтесса многократно переводит фрагменты книг известных польских современных авторов, пишет вступления и пояснения, слова от переводчика, вводя русского читателя в атмосферу представляемых польских событий. Переводит фрагменты книг и стихотворения Милоша²⁵; Юзефа Чапского²⁶ и Яна Твардовского, соглашаясь с мыслью польского поэта, что настоящая терпимость „требуется от человека благородства, ответственности, честности, правды”²⁷, которых так не хватает в современном мире. Многократно обращалась к творчеству Милоша, переводя и комментируя его произведения, подчеркивая увлечение польского поэта русской поэзией, которая очень сильно влияла на него своей мелодичностью и эмоциональностью. „Miłosz powtarzał, wspominaет Горбаневская, że zawsze stara się uwolnić od wpływu poezji rosyjskiej, bo strasznie wciąga melodią”²⁸.

Увлечшись польской литературой, в особенности поэзией, Горбаневская стала ее переводить на русский язык, начиная с известного стихотворения Кшиштофа Камиля Бачинского *Дожди*, „которое в великолепном исполнении Эвы Демарчик давно стало в Польше популярной песней. Переводчица скрупулезно сохраняет метр и интонацию оригинала, но как будто попутно переносит его в иное измерение, придавая юношеским наивностям поэтическое величие”²⁹.

²² *Неизвестный текст Ежи Гедройца?* Публикация Н. Горбаневской, „Новая Польша” 2010, № 3, с. 57–59.

²³ Н. Горбаневская, *Студия „На Гробле”*, „Новая Польша” 2010, № 11, с. 61.

²⁴ „Новая Польша” 2010, № 4, с. 37–42.

²⁵ Ч. Милош, *Опыт войны*. Пер. Н. Горбаневской, „Новая Польша” 2010, № 1, с. 3–7; *Тот же. Стихотворения*. Пер. Н. Горбаневской, „Новая Польша” 2006, № 4, с. 16–18.

²⁶ Ю. Чапский, *Вырванные страницы*. Пер. Н. Горбаневской, „Новая Польша” 2010, № 9, с. 62–68.

²⁷ Я. Твардовский, *Терпимость*. Пер. Н. Горбаневской, „Новая Польша” 2006, № 2, с. 28.

²⁸ *Dusza przetłumaczona?*, „Więź” 2006, № 11, с. 41.

²⁹ А. Поморский, *Как следует дать вещи – слово!*, „Новая Польша” 2007, № 6, с. 62.

И дождь косою полосую,
как острой по сердцу косою,
и тенью скрыты, тенью смыты...
А я с мольбой, с любовью, с боем
выйду к бездонному истоку,
руки воздею по небо боем:
Как пес под хлыст пустых побоев.

Не убиенный, не любимый,
несовершенный, несерьезный...³⁰

С тех пор Горбаневская постоянно переводит польских поэтов разных поколений и школ, сохраняя верность польской литературе и культуре. Поэтесса приблизила русскому читателю различные примеры польской лирики, „от Норвида до современных авторов, в том числе Милоша (в первую очередь *Поэтический трактат*), Марию Павликовскую-Ясножевскую, Кшиштофа Камиля Бачинского, Анну Каменскую, Збигнева Херберта, Виктора Ворошильского, Виславу Шимборскую, Ярослава Марека Рымкевича, Станислава Баранчака, Рышарда Крыницкого, Томаша Яструна. Она сумела вложить в эти переводы собственный личный и поэтический опыт, преображая польские произведения в неповторимые, зачастую мрачные и суровые, но всегда великолепные русские стихи”³¹.

Среди многих произведений Милоша Горбаневская перевела *Балладу*, посвященную Тадеушу Гайцы, поэту-ровеснику Бачинского, который тоже погиб в варшавском восстании.

Под землею Гайцы, под землею,
Уж навеки двадцатидвухлетний.
И без глаз он, и без рук, без сердца,
Ни зимы не знает и ни лета.
[...]
Под землею Гайцы – не узнает,
Что Варшава битву проиграла³².

Поэтесса многократно подчеркивала свой постоянный интерес к польской истории, к происходящим в нашей стране событиям, читая „все о войне и оккупации в Польше, что только попадалось мне в руки. Читала

³⁰ Ibidem, с. 63.

³¹ Т. Венцлова, *Избирательное средство*, „Новая Польша” 2008, № 11, с. 71.

³² А. Поморский, *op. cit.*, с. 63.

Боровского. Меня очень интересовал этот период. Читала, конечно, польские издания...”³³. Изучала доступные книги, документальные свидетельства, очерки и рассказы об оккупации. И сама об этих военных событиях писала³⁴.

Среди польских поэтов, которых переводила и о которых многократно писала и высказывалась, Горбаневская очень высоко ценит поэтическое творчество Норвида, которым увлекается многие уже годы, считая, что „z całej poezji polskiej XIX wieku najbliższy jest mi właśnie Norwid, myślę, że nie będąc urodzona w żywiole języka polskiego, pewnych rzeczy nigdy nie będę w stanie w jego twórczości zrozumieć. Nie będę w stanie, chociaż go czuję i słyszę”³⁵.

В настоящее время, получив многие польские награды (например, премию им. Ежи Гедройца), звание *honoris causa* Люблинского университета в 2008 г., польское гражданство в 2005 г., Горбаневская очень активно сотрудничает с журналом „Новая Польша”, „где в лице Ежи Помяновского я нашла продолжателя той же славной традиции”³⁶ „Культуры”, „Континента” и „Русской мысли” и их известных редакторов (Ежи Гедройц и Владимир Максимов). Горбаневская – член редакции журнала, а „ее замечания, ее способы проверки дат, имен, цитат – образец старательности и доказательство глубоких знаний – филологических, библиографических, исторических”³⁷. Журнал издается прежде всего для русских читателей и поэтому Горбаневская очень часто на его страницах помещает переводы стихотворений польских авторов, начиная с Норвида, поэтов военных лет, польской демократической оппозиции времен ПНР, Нобелевских лауреатов до представителей новейшей поэзии³⁸.

Трудно не согласиться с русской поэтессой, что „журнал «Новая Польша» своими серьезными материалами (подчас спорными) расширяет наше представление о польской культуре, об исторических сложных русско-польских отношениях, освобождая эти отношения от тенденциозности взаимных обвинений”³⁹.

³³ Я очень не люблю..., с. 81.

³⁴ И. Горбаневская, „Венок polegшим”. О двадцатилетних варшавских поэтах, „Новая Польша” 2005, № 11.

³⁵ *Dusza...*, с. 46.

³⁶ Н. Горбаневская, *Кто с кем...*, с. 16.

³⁷ Е. Помяновский, *Поэтесса Горбаневская заслуживает ученого звания*, „Новая Польша” 2008, № 11, с. 65.

³⁸ См. м. др.: „Новая Польша” 2006, № 2, № 3, № 4, № 9; 2007, № 2, № 5, № 6, № 11; 2008, № 4, № 9; 2009, № 2, № 4; 2010, № 1, № 4.

³⁹ „Новая Польша” 2008, № 10, с. 84.

О глубоких связях с польской культурой и литературой свидетельствует и оригинальная поэзия Горбаневской, которая близка и родственна произведениям „польского послевоенного поколения. В ней можно распознать польскую рыцарскую этику...”⁴⁰. Она „ всю жизнь сохраняла верность польской литературе. В этом она похожа на многих представителей своего поколения, которое училось у поляков, как сражаться «за вашу и нашу свободу»”⁴¹.

В ожидании конца
не толпитесь на пороге.
Всем достанутся чертоги
в доме нашего Отца.

Не дыши в чужое темя
свежей стружкой и смолой.
За надышанною мглой
есть и место, есть и время.

[...]

Не толпитесь за чертою,
не томитесь немотою,
в доме нашего Отца
песни не кончаются⁴².

Streszczenie

Polska w życiu i twórczości Natalii Gorbaniewskiej

W tekście przedstawione zostały różnorodne formy powiązań rosyjskiej poetki Natalii Gorbaniewskiej z polską kulturą i literaturą, działaczami politycznymi i społecznymi, redakcjami czasopism na emigracji i w Polsce. Zwrócono również uwagę na tłumaczenia Gorbaniewskiej polskich poetów różnych pokoleń na język rosyjski.

Słowa kluczowe: rosyjska poetka, powiązania z polską kulturą i literaturą, tłumaczenia polskich poetów, praca w redakcjach czasopism.

⁴⁰ Т. Венцлова, *op. cit.*, с. 70.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Н. Горбаневская, *Стихотворения*, „Новая Польша” 2006, № 4, с. 7.

Summary

Poland in Natalya Gorbanevskaya's life and literary output

In the text presented were various forms of the Russian poetess Natalya Gorbanevskaya's connections with Polish culture and literature, political and civil right activists, editorial boards of magazines in emigration and in Poland. Attention was also paid to Gorbanevskaya's translations of Polish poets representing various age groups into the Russian language.

Key words: Russian poetess, connections with Polish culture and literature, translations of Polish poets' output, work in editorial boards of magazines.

Izabella Siemianowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Obraz emigracji rosyjskiej w twórczości Władimira Maksimowa

Władimir Maksimow – wybitny dysydent z pokolenia „szestidiesiatników”, autor głośnej w swoim czasie powieści *Siedem dni tworzenia*, założyciel i redaktor emigracyjnego pisma „Kontynent” – w swojej prozie, publicystyce, dramaturgii немало miejsca poświęcił niełatwej egzystencji rosyjskich emigrantów na obczyźnie. Pisarza interesowała emigracja jako zjawisko; w swojej twórczości, a także w licznych wywiadach z charakterystyczną dla siebie otwartością i bezkompromisowością ukazał wewnętrzne problemy środowiska rosyjskich emigrantów, zastanawiał się nad postawą i posłannictwem rosyjskiego dysydenta oraz nad tym, jak jest on postrzegany na Zachodzie. Niniejszy artykuł stanowi próbę prezentacji obrazu emigracji rosyjskiej widzianej przez pryzmat osobistych doświadczeń, obserwacji i przemyśleń Władimira Maksimowa.

Problemy Maksimowa z władzą sowiecką rozpoczęły się w 1964 r., kiedy to próbował wydać trzecią część *Siedmiu dni tworzenia* pod tytułem *Dziedziniec pośrodku nieba*. Decydujący zwrot w karierze literackiej późniejszego dysydenta miał miejsce we wrześniu 1973 r. – wykluczono go wówczas ze Związku Pisarzy Sowieckich za opublikowanie w drugim obiegu powieści *Siedem dni tworzenia*. Za źródło ataku należy uznać tematykę utworu, czyli ostrą krytykę sowieckiej rzeczywistości, a także jego chrześcijańską wymowę. Powieść ta najpierw ukazała się w samizdacie, potem została wydana na Zachodzie i przetłumaczona na wiele języków. W 1974 r. władze sowieckie podjęły decyzję o przymusowym wydaleniu jej autora poza granice ZSRR. Trzeba podkreślić, że emigracja została Maksimowowi narzucona, wyjazd z ojczyzny był dla niego przymusową ucieczką przed represjami i domem wariatów. Kolejny etap swojego życia jeden z najwybitniejszych przedstawicieli „trzeciej fali emigracji” rozpoczął w lutym 1974 r. w Paryżu.

Na obczyźnie Władimir Maksimow czuł się wyalienowany. Często mówił o trudach emigracji, podkreślał wewnętrzne skłócenie oraz atmosferę zawiści i wzajemnych niechęci, jaka panowała w środowisku:

Эмиграция – ох, какой клубок. Претензий, амбиций, обид, счетов всех ко всем, каждого к каждому. Мало, что ли такого: свобода – это, когда меня печатают, это когда меня понимают, меня замечают, меня слушают, меня, меня, меня...¹

Błędem byłoby jednak sądzić, że Władimir Maksimow szczególnie niekorzystnie oceniał rosyjskie środowisko emigracyjne. W jednym z wywiadów, którego udzielił, starał się wyjaśnić przyczyny specyficznej atmosfery, jaka panuje w społecznościach emigracyjnych:

Редактируя „Континент”, где печатаются представители всех эмиграций и не только эмиграций, но и оппозиций из Восточной Европы, и теперь создав „Интернационал Сопротивления”, куда входит вся расцветка политической эмиграции (не только Восточной Европы, а и Латинской Америки и Африки), – так вот, после всего этого я вам должен сказать, что положение в русской эмиграции намного лучше. Русская эмиграция – на виду, за ней все следят... Она как бы под колпаком, она наиболее яркая и потом представляет такую страну, от которой сейчас, может быть, зависят судьбы будущего, цивилизации. А в общем, везде одно и то же. Видимо, эмиграция – это такое экстремальное состояние, когда человек теряет контроль над собой. Во-первых, социально это очень тяжелая адаптация. Видите, два-три человека могут еще более или менее жить литературой, остальные вынуждены переквалифицироваться, искать где-то кусок хлеба. Это вызывает темные инстинкты в человеке, создается конфликтная ситуация, но она еще и очень умело подогревается².

Pomimo wieloletniego pobytu we Francji, Władimir Maksimow nigdy w pełni nie odnalazł się w nowych warunkach. Bardzo tęsknił za krajem, żywo interesował się jego losem, problemami. Dowodem jest następująca wypowiedź: „И я весь там... Может, это плохо, но я весь там [...] И все помню, всех помню...”³. W utworze publicystycznym *Saga o sadze*, będącym komentarzem do głośniejszej i kontrowersyjnej *Sagi o nosorożcach* napisał:

„Мы не в изгнании, – сказала большая русская поэтесса, – мы в послании”. От того, как понимает каждый из нас это самое „послание”, и выявляются позиции сторон⁴.

¹ В. Иверни, *Тревога*, „Континент” 1980, nr 25, s. 392.

² Д. Глэд, *Беседы в изгнании*, Москва 1991, s. 258.

³ В. Иверни, op. cit., s. 403.

⁴ В. Максимов, *Saga o sage*, [w:] *Публицистика*, Москва 1993, s. 37.

Pisarz pobyt na emigracji traktował jako misję, całe swoje życie podporządkował „sprawom ojczyźnianym”. Często wyobrażał sobie powrót do kraju:

Без конца представляю себе возвращение. В деталях, в подробностях. Это стало неким самоединством⁵.

Można powiedzieć, że tylko zewnętrznie pozostawał na obczyźnie, albowiem niemal wszystkie jego myśli i działania podporządkowane były ojczyźnie. W wywiadzie opublikowanym w „Kontynencie” w 1980 r. powiedział:

[...] эмигрантом я себя никак не чувствую. Ко мне часто приходят люди, приехавшие из Москвы в туристическую поездку или в командировку, разговариваем мы, бывает, ночи напролет, и разговоры все те же, что были в Москве, и я никакой разницы между собой и ими не чувствую. Просто живем в разных городах, по разным адресам⁶.

Obracał się głównie wśród rodaków, a jedynym językiem, za pomocą którego wyrażał myśli, pozostał język rosyjski. Podczas kilkunastoletniego pobytu we Francji nie nauczył się języka francuskiego, bo jak twierdził: „Надобности не было. В основном я общался только с русскими”⁷.

Wyrazem szczególnego rozumienia przez Władimira Maksimowa posłannictwa rosyjskiego emigranta było powstanie nowego emigracyjnego pisma – kwartalnika „Kontynent”. Od pierwszych chwil pobytu na emigracji pisarz starał się zrealizować swój główny cel – założyć czasopismo, które odróżniałoby się od innych tym, że skupiałoby wokół siebie przedstawicieli wszystkich krajów dotkniętych totalitaryzmem. Determinacja oraz charakterystyczna dlań niezależność i indywidualizm sądów pomogły mu w zaistnieniu najukochańszego dziecka – kwartalnika „Kontynent”, redagowanego przez pisarza w latach 1974–1992. Sponsorem kwartalnika został Axel Springer, niemiecki potentat prasowy. Zobowiązał się on do utrzymywania pisma do końca swojego życia. Zdecydował o tym przypadek. Pewnego razu Maksimow pozwolił sobie na ostrą krytykę i podważanie programu polityki wschodniej niemieckiego kanclerza Willego Brandta, co bardzo przypadło do gustu Springerowi. Tak więc sympatia potentata prasowego przełożyła się na realną. Lucjan Suchanek zauważył, że pojawienie się „Kontynentu” było: „Niezwykłej wagi wydarzeniem w życiu trzeciej fali

⁵ В. Иверни, *op. cit.*, s. 415–416.

⁶ Ibidem, s. 416.

⁷ П. Алешкин, *Каким я его знал*, „Литературная Россия” 1996, nr 13, s. 7.

emigracji”⁸. Jak napisał Andrzej Drawicz: „W numerze pierwszym program pisma sformułowano w czterech punktach: idealizm religijny, antytotalitaryzm, demokratyzm, bezpartyjność. Z biegiem czasu nacisk kładziony na punkt pierwszy jakby osłabł i pismo dba o zachowanie możliwie szerokiej formuły. Cechuje je również konsekwentny i dobrze wyargumentowany antykomunizm i zdecydowana niechęć do marksofilskich flirtów i umizgów, modnych przez pewien czas wśród zachodniej inteligencji”⁹. Należy zaznaczyć, że nonkonformista Maksimow publikował na łamach pisma swych oponentów, a nawet wrogów, pod warunkiem jednak, że prezentowane przez nich poglądy dalekie były od nacjonalizmu, szowinizmu, nie godziły w Rosję i naród rosyjski.

Kiedy po śmierci sponsora Axela Springera pismo przestało istnieć, redaktor postanowił przekazać tytuł kwartalnika przyjaciółom w Moskwie. Tak oto oceniał i podsumowywał pozycję, rolę, jaką odegrał „Kontynent” oraz postrzegał jego przyszłość Władimir Maksimow:

„Континент” получил всемирную известность. Это единственное периодическое издание третьей волны эмиграции, которое входит во все универсальные энциклопедии мира. Не литературные, заметьте, а именно универсальные. Думаю, что „Континент” в России еще найдет себя¹⁰.

Nowa wersja czasopisma okazała się kontynuacją założeń programowych określonych przez Maksimowa, którego następcą został Igor Winogradow.

Władimir Maksimow, podobnie jak Aleksander Sołżenicyn, nie wierzył w „socjalizm z ludzką twarzą”, przeciwstawiał się absurdom systemu totalitarnego. Według niego komunizm oznaczał negację świata uniwersalnych, chrześcijańskich wartości, w którym powinien zamykać się sens życia jednostek, społeczeństw, cywilizacji. Co interesujące, dla obu rosyjskich dysydentów złem była nie tylko fałszywa radziecka utopia, ale również konsumpcyjny, zamknięty na drugiego człowieka i system wyższych wartości kapitalizm. Maksimow po kilkunastu latach przebywania na Zachodzie udzielił w Polsce wywiadu, którego sens został ujęty przez Jadwigę Szymak-Rejferową następująco: „społeczeństwo tamtejsze cechuje coraz większa obojętność, myślowy bezwład, utrata zainteresowania wysoką kulturą. W demokratycznym społeczeństwie człowieka można zniszczyć również przy pomocy demokracji. Właściwie zachodnią demokrację

⁸ L. Suchanek, *Literatura jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy*, [w:] *Emigracja i samizdat. Szkic o współczesnej prozie rosyjskiej*, Kraków 1993, s. 18.

⁹ A. Drawicz, *Spór o Rosję*, Warszawa 1992, s. 82.

¹⁰ Ю. Рябинин, *Литература, там, где есть боль*, „Литературная газета” 1994, nr 10, s. 16.

Maksimow identyfikuje z socjalistycznym modelem, zgubnym dla osobowości ludzkiej, powiada też, że Szwecja przeraża go tak samo jak były ZSRR, że człowieka można zniszczyć zarówno w gułagu, jak i w supermarkecie. Przypominając ludową maksymę «Nie bój się gorącego, nie bój się zimnego, bój się ciepłego», pisarz twierdzi, że socjalistyczny model opiekuńczy to właśnie owo zgubne ciepło. Podobnie jak w wielu dotychczasowych wypowiedziach, Maksimow powtarza, że jego antykomunizm ma religijny, a nie polityczny charakter¹¹.

Rozczarowanie „zachodnim rajem”, a także cienie emigracyjnej rzeczywistości skłoniły Władimira Maksimowa do napisania słynnej, bo wywołującej liczne kontrowersje *Sagi o nosorożcach*. Za inspirację do napisania tego publicystycznego pamfletu posłużyła pisarzowi sztuka *Nosorożec* autorstwa Eugene’a Ionesco. Bohaterowie – „nosorożce” z Maksimowowskiej „sagi” – to rosyjscy i zachodni intelektualiści, artyści, pisarze o lewicowych sympatiach. Jak zauważyła Katarzyna Duda: „Gruboskórne nosorożce to alegoria hermetycznie zamkniętych w swych ciasnych horyzontach myślowych ludzi, niewykazujących woli otwarcia się na Prawdę, niepotrafiących wyciągnąć wniosków z doświadczenia narodów, które starały się wcielić w życie komunizm”¹². Właściwie przez cały czas swojego pobytu na emigracji Maksimow walczył z powszechnymi na Zachodzie mitami o utopii „socjalistycznego raju” i szczęśliwości jego mieszkańców. W *Sadze o nosorożcach* ostrze satyry dotknęło nie tylko naiwnych, niedoświadczonych przez realia komunizmu zachodnich intelektualistów, lecz także przedstawicieli emigracji rosyjskiej. Jednym z nich jest były biały generał, który:

[...] под старость в эмигрантском прозябании стал истекать охранительным патриотизмом. С атташе из советского посольства водой не разольешь, так сказать, два столпа великой державы, не мытьем так катаньем, сбылась голубая мечта: пол-Европы под сапогом у России, знай наших!¹³

Inny emigrant rosyjski ukazany w krzywym zwierciadle przez redaktora „Kontynentu” to:

¹¹ J. Szymak-Rejferowa, *Spotkanie z Władimirem Maksimowem*, „Literatura” 1993, nr 4(10), s. 17.

¹² K. Duda, *Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa*, Kraków 2001, s. 200.

¹³ В. Максимов, *Сага о саге...*, s. 22.

Трибун. Горлан. Главварь. Что хотите. Стихами буквально испражняется. Кипит благородным возмущением. Разоблачает. Клеймит. Кого? Кого угодно, кроме собственных носорогов в штатском. Что? Что угодно, кроме людоедства в собственной стране [...] – Проходит моя слава, как вода сквозь пальцы, – жалуется, болезный, приятелю, пропивая в лондонском кабаке гонорар за недавнее изобличение язв капитализма [...] ¹⁴.

Wymienieni rosyjscy emigranci z Maksimowowskiej *Sagi* symbolizują postawy konformistyczne, cechuje ich brak ideowości i kręgosłupa moralnego. Nie mają poczucia misji, nie walczą o Prawdę i Sprawiedliwość, nie dezawuuują mitów komunizmu. Przeciwnie, fakt, że są rosyjskimi emigrantami, traktują jako atut do jak najwygodniejszego urzędowania się na Zachodzie:

Теперь не редкость, когда очередной эмигрантский вояжер последнего призыва прежде, чем дать кому-либо интервью о политзаключенных или правах человека, заложив ножку на ножку, деловито заявляет: „Деньги на бочку!”. И стыдно, и горько и пакостно от всего этого на душе до невозможности ¹⁵.

Nie może zatem dziwić niesmak i oburzenie, jakie u tego człowieka zasad, który całe swoje emigracyjne życie poświęcił obronie takich wartości, jak: Prawda, Wolność, Sprawiedliwość, Wiara, Ojczyzna, wywoływały podobne postawy. Jak trafnie zauważyła Katarzyna Duda: „*Saga o nosorożcach* mogłaby zabrzmieć jako dramat samotności, gdyby nie stojący obok autora na owej zaludnionej pustyni «Josif Brodski, Wołodia Bukowski, Natasza Gorbaniewska, Emma Korżawin, Erik Nieizwiestny, Wika Niekrasow» (*Saga o nosorożcach*, s. 26)» ¹⁶. Po opublikowaniu *Sagi* zarzucano redaktorowi „Kontynentu” chamstwo, rusofobię, brak tolerancji. Niewielu odczytało właściwy przekaz tego pamfletu i starało się zrozumieć intencje autora.

W artykule *O дущденстве вообще* Władimir Maksimow wyraził myśl, że idee rosyjskiego ruchu dysydenckiego wpisują się w wielowiekowe tradycje rosyjskiej inteligencji, której duchowy fundament stanowiła wiara i uniwersalne wartości. Reakcją na naruszenie tychże wartości był zawsze sprzeciw rosyjskiej inteligencji. Autor *Sagi o nosorożcach* napisał:

¹⁴ Ibidem, s. 22–23.

¹⁵ Ibidem, s. 26.

¹⁶ K. Duda, op. cit., s. 206.

Этот фундаментальный „символ веры” заложен в основе лучшей русской литературы и общественной мысли от Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского до Соловьева, отца Сергея Булгакова, Лосского и Бахтина¹⁷.

Odejście od tradycyjnych wartości, zdaniem pisarza, spowodowało moralny upadek. Następstwem tego okazał się system totalitarny i jego zgubne skutki (autor wymienia gułag, miliony ofiar, duchowe i materialne zubożenie społeczeństwa)¹⁸. Stąd, jak dalej zauważył rosyjski dysydent:

Цель нашего диссидентства не в завоевании политической власти, а в изменении нравственной атмосферы внутри общества, которое, разумеется, в случае успеха, сможет само по себе привести к изменению его политической структуры. И в этом, на мой взгляд, коренное отличие нашего Сопротивления от левой и правой оппозиции на Западе. Недаром Владимир Буковский исчерпывающе определил кредо русского демократического движения: „Мы не из левого, мы не из правого лагеря, мы – из концлагеря”¹⁹.

W przytoczonym fragmencie Władimir Maksimow wyraźnie określa, na czym powinna polegać misja rosyjskiego dysydenta-emigranta (jak wiadomo, większość dysydentów zostało zmuszonych do emigracji). Uważa, że prawdziwe (nie zmierzające wyłącznie do orwellowskiej zamiany miejsc) rewolucje dokonują się w ludzkim wnętrzu, a zatem najważniejszym zadaniem jest uświadomienie rosyjskiemu społeczeństwu jego opartej na wierze prawosławnej tradycji, obudzenie w pojedynczych ludziach pragnienia powrotu do sprawdzonych, uniwersalnych wartości. Maksimow w dysydentach-emigrantach widział spadkobierców duchowego dziedzictwa rosyjskiej inteligencji, a zarazem swoich następców – wyrażających sprzeciw wobec zniewolenia, przemocy, niesprawiedliwości itp.

W *Цене нашего изгнания* Maksimow wyjaśnił, że emigracji rosyjskiej nie da się porównać z żadną inną. Na pytanie dziennikarza o to, czym różni się emigracja amerykańskich pisarzy lat 20. w Paryżu od trzeciej fali rosyjskiej emigracji, odpowiedział: „[...] тем же, чем путешествие отличается от бегства”²⁰. Według autora *Sagi o nosorożcach*, nie można porównywać przedstawicieli emigracji zachodnich z emigrantami rosyjskimi, ponieważ nie zostali oni, tak jak emigranci rosyjscy, wyrwani z korzeniami ze swojej wielowiekowej cywilizacji, kultury. Ta specyficzna sytuacja rosyjskich emigrantów tłumaczy ich problemy z adaptacją, nostalgię i nieustanne zwracanie się ku przeszłości:

¹⁷ В. Максимов, *О диссидентстве вообще*, [w:] *Публицистика...*, s. 113.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem, s. 113–114.

²⁰ В. Максимов, *Цена нашего изгнания*, [w:] *Публицистика...*, s. 148.

Мы же – дети России, слепенные из восточного теста, лишь взошедшего на западных дрожжах, зачастую сами того не сознавая, вывозим оттуда, вместе с самими собою, свои индивидуальные острова собственной родины и продолжаем здесь жить на этих островах, не сливаясь с окружающим нас миром. Мы живем памятью, а памятью нельзя жить до бесконечности²¹.

W świetle powyższego emigranci rosyjscy nie asymilują się do nowych warunków na obczyźnie, lecz niejako „przenoszą” swoją ojczyznę na obcy grunt, współtworząc swoisty „rosyjski archipelag”.

W artykule *Цена нашего изгнания* Władimir Maksimow wyraził pogląd, że pobyt na emigracji, specyficzna sytuacja, w jakiej dysydenci rosyjscy znaleźli się nie z własnej woli, jest dla nich pewnego rodzaju testem postaw i wyborów życiowych. Wielu spośród tych, którzy w ojczyźnie zawodowo zajmowali się literaturą, na emigracji porzuciło twórczość na rzecz innych, często bardziej dochodowych zajęć:

Следовательно, литература для них была не призванием, а лишь наиболее доступной им формой социального самоутверждения в условиях тоталитарного общества²²

– skonstatował Maksimow. Pisarz zwrócił też uwagę na fakt, że niektórzy rodacy-emigranci na obczyźnie łamią elementarne zasady ludzkiej przyzwoitości tylko po to, by utrzymać się na fali i przetrwać. Redaktor „Kontynentu” miał tu na myśli nieczystą, bo opartą na insynuacjach i intrygach konkurencję pomiędzy wydawnictwami emigracyjnych czasopism rosyjskich. W podsumowaniu *Цены нашего изгнания* publicysta napisał:

К сожалению, эмиграция – понятие не столько социальное или политическое, сколько психологическое. Это прежде всего – психология побежденных, которая живет жаждой отмщения²³.

Podkreślił, że z pospolitego pragnienia zemsty nie narodzą się wielkie dzieła literatury rosyjskiej. Wypowiedź tę można zinterpretować jako apel do emigrantów o to, by nie zwracali się wciąż ku przeszłości, lecz zaczęli budować nową rzeczywistość w oparciu o chrześcijańskie wartości miłosierdzia i przebaczenia.

Należy zaznaczyć, że niekiedy ostry ton publicystycznych wypowiedzi Władimira Maksimowa na temat emigracji i braci emigrantów nie wynika ze zgorzknienia czy też zwykłej złośliwości ich autora. Jak już podkreślano, życie Maksi-

²¹ Ibidem, s. 149.

²² Ibidem.

²³ Ibidem, s. 152.

mowa na emigracji wypełniała głęboka troska o losy ojczyzny. Krytyczne, szczere do bólu wypowiedzi należy uznać za przejaw tej troski. Pomimo pewnych uwag o negatywnym wydźwięku, pisarz doceniał znaczenie i osiągnięcia rosyjskich emigrantów. Sprzeciwiał się bezpardonowej, bezpodstawnej krytyce wybitnych przedstawicieli rosyjskiej emigracji, nie rozumiał niczym nieusprawiedliwionych aktów „samobiczowania” rosyjskich intelektualistów, niepotrzebnie uderzających w rosyjski naród i jego kulturę. W artykule *В думы отечества* autor postawił pytanie retoryczne:

Откуда в нас этот комплекс неполноценности? Ведь мы не оказались (за редким исключением) побежденными жизнью и обстоятельствами. Среди нас два нобелевских лауреата по литературе, артисты и художники с мировыми именами, ученые, инженеры и журналисты, утвердившие себя на Западе на самом высоком профессиональном уровне. Даже свои миллионеры есть. И немало²⁴.

Przytoczony fragment oddaje obraz rosyjskiej emigracji widzianej przez jednego z jej najbardziej zasłużonych przedstawicieli – Władimira Maksimowa.

O wiele bardziej pesymistyczny wizerunek rosyjskiej emigracji naszkicował pisarz w swoim prozatorskim utworze *Wędrowanie ku śmierci* (*Кочевание до смерти*). Dominuje tam poczucie beznadziei i bezsensu, które zawładnęły Maksimowem w ostatnich latach życia. Egzystencja głównego bohatera, Michaiła Mamina, to pełne rozczarowań i goryczy „koczowanie ku śmierci”. Źródłem rozczarowań jest najczęściej drugi człowiek. Na kartach katastroficznego utworu Maksimowa można znaleźć wiele negatywnych konstatacji na temat ludzkości. Oto przykład jednej z nich:

Mam za sobą zbyt dużo doświadczeń, by wciąż jeszcze mylić się w ocenie *homo sapiens*. Żyjąc na ziemi, ta istota z biegiem czasu ulegała coraz większemu zepsuciu i zdziczeniu. Moim zdaniem żadna religia ani kultura nie jest w stanie naprawić tej upadłej natury, tym bardziej władza, choćby nawet była anielska²⁵.

Jak widać, jedną z przyczyn krytycznego obrazu rosyjskiej emigracji w *Wędrowaniu ku śmierci* jest utrata przez pisarza wiary w człowieka w ogóle, w możliwość jego duchowej przemiany.

²⁴ B. Максимов, *В думы отечества*, [w:] *Публицистика...*, s. 283.

²⁵ W. Maksimow, *Wędrowanie ku śmierci*, przekład H. Broniatowska, Warszawa 2003, s. 90.

Powieść *Wędrowanie ku śmierci*, podobnie jak napisana dużo wcześniej *Saga o nosorożcach*, wywołała falę emocji w środowisku emigranckim. Jak zauważyła Alicja Wołodźko-Butkiewicz: „Maksimow nieznacznie tylko zmienił nazwiska portretowanych postaci – łatwo można się domyślić, z kim przestaje Mamin. Oto np. emigrant zwany Wadimem, piszący szczere, lecz naiwne wiersze: apogeum jego biografii stanowiły «trzy minuty na placu Czerwonym, za co wpakowali go do łagru» (s. 32), o których opowiadał potem bez końca – to bez wątpienia Wadim Delone (s. 29), Sasza Gorelin, moskiewski bard, równie sławny jak George Brassens lub Jacques Brel we Francji, to oczywiście Aleksander Galicz, Lowa Samsonow to Maksimow, Lew Tregubow, kuzyn Mamina z Moskwy, grubas w okularach, który udzielił mu pomocy po powrocie z łagru – Jurij Trifonow. Leciwa arystokratka, którą Mamin odwiedza raz na miesiąc, autorka 17 wydanych książek «stara eurazjatka» lubiąca opowiadać o swojej znajomości z Nabokovem i o pretensjach do Sołżenicyna to Zinaida Szachowska, intrygant i donosiciel Kuczkin – Gładilin (s. 298 – głos Kuczкина: «Priwiet, starik! Ty znajesz, skotina Dżon ubił mienia!», Gładilin jest autorem powieści *Mienia ubił skotina Piell!*; rozszyfrowują tę postać również informacje o jej życiu rodzinnym), skandalista i cynik Ananasow to naturalnie Eduard Limonow”²⁶.

Dotknięty krytyką emigracyjny światek nie zauważył, że Władimir Maksimow w *Wędrowaniu do śmierci* nie pominął także własnej skromnej osoby. Jednego z bohaterów obdarzył swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem – Lew Samsonow. Nie sposób nie docenić złośliwej autoironii Maksimowa i dystansu do siebie jako pisarza w następującym fragmencie:

Zapamiętałem go jako sarkastycznego pijaczka, który przy biesiadnym stole popisywał się zawsze tym samym powiedzonkiem: „Na tym świecie wszystko oprócz moczu to gówno, ale specjalna analiza widmowa wykazała, że mocz to także gówno”. Nic nie zapowiadało jego przyszłej metamorfozy. Publikował coś z rzadka nawet z pewnym sukcesem, coś tam wystawiał w teatrze, współpracował z filmem, dla chleba tłumaczył z „rybek”, ale znany był głównie z pijackich ekscesów i publicznych wybryków. Wszystko wskazywało raczej na to, że czeka go los wielu literackich świetlików, gasnących bez śladu w krzykliwym tłoku targowiska próżności²⁷.

Środowisko emigracji z *Wędrowania do śmierci* to grupa ludzi wzajemnie ze sobą skłóconych, przepełnionych pretensjami do innych i całego świata, są wśród nich zakompleksieni nadwrażliwcy z niespełnionymi aspiracjami, zwykli

²⁶ A. Wołodźko, *Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji*, Warszawa 1995, s. 94.

²⁷ W. Maksimow, *Wędrowanie ku śmierci...*, s. 89.

konformiści, szpiedzy, nałogowi alkoholicy. Treść ich życia to samotne „koczowanie ku śmierci”. Paryż nie stał się dla nich drugim domem. Wszak według Maksimowa:

Emigracja – to getto dla przegranych, przystulek dla uciekinierów, enklawa bankructw. Tu, jak na wojnie lub w obozie, wyłazi z człowieka zwierzę, którego całe jestestwo skupia się na jednym celu – przeżyć. Stąd chorobliwe roszczenia, by uchodzić za coś lepszego niż się jest w istocie, maniakalna nieomal podejrzliwość²⁸.

W emigracyjnej rzeczywistości, według powyższego, królowało „prawo dżungli”, a emigranci-dysydenci to „mieszana grupa drapieżników: lwy i mendy”²⁹.

Jak słusznie zauważyła Katarzyna Duda: „Maksimow dzieli emigrantów na kilka kategorii. Wyróżnia emigrantów historycznych, ale piszących horrory, emigrantów z przerostem ambicji, uważających, iż na ich twórczości kończy się historia literatury światowej. Wśród uchodźców są również i tacy, u których nastąpiła atrofia twórcza: nic poza Rosją nie może być dla nich źródłem inspiracji i natchnienia. Są tu i marionetkowi dysydenci-cierpiętnicy, zarabiający duże pieniądze, wygłaszający w studiach telewizyjnych i radiowych tyrady o ciosach zadawanych im przez komunizm, co nie przeszkadza wypełniać im innej, równie dobrze płatnej funkcji: donosić na swych współbraci. Znaleźli się na Zachodzie i różnego kalibru agenci, związani z organami radzieckimi i obcym wywiadem. [...] Obok donosicieli i agentów na wygnaniu znalazło się mnóstwo proroków, wieszczących rychły upadek totalitaryzmu i powrót caratu (na tronie widzieliby najchętniej siebie) i kasandrycznych „mędrców”, rozprawiających o mającym nadejść końcu świata”³⁰. Spoiwem łączącym tę zróżnicowaną grupę jest – pomimo pozornych nawet sukcesów – frustracja, nostalgia, poczucie niespełnienia i, ostatecznie, miejsce spinające niczym kłamrą ich „poszarpane” losy – podparyski cmentarz.

W *Wędrowaniu ku śmierci* wyłania się obraz emigracji rosyjskiej nie jako „Rosji w miniaturze”, autor skoncentrował się bowiem na najciemniejszych stronach braci-emigrantów. Choć z pewnością w skrajnie krytycznej ocenie Maksimowa można by doszukać się dużo prawdy, to jednak portret emigracji rosyjskiej naszkicowany przez pisarza w *Wędrowaniu ku śmierci* nie jest całościowy. Zabrakło w nim właściwych proporcji pomiędzy „blaskami” i „cieniami”

²⁸ Ibidem, s. 31.

²⁹ Ibidem.

³⁰ K. Duda, op. cit., s. 126–127.

w ocenie emigrantów i emigracyjnej rzeczywistości. Ukazanie przez pisarza rosyjskiej emigracji w krzywym zwierciadle było zabiegiem zamierzonym. Alicja Wołodźko-Butkiewicz o *Wędrowaniu ku śmierci* napisała: „Jest to współczesna powieść z kluczem, rodzaj drapieżnego pamfletu”³¹.

Temat emigracji i emigrantów znalazł swoją kontynuację w dramaturgii Władimira Maksimowa. Jak napisał w swojej książce poświęconej współczesnej dramaturgii rosyjskiej Walenty Piłat: „W sztuce *Berlin u schyłku nocy* Maksimow zda się rozbijać ukształtowane wcześniej mity i stereotypy, a zwłaszcza te, które lansowały opinię, że emigrant to męczennik o niczym innym nie myślący, jak tylko o białych brzożach i bezkresnych przestrzeniach, ogarnięty miłością do matki-Rosji. To sentymentalno-romantyczne widzenie obrazu emigranta szczególnie irytuje autora *Siedmiu dni tworzenia*”³². Podobne zdanie prezentuje Katarzyna Duda, która zauważyła, że: „Uwaga Maksimowa dramaturga koncentruje się, odmiennie niż w prozie i publicystyce, na przedstawicielach tzw. emigracji ekonomicznej: ludziach podążających za łatwym zarobkiem, korzyścią materialną, zyskiem, gotowych za judaszowe srebrniki zdradzić swoją ojczyznę (Fiedia i Wasia z dramatu *Berlin o wschodzie słońca*). Dokonuje się więc w tych utworach zburzenie pewnych mitów, wedle których do wyjazdu na Zachód zmuszani byli sami «męczennicy» i nieprawomyślni systemu”³³.

Nawiązując do powyższego, Maksimow w swojej dramaturgii uszczegółowił naszkicowany w publicystyce i prozie obraz emigracji rosyjskiej. W dramatach: *Berlin u schyłku nocy* i *Kto się boi Raya Bradbury’ego* pisarz zwrócił uwagę także na te cechy rosyjskiej emigracji, które poddawał krytyce w publicystyce i prozie, jak chociażby nieumiejętność oderwania się od przeszłości i odnalezienia prawdziwego szczęścia poza ojczyzną, naiwna wiara, że Zachód to Ziemia Obiecana, prawdziwa enklawa wolności, demokracji, dobrobytu. Według pisarza emigranci na obczyźnie traktowani są jako przedstawiciele nieznaney cywilizacji, która rządzi się niezrozumiałymi prawami (badacze zauważają nawiązania do *Kronik marsjańskich* autorstwa Raya Bradbury’ego). Za konkluzję rozważań poświęconych obrazowi emigracji rosyjskiej w dramatach Władimira Maksimowa najlepiej posłużą słowa Walentego Piłata: „Trzeba generalnie stwierdzić, że Maksimow, mimo emigracyjnego stażu, ma jednocześnie dość jednoznaczne i chyba negatywne zdanie o rosyjskiej emigracji, zwłaszcza tej najnowszej”³⁴.

³¹ A. Wołodźko, op. cit., s. 93.

³² W. Piłat, *Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte*, Olsztyn 1995, s. 132.

³³ K. Duda, op. cit., s. 178–179.

³⁴ W. Piłat, op. cit., s. 130.

Z całej twórczości Władimira Maksimowa: publicystyki, prozy, dramatu, a także z licznych udzielonych przez pisarza wywiadów wyłania się wielowarstwowy obraz emigracji rosyjskiej. Nie może on być do końca jednoznacznie pozytywny czy jednoznacznie negatywny. Jak wiadomo, emigracja jest zjawiskiem niejednorodnym, emigranci to przecież różni ludzie, reprezentujący niekiedy bardzo odmienne od siebie postawy. Należy przy tym podkreślić, że Władimir Maksimow był także częścią środowiska emigracyjnego i obok innych wybitnych emigrantów (m.in. Aleksandra Sołżenicyna, Andrieja Sacharowa) swoją literacką, redakcyjną działalnością, życiowymi wyborami, których podstawę stanowiło motto: „жить не по лжи”, znacząco wpłynął na ostateczny obraz fenomenu, za jaki niewątpliwie należy uznać „trzecią falę” rosyjskiej emigracji.

Резюме

Образ русской эмиграции в творчестве Владимира Максимова

Владимир Максимов в своей публицистике, прозе и драматургии посвятил немало места русской эмиграции. Писателя интересовала эмиграция как явление, в своем творчестве создал образ русской эмиграции, который можно назвать неоднозначным. Настоящая статья является попыткой представления образа русской эмиграции видевшей Владимиром Максимовым сквозь призму личного опыта, собственных наблюдений и размышлений.

Summary

The picture of Russian emigration in Vladimir Maximov's literary output

Vladimir Maximov in his journalistic writing, prose and dramaturgy has devoted considerable attention to the Russian emigration. The writer was interested in emigration as a phenomenon. In his literary output he outlined a picture of an emigration environment which can be referred to as ambiguous. The present article is an attempt at presenting a picture of the Russian emigration seen from the angle of Vladimir Maximov personal experiences, observations and considerations.

Key words: Vladimir Maximov, Russian emigration, „the third wave” of the Russian emigration, emigration journal „Kontinent”, journalistic writing, prose, Vladimir Maximov's drama.

Językoznawstwo

Roza Alimpijewa, Swietlana Babulewicz
Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta
w Kaliningradzie

Аксиологическая значимость авторской модальности в поэтических текстах Сергея Есенина

Как известно, каждая национальная картина мира включает в свою структуру определенную шкалу ценностей, составными компонентами которой являются индивидуальные, частные картины мира, соотнесенные с той или иной творческой личностью. И чем значительнее эта творческая личность, тем более близко она соотносится с картиной мира соответствующего народа. К числу таких личностей относится Сергей Есенин, по праву считающийся национальным русским поэтом. Именно поэтому картина мира, отраженная в его творчестве, своими истоками уходит в национальную картину мира и система ценностей, характеризующая творчество поэта, своими сущностными категориями связана с национальными духовными ценностями.

В плане вышесказанного вполне закономерным представляется обращение к авторской модальности, реализующейся в поэтических текстах С. Есенина, поскольку именно данная категория как „способ преломления авторского восприятия жизни в художественной форме”¹ позволяет в полной мере раскрыть план содержания и план выражения аксиологической парадигмы в произведениях поэта.

Важнейшим компонентом данной парадигмы, ее текстообразующим стержнем является любовь к родине, о чем непосредственно свидетельствуют как широко известное признание самого С. Есенина: „Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве”², – так и высказывания крупнейших исследователей творчества поэта. Так, например, Ю. Прокушев отмечает:

¹ О.Е. Вихрян, *Языковые средства выражения авторской модальности в романе И.А. Бунина „Жизнь Арсеньева”*. Автореферат диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва 1990, с. 6.

² Цит. по: Е. Наумов, *Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха*, Ленинград 1973, с. 339.

„О чем бы ни рассказывал поэт, даже в самые трагические дни своей жизни, светлый образ родины всегда ему был дорог и близок”³.

Свое отношение к родине поэт весьма часто выражает прямыми утверждениями, включающими глагол *любить* и его лексико-морфологические дериваты. Ср.: „Я люблю родину. Я очень люблю родину!” (*Исповедь хулигана*)⁴; „О Русь... Люблю до радости и боли...” (*Запели тесные дороги...*); „Я только тот люблю цветок, Который врос корнями в землю, Его люблю я и приемлю, Как северный наш василек” (*Цветы*); „Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах лонных” (*Край любимый! Сердцу снятся...*).

Реализация чувства любви к родине осуществляется в текстах лирических произведений С. Есенина и посредством словосочетаний высокой эмоционально-семантической направленности: *родимый дом* („Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь”); *родные поля* („Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой Надо мною звенеть тополя”); *милые березовые чащи* („Милые березовые чащи! Ты, земля! И вы, равнин пески!...”); и т.п. При этом значительное количество соответствующих экспликаторов авторской модальности в поэтических текстах С. Есенина составляют цветообозначения, раскрывающие земной многоцветный мир⁵: „О Русь – малиновое поле И синь, упавшая в реку, – Люблю до радости и боли Твою озерную тоску” (*Запели тесные дороги...*); „Стережет голубую Русь Старый клен на одной ноге” (*Я покинул родимый дом...*); „Ты ли Русь, тропой-дорогой Разметала ал наряд?” (*На плетнях висят баранки...*); „Гой ты, Русь, моя родная... Не видать конца и края – Только синь сосет глаза” (*Гой ты, Русь, моя родная...*); „Звени, звени, золотая Русь, Волнуйся, неумный ветер! Блажен, кто радостью отметил Твою пастушескую грусть” (*О верю, верю, счастье есть!*).

Через цветковые прилагательные раскрываются и фрагменты пейзажных образов, составляющие в совокупности есенинское представление о родине: „Вижу сад в голубых накрапах, Тихо август

³ Ю. Прокушев, *Родина и революция в творчестве Есенина*, „Литературная Рязань” 1957, кн. 2, с. 257.

⁴ Здесь и далее цит. по: С. Есенин. *Собр. соч. В 5 т.*, Москва 1961–1962. В круглых скобках указывается название стихотворения, из которого взята цитата.

⁵ См. об этом подробнее: С.Н. Бабулевич, *Цветообозначения как средство реализации концепта „Родина” в художественной картине мира С. Есенина*, Автореферат диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Калининград 2004.

прилег ко плетню...” (*Эта улица мне знакома...*); „Вот оно, глупое счастье С белыми окнами в сад! По пруду лебедем *красным* Плавает тихий закат” (*Вот оно, глупое счастье...*); „Далеко сияют *розовые* степи, Широко синее тихая река” (*Я иду долиной. На затылке кепи...*); „Низкий дом с *голубыми* ставнями, Не забыть мне тебя никогда...” (*Низкий дом с голубыми ставнями...*); „*Синий* май. Заревая теплынь. Не прозвякнет кольцо у калитки...” (*Синий май. Заревая теплынь...*); „Улыбнулись сонные березки... Шелестят *зеленые* сережки, И горят *серебряные* росы” (*С добрым утром!*).

При этом следует отметить, что не всегда пейзажи родины, запечатленные в поэтических текстах С. Есенина, выражают оптимистическое настроение лирического героя, среди них много таких, которые вызывают боль и сострадание. Однако репрезентация отрицательных пейзажей родины отнюдь не умаляет любви поэта к ней, что подчеркивается параллельным употреблением в рамках одного контекста оценочных и цветowych слов не только с отрицательной, но и положительной эмоционально-экспрессивной направленностью, например, глагола *любить*, его префиксальных и лексико-морфологических производных, а также притяжательного местоимения *мой*. Ср.: „*Полюбил я седых журавлей С их курлыканьем в тощие дали...*” (*Низкий дом с голубыми ставнями*); „*Ах, поля мои, борозды милые, Хороши вы в печали своей! Я люблю эти хижины хилые С поджиданьем седых матерей*” (*Русь*); „*Уж вечер. Жидкой позолотой Закат обрызгал серые поля*” (*Русь советская*); „*Ещё не высох дождь вчерашний – В траве зелёная вода! Тоскуют брошенные пашни, И вянет, вянет лебеда...*” (*Ещё не высох дождь вчерашний...*); „*О Русь!... люблю до радости и боли Твою озерную тоску*” (*Запели тесанные дороги...*); „*Черная, потом пропахшая выть! Как мне тебя не ласкать, не любить?*” (*Черная, потом пропахшая выть...*); „*Неприглядная дорога, Да любимая навек, По которой ездил много Всякий русский человек*” (*Мелколесье. Степь и дали...*); „*Край ты мой заброшенный, Край ты мой, пустырь, Сенокос некошенный, Лес да монастырь*” (*Край ты мой заброшенный...*).

Неотъемлемым структурно-содержательным элементом аксиологической парадигмы С. Есенина является его любовь к животным, о чем говорит он сам языком поэзии: „Я очень люблю родину! Хотя есть в ней грусти ивовая ржавь. Приятны мне *свиней испачканные морды* И в тишине ночной *звонящий голос жаб*” (*Исповедь хулигана*). И это трепетное чувство к „братьям нашим меньшим” получает яркую отраженность во многих стихотворениях Есенина. Ср.: „Я хожу в цилиндре не для женщин – В глупой

страсти сердце жить не в силе, – В нем удобней, грусть свою уменьшив, *Золото овса давать кобыле...*” (*Я обманывать себя не стану...*); „Каждому здесь кобелю на шею Я *готов отдать* мой лучший галстук” (там же); „Вспоминая запах навоза с родных полей, он [поэт, лирический герой – Р.А., С.Б.] *готов нести* хвост каждой лошади, Как венчального платья шлейф” (*Исповедь хулигана*). Отметим, что в двух последних из вышеприведенных примеров эмоциональная выразительность текста значительно усиливается за счет употребления экспликатора ситуативной модальности – краткого предикативного прилагательного *готов*, выступающего в сочетании с зависимым субъектным инфинитивом и выражающего совмещенное значение возможности /желательности⁶. Поэтому вполне естественно, что С. Есенин испытывает огромную радость по поводу того, что каждый стих его „душу зверя лечит” (*Я обманывать себя не стану...*). вполне естественно и то, что свою любовь к миру животных, свою способность любить этот мир он оценивает как одну из главных составляющих понятия счастья: „Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверье, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове” (*Мы теперь уходим понемногу...*); „Хорошо косою в утренний туман Выводить по долам травяные строчки, Чтобы их читали лошадь и баран” (*Я иду долиной. На затылке кепи...*).

Однако наиболее значимой составляющей аксиологической парадигмы в произведениях С. Есенина являются люди, трепетная любовь к которым проходит яркой линией через все его творчество. С этой точки зрения весьма показательно, что каждый человек осознается поэтом как прекрасный неповторимый цветок, что особенно ярко показано в стихотворении *Цветы*, где мы находим множество текстовых репрезентаций, в которых природа и человек сливаются воедино. Так, например, голова человека представляется поэту в образе золотой розы: „А люди разве не цветы? О милая, почувствуй ты, Здесь не пустынные слова. Как стебель тулово качая, А эта разве голова Тебе не *роза золотая*?... И потому, что я пою, Пою и вовсе не впустую, Я милой голову мою Отдам, как *розу золотую*” (*Цветы*). При этом соответствующее слияние настолько активно и значимо, что уже сами цветы, ассоциируясь с человеком, воспринимаются поэтом как что-то родное, близкое, способное защитить от невзгод окружающего

⁶ См. об этом подробнее: Р.В.Алимпиева, *Роль ситуативной модальности в реализации аксиологической бинарной модели „поэт – родина” в лирике С. Есенина*, [в:] *Модели в современной науке: единство и многообразие*, Сборник научных трудов, Калининград 2010, с. 207–208.

мира: „Цветы мои! не всякий *мог Узнать*, что сердцем я продрог, Не всякий этот холод в нем *Мог растопить* своим огнем” (Там же). Действительно, в содержательной структуре данного текстового отрывка именно цветы выступают как символ, помогающий сохранить в лирическом герое С. Есенина веру в добро и справедливость, способствуют осознанию истины человеческого существования как единой целостной модели: „Вот так же отцветем и мы И отшумим, как гости сада... Кошь нет цветов среди зимы, Так и *грустить* о них *не надо*” (*Мне грустно на тебя смотреть...*). В приведенных выше контекстах, как и во многих других, особую эмоциональную заданность обеспечивают экспликативные ситуативной модальности, например: глагол *мочь*, предикатив *надо*, предложно-именное сочетание *не в силах*, способствующие выражению основных моральных установок лирического героя (хочу – могу – должен)⁷.

Однако именно соответствующие глубинные размышления приводят поэта к осознанию недолговечности человеческой жизни, и в этом содержится одно из противоречий восприятия Есениным окружающего мира: с одной стороны, поэт стремится к мировой гармонии: „Жить нужно легче, жить нужно проще. Все принимая, что есть на свете...” (*Свищет ветер, серебряный ветер...*), – но, с другой стороны, как смертный человек земного мира он не может, не находит в себе силы согласиться с соответствующим предопределением. Такая философская раздвоенность вызывает искренние откровения поэта, по сути, перерастающие в духовный протест: „Милые березовые чащи! Ты, земля! И вы, равнин пески! Перед этим сонмом уходящих *Я не в силах скрыть* моей тоски”, „Знаю я, что не цветут там чащи, Не звенит лебяжьей шеей рожь. Оттого пред сонмом уходящих *Я всегда испытываю дрожь*” (*Мы теперь уходим понемногу...*). Эта краткосрочность, по сути, мгновенность, человеческого бытия, вызывает у С. Есенина пронизанное болью чувство безграничной любви к людям. Ср.: „Все успокоились, все там будем, Как в этой жизни радей не радей, – Вот почему так тянусь я к людям, Вот почему так люблю людей” (*Синий туман. Снеговое раздолье...*); „Знаю я, что в той стране не будет Этих нив, златящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, Что живут со мною на земле” (*Мы теперь уходим понемногу...*). И именно это всеобъемлющее

⁷ Об аксиологическом потенциале экспликативных ситуативной модальности как средства выражения авторской модальности см. подробнее: С.С. Ваулина, О.В. Девина, *Авторская модальность как текстообразующая категория (к постановке проблемы)*, „Вестник Российского государственного университета им. И. Канта”, Вып. 8: Филологические науки, Калининград 2010, с. 8–11.

чувство любви рождает в душе есенинского лирического героя страстное желание полного слияния с природой: „Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах лонных Я хотел бы затеряться В зеленях твоих стозвонных” (*Край любимый! Сердцу снятся...*); „Я хотел бы опять в ту местность, Чтоб под шум молодой лебеды Утонуть навсегда в неизвестность И мечтать по-мальчишески – в дым” (*Ты прохладой меня не мучай...*); „Ветры, ветры, о снежные ветры, Заметите мою прошлую жизнь. Я хочу быть отроком светлым Иль цветком с луговой межи” (*Ветры, ветры, о снежные ветры...*); „Помирился я с мыслями слабыми, Хоть бы стать мне кустом у воды...” (*Русь*).

Интересно отметить, что это слияние осуществляется и в другом направлении, когда явления окружающего мира уподобляются миру человека: „Стережет голубую Русь Старый клен на одной ноге” (*Я покинул родимый дом...*), „Зеленокошая, В юбчонке белой Стоит береза над прудом...” (*Мой путь*), „Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая березка, Что загляделась в пруд?” (*Зеленая прическа...*); „Я навек за туманы и росы Полюбил у березки стан, И ее золотистые косы, И холщовый ее сарафан” (*Ты запой мне ту песню, что прежде...*), „Улыбнулись сонные березки, Растрепали шелковые косы...” (*С добрым утром!*). Поэтому не случайно, что именно березы оплакивают предполагаемую смерть есенинского лирического героя, а значит, самого поэта: „Снежная равнина, белая луна, Саваном покрыта наша сторона. И березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?” (*Снежная равнина, белая луна...*).

Все вышесказанное означает, что любовь поэта к родине как основная аксиологическая категория авторской картины мира, по сути, приобретает в его творчестве онтологический характер, то есть определенную заданность свыше. А это значит, что поэт не может не любить свою родину, даже если бы он страстно захотел испытать соответствующее состояние. Действительно, любовь к Родине определяет сущность самого поэта: не будет этого чувства, не будет и поэта Сергея Есенина. Причем, осмысливая его, поэт осознает его как чувство не индивидуальное, а коллективное, что находит воплощение в одном из стихотворных посвящений любимой сестре Шуре (*В этом мире я только прохожий...*): „Потому и навеки не скрою, Что любить не отдельно, не врозь – Нам одною любовью с тобою Эту родину привелось” [предназначено свыше, судьбой – Р.А., С.Б.]; Ср. также следующее есенинское откровение: „Как бы я и хотел не любить, Все равно не могу научиться, И под этим дешевеньким ситцем Ты мила мне, родимая выть” (*Низкий дом с голубыми ставнями*).

В контексте вышеприведенных рассуждений излишним представляется и вопрос-раздумье лирического героя: „Но люблю тебя Родина кроткая, а за что – разгадать не могу...” (*Русь*). Действительно, лирический герой Есенина, являясь сыном своей Родины, любит ее не за что-то, а за то, что она (Родина) есть, что она предопределена ему свыше (как, например, было предопределено свыше чувство Татьяны Лариной к Евгению Онегину: „То в высшем суждено совете, То воля неба...”). При этом необходимо отметить и следующее: поэт никогда не согласится, пока жив, лишиться любви к своей родине, как бы трудна и тяжела она ни была: „И не отдам я эти цепи, И не расстанусь с долгим сном, Когда звенят родные степи Молитвословным ковылем” (*Запели тесаные дроги...*). При этом важно отметить, что эта любовь-предопределение неразрывно связана с верой поэта в свою родину, в ее будущее: „Холодной скорби не измерить, Ты на туманном берегу. Но не любить тебя, не верить – Я научиться не могу”, т.е. любить родину – значит, верить в нее, верить в ее будущее. Поэтому в самые страшные моменты русской истории, когда, по убеждению поэта, осуществляется жестокая схватка с „дьявольской силой”, наступающей на Русь, он все-таки, зная прошлое родины, продолжает верить в ее неминуемую победу над злом: „Жилист мускул у дьявольской выи, И легка ей чугунная гать. Ну, да что же? Ведь нам не впервые И расшатываться и пропадать” (*Мир таинственный, мир мой древний...*). А это значит, что в данном контексте реализуется убеждение поэта в том, что и на этот раз Россия должна выстоять. Данная позиция значительно усиливается отношением С. Есенина к людям, живущим с ним рядом в одной стране, которые гнутся, но не сгибаются, которых „не подмять, не рассеять” (как отмечает поэт в одном из стихотворений цикла *Москва кабацкая*) и которые в трудные минуты жизни вновь получают силы (будто бы свыше) для борьбы за будущее своей родины.

Таким образом, в этом пророческом определении судьбы бесконечно любимой Родины заключается суть аксиологической программы С. Есенина, передающейся всем строем его поэтической системы, среди структурно-содержательных компонентов которой ключевое место занимает авторская модальность.

Streszczenie

Aksjologiczne znaczenie modalności autorskiej w tekstach poetyckich Sergiusza Jesienina

W artykule ustala się znaczenie tekstowe modalności autorskiej w utworach poetyckich Sergiusza Jesienina jako sposób wyrażania paradygmatu aksjologicznego poety, którego najważniejszym składnikiem tekstotwórczym jest miłość do ojczyzny; określa się płaszczyznę wyrażenia i płaszczyznę treści danej kategorii aksjologicznej; rozważa się specyfikę rozumienia ojczyzny i analizuje się jej najbardziej częstotliwe wykładniki w tekstach lirycznych poety, wśród których występują oznaczenia kolorów i eksplikatory modalności sytuacyjnej.

Summary

Axiological value of the author modality in S. Esenin's poetic texts

The article states the text value of the author modality in S. Esenin's poetic texts as a means of expression of S. Esenin's axiological paradigm, the most important text-forming component of which is love to motherland; determines the plane of content and the plane of expression of the given axiological category; reveals the specifics of Esenin's awareness of the motherland and analyzes the most frequent means of its realization in the poet's lyric texts, including colour-nominators and explicators of situational modality.

Key words: author modality, text-forming function, axiological categories, artistic picture of the world, colour-nominators, explicators of situational modality.

Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler
Uniwersytet Warszawski

Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia

1. Czynniki warunkujące zmiany warsztatu glottodydaktycznego

Współczesna edukacja wygląda inaczej niż ta, którą pamiętamy z własnych szkolnych doświadczeń. Na jej zmianę wpłynęły nie tylko nowe odkrycia w zakresie mechanizmów decydujących o tym, jak człowiek się uczy, ale również rozwój technologii informacyjnej, który zdecydowanie zmienił sposób funkcjonowania i komunikowania się ludzi. Różnorodność zachodzących przemian w dobie cywilizacji medialnej opartej na społeczeństwie informacyjnym i wszechobecności środków masowego przekazu stawiają przed współczesnym nauczycielem języka obcego nowe wymagania. Wymuszają bowiem konieczność modyfikowania warsztatu glottodydaktycznego, którego zasadniczą cechą dzisiaj musi być ciągłe dostosowywanie się do nowych warunków nauczania oraz do możliwości i potrzeb osób uczących się.

Dzisiejsi studenci różnią się od swoich rówieśników sprzed 10–15 lat, ale nie są to różnice, które w naturalny sposób występują między pokoleniami. Generacja, która wyrosła z komputerami, Internetem, telefonami komórkowymi, urządzeniami cyfrowymi, to inni ludzie. Marc Prensky w artykule *Digital Natives, Digital Immigrants* określa ich jako pokolenie rdzennie digitalne w odróżnieniu od starszych pokoleń, które wprawdzie oswajają nowe technologie, ale pozostają jedynie digitalnymi adeptami. Przedstawiciele pokolenia digitalnego inaczej niż ich poprzednicy odbierają i przetwarzają informacje. Różnice te wynikają z odmiennie ukształtowanych mózgów, których struktura powstała pod wpływem nowych sposobów socjalizacji i nowych sposobów poznania świata. Chodzi oczywiście o poznanie za pomocą nowych technologii, które wykształciły plastyczność mózgu, ale zredukowały czas poświęcany na kontakty z ludźmi¹. Digitalni z łatwością potrafią robić kilka rzeczy naraz, przyswoili sobie bowiem

¹ Zob. [online] <www.marcpremsky.com/writing/premsky>.

cechę systemu operacyjnego umożliwiającą równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu, dlatego określa się ich jako wielozadaniowców. Dłuższe skupienie się na jednym zadaniu wymagającym linearnego przetwarzania jest za to dla nich dużym wyzwaniem sprawiającym sporo trudności. Wniosek stąd oczywisty – w sali zajęciowej spotykają się już nie tylko przedstawiciele różnych pokoleń, ale osobnicy o odmiennie ustrukturyzowanych mózgach, inaczej postrzegający świat i inaczej przetwarzający informacje. To, co dla nauczających jest oczywiste, dla nauczanych jest czymś nieprzydatnym, anachronicznym i męczącym.

Charakteryzując sylwetki dzisiejszych studentów, trzeba też uwzględnić efekty nauczania na niższych poziomach edukacyjnych, z jakimi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych trafiają na uczelnie. Na skutek zmian w programach i systemach szkolnych w placówkach oświatowych przeznaczają się coraz mniej czasu na działania twórcze po to, by przygotować uczniów do zdawania ustandaryzowanych testów. W rezultacie młodzi ludzie stają się odtwórcami wiedzy, a ich zadaniem jest trzymanie się schematów i udzielanie najbardziej typowych odpowiedzi. Ogranicza to realizację najważniejszych celów formułowanych dziś w dydaktyce języków obcych, jakimi są rozwijanie samodzielności, twórczej postawy wobec rzeczywistości, planowania i organizowania własnej nauki, skutecznego porozumiewanie się, tolerancji wobec stanowiska innych, współpracy w grupie, korzystania z różnych źródeł i metod zdobywania wiedzy, praktycznego stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności. Pewien automatyzm działań, nabyty na niższych poziomach edukacyjnych, nie sprzyja kreatywności w uczeniu się języka.

Przed nauczycielem języka obcego piętrzą się zatem wyzwania, które zmuszają go do modyfikacji warsztatu glottodydaktycznego. Mają na to również wpływ szeroko omawiane obecnie kwestie jakości kształcenia i wykorzystania najskuteczniejszych technik kształcenia skorelowanych z osiągnięciami nowych technologii.

Od 1 października 2012 r. w każdej szkole wyższej w Polsce realizowane są nowe programy kształcenia, w których ramowe treści zastąpiono opisem weryfikowanych efektów. Zgodnie z założeniami projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym mają stać się narzędziem poprawy jakości kształcenia, a oczekiwanymi skutkami ich wprowadzenia ma być międzynarodowa transparentność i porównywalność systemów szkolnictwa wyższego oraz uzyskiwanych w tych systemach kwalifikacji. Na studiach filologicznych pierwszego stopnia w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego określono m.in. następujące kierunkowe efekty kształcenia:

1) w zakresie wiedzy student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat kierunków współczesnego rozwoju języka rosyjskiego;
- ma usystematyzowaną wiedzę o współczesnych realiach kulturowych, społecznych, politycznych, narodowościowych i gospodarczych Rosji;
- posiada ogólną wiedzę o rosyjskich tradycjach i zwyczajach, w tym o tradycji prawosławnej;
- zna i rozumie specyfikę folkloru rosyjskiego oraz charakter jego powiązań z literaturą i językiem;
- zna i rozumie związek między rosyjską formą wewnętrzną słowa a rosyjską kulturą i mentalnością;

2) w zakresie umiejętności student:

- ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i w piśmie zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- umie wyjaśnić i porównać fakty i zjawiska literackie, kulturowe i realioznawcze obszaru Rosji i Polski;
- potrafi powiązać przemiany w rosyjskiej kulturze, literaturze oraz w języku rosyjskim z założeniami światopoglądowymi oraz uwarunkowaniami w życiu społeczno-politycznym epoki;
- umie wyjaśnić i wykazać związek pomiędzy formą wewnętrzną słowa a rosyjską kulturą i mentalnością;
- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii rosyjskiej w języku rosyjskim i polskim.

Przy tak określonych efektach nauczania języka rosyjskiego na studiach filologicznych I stopnia zasadniczego znaczenia w procesie dydaktycznym nabiera aspekt kulturologiczny nauczanego języka. Gwarantuje on bowiem gruntowne opanowanie języka rosyjskiego poprzez poznanie światopoglądu rodzimych jego użytkowników. Przekazywanie informacji kulturowych i treści pozajęzykowych w nauczaniu języka rosyjskiego pozwala wyposażać uczących się w kompetencję kulturologiczną będącą komponentem kompetencji komunikacyjnej. W nauczaniu języka rosyjskiego z perspektywy kulturologicznej zwraca się szczególną uwagę na praktyczne aspekty integracji i akulturacji polskich studentów.

2. Akademyki nauczyciel języka rosyjskiego i jego warsztat pracy

Współczesny akademicki nauczyciel języka rosyjskiego, podobnie zresztą jak każdy inny nauczyciel, który chce sprostać wymaganiom czasu, musi umieć wywiązać się z wielu zadań, jakie stawia przed nim proces dydaktyczny. Powinien zatem być ekspertem w swojej dziedzinie, tzn. posiadać dobre przygotowanie merytoryczne, znać wymagania programowe i łączyć je z potrzebami studentów, co znaczy, że należy dostosowywać materiały dydaktyczne (teksty, ćwiczenia) i techniki pracy z nimi do aktualnych potrzeb osób uczących się. Nauczyciel powinien być decydem, tj. podejmować decyzje odnośnie proponowanych treści, zadań, korekty błędów, wyboru metod sprzyjających autonomii, czyli koordynować wszelkie działania podejmowane w trakcie trwania procesu dydaktycznego w sali zajęciowej i poza nią. Nauczyciel powinien być jednocześnie motywatorem i mediatorem w procesie dydaktycznym, tzn. musi szukać sposobów motywowania do nauki oraz pośredniczyć w pokonywaniu wszelkich trudności (językowych, kulturowych), aby pomóc uczącym się w osiągnięciu wysokich kompetencji językowych. Inspirująca rola nauczyciela akademickiego w procesie dydaktycznym sprowadza się do rozbudzenia ciekawości studentów, rozwijania ich samodzielności oraz tworzenia warunków do edukacji formalnej i kształtowania potrzeby uczenia się przez całe życie.

Zgodnie z najnowszymi koncepcjami w glottodydaktyce, w repertuarze działań nauczycieli akademickich powinny się znaleźć role charakterystyczne dla tutora, coacha i mentora.

Istotą tutoringu jest prowadzenie edukacji zindywidualizowanej, polegającej na bezpośrednim spotkaniu ze studentem. Tutor wspiera podopiecznego w wybranym obszarze wiedzy, pomaga rozwijać umiejętność samodzielnego jej zdobywania, wskazuje możliwości pogłębiania i wykorzystywania własnych zdolności i talentów. Współpraca w ramach tutoringu zakłada kilka koniecznych działań. Przede wszystkim jest to poznanie mocnych i słabych stron studenta, jego stylów poznawczych i celów życiowych. Następnym krokiem powinno stać się wyznaczenie wspólnych celów edukacyjnych oraz zaplanowanie ciągu działań, które doprowadzą do ich realizacji. Ważnym elementem wspólnej pracy jest podsumowanie osiągniętych efektów. Tutoring sprzyja samodzielności, samorganizacji pracy studenta, daje możliwość konsultowania wyników pracy, uczy efektywnego korzystania z własnej wiedzy.

Coaching to pojęcie, które ze sportu przeniknęło do wielu dziedzin życia, w tym do edukacji. Istnieje wiele rodzajów coachingu (np. menedżerski, biznesowy, organizacyjny, strategiczny itd.), a co za tym idzie – wiele definicji tego

zjawiska. Łączy je niewątpliwie forma swoistego dialogu, mającego na celu pomóc osobie uczącej się, by stała się efektywniejsza w działaniu i wykorzystywała cały swój potencjał. Ten dialog (współdziałanie) powinien odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku, empatii i zaufania oraz pełnego zaangażowania obu stron. Występując w roli coacha, nauczyciel akademicki wspiera studenta w procesie planowania, wykorzystywania własnych doświadczeń, wzmacniania motywacji, doskonalenia nabytych umiejętności. Zastosowanie coachingu w edukacji wymaga od wykładowcy zmiany podejścia do studenta. Karolina Dorożała w publikacji *Coaching w edukacji wyższej – przykłady programów polskich i zagranicznych* obrazuje tę zmianę jako przejście od postawy „chcę Ci pokazać, jaki jestem mądry” do postawy „chcę Ci pokazać, jaki jesteś mądry”. Autorka za podstawę udanego coachingu uznaje rozmowę rozwojową ze studentem, która powinna mieć charakter ściśle ustrukturalizowany i składać się z następujących elementów: przeglądu doświadczeń, wychwycenia znaczenia, zaplanowania kolejnych kroków i zaangażowania się w późniejsze działania. Nauczyciel akademicki, który chce wykorzystywać w nauczaniu proces coachingu, powinien opanować sztukę aktywnego słuchania, nie bać się intuicyjnych działań, musi umieć udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, a także być człowiekiem asertywnym².

Oprócz roli tutora i coacha, nauczyciel coraz częściej pełni też rolę mentora, zwłaszcza w sytuacjach zaangażowania studenta wykraczającego poza schemat zwykłych zajęć. Nauczyciel wprowadza go wówczas w obszar do tej pory mu nieznany i dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem. Jerzy Semków zauważa, że: „w procesie edukacyjnym, którego finałem ma być «człowiek kulturalny» istotna rola musi przyspaść nauczycielowi-mentorowi. Nauczyciel-mentor – to nowa postać edukatora, to jest osoby, która rezygnuje z roli jedyne go nosiciela prawdy i skarbnicy wiedzy, wcielając się w postać powiernika i doradcy ucznia. Od jego nie tylko wiedzy o świecie, ale spokoju i pełnej gotowości do rozmowy z uczniem zależy powodzenie dyskursu edukacyjnego, którego interakcyjny charakter jest swoistym gwarantem pomyślności. Rola ta nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na gwałtowny rozwój elektronicznych środków przekazu, które umożliwiają uczenie na odległość. Nauczyciel-mentor ma bowiem do dyspozycji nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniem (*face to face*), lecz również może ten kontakt utrzymywać drogą elektroniczną przez Internet”³.

² Zob. [online] <<http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/wno3x1tnli5gbfq6frg8fsza7xh23z.pdf>> (dostęp: 11.07.2013).

³ Zob. J. Semków, *Szanse aktywności edukacyjnej w kształtowaniu człowieka kulturalnego; Znaczenie nauczyciela-mentora w dyskursie interakcyjnym*, [w:] *Uczelnia oparta na wiedzy*.

Przedstawione wyżej role edukatorów będzie mógł zrealizować nauczyciel, który oprócz odpowiednich kwalifikacji związanych z wiedzą i fachowością, posiada predyspozycje do pracy z młodzieżą, cechuje się kreatywnością, otwartością, taktem pedagogicznym i umiejętnościami interpersonalnymi.

Dynamiczny postęp w nauce i technice niejako skazuje współczesnego nauczyciela na ustawiczne doskonalenie się, dlatego też powinien on dołączyć do swojego spisu zadań role ewaluatora i innowatora. Coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że akademicki nauczyciel-dydaktyk powinien jeszcze posiadać umiejętność prowadzenia badań w działaniu, czyli trafnie i w miarę szybko umieć rozpoznawać sytuacje w grupie zajęciowej – zakłócenia procesu dydaktycznego i sytuacje sprzyjające rozwojowi umiejętności – aby wybrać i zastosować odpowiednie środki zaradcze lub włączyć do procesu dydaktycznego nowy usprawniający pracę element⁴. Tak liczne wyzwania stojące dziś przed nauczycielem oraz różnorodność ról, które ma on do odegrania w procesie dydaktycznym, przybliżają złożoność nauczania, trud bycia nauczycielem oraz odpowiedzialność i wyjątkowość tego zawodu.

Istnieje wiele charakterystyk sylwetek nauczycieli. Każda z nich przedstawia wykaz dominujących i niezbędnych cech, które można byłoby określić krótko: wysokie kompetencje. Stanisław Dylak ujmuje kompetencję jako wielce złożoną dyspozycję stanowiącą wypadkową wiedzy, umiejętności, postaw, motywacji, emocji i wartościowania. Zbigniew Kwieciński zwraca uwagę, że we współczesnym świecie istnieje konieczność „wykształcenia i doskonalenia nauczycieli o nowych, innych niż dotychczas kompetencjach. W sensie treści: bardziej łącznych niż wysoko specjalistycznych, bardziej otwartych niż zamkniętych, bardziej twórczych niż odtwórczych, a w sensie charakteru roli zawodowej – odchodzących od funkcji przekaziciela i egzekutora do roli przewodnika i tłumacza”⁵.

Współczesny nauczyciel języka rosyjskiego może stosować różne metody i rozmaite formy organizacyjne procesu dydaktycznego, każdorazowo dobierać je odpowiednio do celów i zadań, jakie za ich pomocą mają być realizowane.

Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod red. T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego, B. Mierzejewskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005, s. 39.

⁴ Por. W. A. Piegżik, *Nauczyciel – badaczem. Przykład wykorzystania metodologii badania w działaniu w pracy projektowej uczących się języka francuskiego*, [w:] *Nauczyciel języków obcych dziś i jutro*, pod red. M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej, Poznań – Kalisz 2009, s. 518–525.

⁵ Zob. Z. Kwieciński, *Tropy, ślady, próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza*, Poznań – Olsztyn 2000, s. 17.

W dobie digitalizacji i multimedializacji szczególnego znaczenia nabierają metody pracy z wykorzystaniem technik komputerowych. Ich zastosowanie stwarza w grupie zajęciowej oczekiwaną atmosferę odprężenia, wychodzi naprzeciw ulubionym formom pracy na wielu płaszczyznach jednocześnie. Nie do przecenienia są różnorodne możliwości dydaktyczne z zastosowaniem technik komputerowych, przede wszystkim dzięki temu, iż za ich pośrednictwem można stworzyć osobie uczącej się autentyczne sytuacje komunikacyjne oraz wizualnie wspierać proces nauczania języka. Wymogiem czasu staje się kolejne zadanie dla nauczyciela (nie tylko języka obcego) – powinien on być moderatorem procesu dydaktycznego wspieranego komputerowo.

Jak z tym wszystkim ma poradzić sobie akademicki nauczyciel-dydaktyk?

We współczesnej dydaktyce nie ma prostych i jednoznacznych recept. Dla każdej sytuacji dydaktycznej optymalne będzie inne rozwiązanie. Kompetentny nauczyciel zaplanuje czynności studenta i swoje systemowo, uwzględniając wszystkie zależności pomiędzy procesem nauczania i uczenia się. Nie istnieją rozwiązania doskonałe, które przyniosłyby wyłącznie korzyści. Każde rozwiązanie dydaktyczne wywołuje, oprócz skutków zamierzonych i oczekiwanych, niepożądane skutki niezamierzone, sprzeczne ze stawianymi celami lub w najlepszym razie wobec nich neutralne⁶. Dlatego szczegółowe opisy procesu dydaktycznego, powstające w ramach dyskutowanych obecnie kwestii zapewnienia jakości kształcenia, nie prowadzą do jego ulepszenia, pochłaniają natomiast czas, który nauczyciel mógłby spożytkować na analizę sytuacji, dobór i opracowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych. Kluczowym założeniem w procesie kształcenia powinno stać się podmiotowe i osobowe traktowanie człowieka (tak studenta, jak nauczyciela). Jest to idea edukacji humanistycznej, która zakłada wspieranie uczącego się w procesie poznawania i pogłębiania rozumienia mechanizmów własnego działania, umożliwianie mu nabywania umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie wielokulturowym i w dążeniu do samodzielności i samorealizacji, akceptowanie indywidualnych potrzeb i celów uczącego się, uwzględnianie ich podczas konstruowania programów edukacyjnych. Poszanowanie wolności, możliwość wyboru i przekraczania ograniczeń – to podstawowe wartości nowoczesnej edukacji. Niestety giną one w gąszczu przepisów, regulaminów i sztywnych ram, w które próbuje się wtłoczyć proces nauczania akademickiego.

⁶ Zob. E. Widota, *Przebieg i organizacja procesu kształcenia*, [w:] A. Siemak-Tylińska, E. Dębska, E. Widota, K. Pięrciński, *Dydaktyka szkoły wyższej*, Warszawa 2011, s. 56–65.

Wydaje się, że w edukacji na poziomie szkoły wyższej najwłaściwsze jest wykorzystanie elastycznych metod kształcenia i zindywidualizowanych form pracy. W przypadku nauczania języków obcych realizację wymienionych założeń zapewnia zastosowanie w procesie kształcenia eklektycznego podejścia komunikacyjnego. Łączy ono w sobie elementy zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, niekonwencjonalnych metod nauczania. Nauczyciel akademicki powinien wykorzystywać elementy metody bezpośredniej, która koncentruje się na nauczaniu komunikacji i wypracowywaniu zdolności myślenia w języku obcym. Pomocne będzie tu zastosowanie nagrań, podcastów, programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów i audycji z Internetu. Metoda audiolingwalna, gramatyczno-tłumaczeniowa czy jej nowsza odmiana – metoda kognitywna też powinny znaleźć zastosowanie w podejściu eklektycznym. Wynika to z konieczności indywidualizacji nauczania, tj. uwzględniania w procesie glottodydaktycznym indywidualnych możliwości, umiejętności, stylów poznawczych i potrzeb studentów. Takie podejście wspiera teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zgodnie z którą przyjmuje się, że wszystkie typy inteligencji (językową, matematyczno-logiczną, muzyczną, przestrzenną, ruchową, interpersonalną i przyrodniczą) można rozwijać, a rozwój ten jest możliwy pod wpływem interakcji z otoczeniem. Wynika z tego jasno, że kreatywny nauczyciel akademicki musi korzystać także z innych, nawet niekonwencjonalnych metod nauczania języka, wybierając z nich te elementy, które zapewnią najbardziej optymalny przebieg procesu nauczania i będą sprzyjały jego uatrakcyjnieniu i urozmaiceniu.

We współczesnej praktyce dydaktycznej znajdują zastosowanie liczne niekonwencjonalne metody, do których należą m.in. metoda naturalna, *total physical response*, *the silent way*, *community language learning*, metoda elicytacji, metoda holistyczna, sugestopedia i inne.

Metoda naturalna, której autorami są Tracy Terrell i Steven Krashen, znana jest również jako *the natural approach*. Kluczem w tej metodzie jest słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych i rozumienie ich ogólnego sensu dzięki temu, że dotyczą znanej uczącemu się sytuacji, a także dzięki stosowaniu mimiki, gestów, powtarzaniu wypowiedzi w różnych wariantach. Najważniejszym celem jest osiągnięcie umiejętności porozumiewania się. Zakłada się, że może to nastąpić tylko wówczas, gdy całkowicie wyeliminowany zostanie stres, a ekspozycji na język towarzyszyć będą pozytywne emocje. W metodzie tej wyróżnia się następujące etapy pracy: wysłuchiwanie wypowiedzi, reagowanie ciałem na polecenia, odpowiadanie na proste pytania, stosowanie uproszczonych wyrażeń, udział w symulacjach i grach językowych, rozwiązywanie problemów. Nauczyciel stosujący tę metodę lub jej elementy powinien zwracać uwagę na stosowanie

maksymalnie dużej liczby naturalnych, prostych i sensownych wypowiedzi oraz działanie w atmosferze spokoju, bezpieczeństwa i pełnej aprobaty.

Total physical response (TPR), czyli metodę reagowania całym ciałem, opracował James Asher. Zakłada ona, że uczymy się i zapamiętujemy poprzez dwa rodzaje zachowań: przysłuchiwanie się i ruch fizyczny adekwatny do przekazywanych treści. Nauczyciel wydaje proste polecenia w języku obcym i demonstruje ich wykonanie. Metoda aktywizuje obie półkule mózgowe, dzięki czemu nauka przebiega szybciej, a materiał jest lepiej zapamiętywany. Oczywiście metoda jest odpowiednia dla początkowych etapów nauczania.

Metoda cichej drogi (*the silent way*) została stworzona przez Caleba Gattegno i zakłada, że nauka jest efektywna i zoptymalizowana, jeśli uczący się sam odkrywa i tworzy. Metoda ta stawia zatem na samodzielność i odpowiedzialność studenta. Kluczem do autonomii i samodzielności jest cisza jako narzędzie. Nowy materiał nauczyciel demonstruje zazwyczaj tylko raz, wykorzystując przy tym gesty, mimikę, mowę ciała, wykresy, diagramy, patyczki Cuisenaire’a. Potem stopniowo staje się postacią drugoplanową. Student, odkrywając możliwości drżące w języku, uczy się wykorzystywania go w różnych sytuacjach. Nauczyciel zaś koncentruje się głównie na postępach każdego studenta, a nie na perfekcji w wykonywaniu ćwiczeń czy poleceń.

Community language learning (CLL) to metoda nauczania języków stworzona przez Charlesa Currana, nazywana także „nauczaniem doradczym”. Według założeń tego modelu edukacyjnego nauka odbywa się w oparciu o techniki terapeutyczne. Wiodące znaczenie ma czynnik emocjonalny. Język ma służyć komunikowaniu się w rzeczywistych sytuacjach interesujących studenta. W związku z tym zajęcia powinny odbywać się w niewielkich grupach, których członkowie wchodzi w interakcje językowe i to tylko wtedy, gdy rzeczywiście odczuwają taką potrzebę. Nauczyciel jest w tym modelu doradcą, przyjacielem i obserwatorem.

Metoda elicytacji opiera się na założeniu, że student sam dojdzie do właściwych wniosków, analizując odpowiednio dobrane przykłady, posługując się kontekstem itp. Nauczyciel nie podaje więc gotowych odpowiedzi, konkretnych reguł i zasad, jednoznacznych norm i prostych wzorów. Metoda ta kształci samodzielność myślenia i działania, może mieć silne oddziaływanie motywacyjne. Polecana jest przede wszystkim na wyższych poziomach zaawansowania.

Metoda holistyczna zakłada, że proces uczenia się odbywa się nie tylko na poziomie intelektualnym, ale również emocjonalnym i fizycznym. Człowiek traktowany jest jako integralna całość złożona z rozumu, uczuć i ciała. Jeżeli pobudzimy uczucia i wyobraźnię uczącego się, to wówczas włączy on myślenie,

a to z kolei doprowadzi do spontanicznych działań. Metoda ta uwzględnia coraz większe znaczenie wiedzy międzykulturowej i międzyprzedmiotowej. Każde zajęcia powinny zawierać w sobie obowiązkowy element jakiejś zagadki lub intrygi – element organizujący zajęcia, będący punktem wyjścia do dalszych działań. Niewątpliwie metoda ta sprzyja kształtowaniu szerokich horyzontów myślowych, rozwija twórcze myślenie i osobowość studenta.

Sugestopedia stworzona została przez Georgi Lozanowa. Łączy nauczanie języka z technikami relaksacyjnymi, które mają ułatwić zapamiętywanie materiału. Zgodnie z założeniami, sztuki piękne są bardzo pomocne w nauce dzięki integracji sztuki i psychiki. Metoda ta umożliwia opanowanie słownictwa i ćwiczy komunikację, natomiast gramatyka pojawia się tylko w minimalnym zakresie, niejako przy okazji. W metodzie tej zakłada się dość dużą tolerancję dla błędów, a mało uwagi poświęca się formie – cała uwaga skupiona jest na komunikacji.

Współczesny nauczyciel akademicki jako dobry pedagog, obserwator i badacz powinien szybko zorientować się w predyspozycjach studentów i stworzyć im warunki do samorealizacji i osiągania sukcesów. Nie ma on prawa bagatelizować faktu, że obecna młodzież należy do zmedializowanej (wygenerowanej przez media) kultury. Młodzież na co dzień korzysta z telefonów komórkowych, komputerów, iPodów, odtwarzaczy mp3 i DVD. J. Morbitzer w referacie *Medialność a sprawność edukacyjna ucznia* zauważa, że dzisiejsze młode pokolenie jest pierwszym pokoleniem *homo mediens*. Funkcjonują i inne określenia odzwierciedlające silne zanurzenie młodych w świecie mediów, a zwłaszcza w Internecie: „dzieci sieci”, „pokolenie kopiuj-wklej”, „pokolenie kciuka”, „urodzeni z myszką w ręku”. Marc Prensky, amerykański badacz mediów, wprowadził pojęcie „cyfrowi tubylcy” (*digital natives*) na oznaczenie ludzi, którzy funkcjonują w opozycji do „cyfrowych imigrantów” (*digital immigrants*). Morbitzer zwraca uwagę na szczególną podgrupę cyfrowych tubylców, tzw. pokolenie „C” (*computerized, connected, always clicking*). Są to osoby, dla których Internet, sieć, portale społecznościowe są naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Bez niego nie wyobrażają sobie życia. Badacze zauważają, że taki styl życia powoduje zmiany w neuronalnej budowie mózgu, co pociąga za sobą zmiany w sposobie myślenia i przetwarzania informacji. Musi to rodzić poważne konsekwencje edukacyjne. Nauczyciel akademicki jest zatem zobligowany do zastosowania w ramach swojego warsztatu nauczania multimedialnego, do wykorzystania w nauczaniu założenia, że człowiek uczy się, robiąc cokolwiek, w każdej chwili i gdziekolwiek się znajduje. To tzw. teoria 3W (*whatever+whenever+wherever*). Stąd już tylko krok do idei LLL (*long-life-learning*), czyli idei permanentnej edukacji.

Резюме

*Новации в преподавании русского языка на практических занятиях
для студентов-филологов уровня бакалавриата*

В предложенной статье обсуждается роль открытий в области механизмов, отвечающих за процесс усвоения языка, а также влияние новейших технологий на организацию дидактического процесса. Особое внимание обращается на задачи, стоящие перед современным преподавателем иностранного языка, вынужденным модифицировать дидактический процесс с целью создания соответствующих условий для стимулирования мотивации учащихся, их активности и самостоятельности, а также формирования их потребности постоянного обогащения знаний.

Подчеркивается значение ведущих в современной глоттодидактике принципов: формирования межкультурной компетенции учащихся, которая является результатом диалога культур и единства обучения языку и культуре, что выражается в формуле „культура через язык, язык через культуру”.

Summary

*The changes in glottodidactics workshops in the process of teaching Russian
as a foreign language at bachelor's degree in Russian philology*

The purpose of this paper is to discuss the role of new findings on the mechanisms of learning and the development of information technology. The authors draw attention to the role of the teachers who feel inspired by the work and who want to modify the glottodidactics workshop, to stimulate curiosity of students, to develop their independence and create conditions for the development of formal education and the need for long-life-learning.

Two concepts take on a fundamental importance: the dialogue of cultures and strong links between language and culture, expressed in principle – “language through culture, culture through language”.

Key words: teaching Russian as a foreign language, role of the teachers, glottodidactics workshops, stimulate curiosity, dialogue of cultures.

Magdalena Dąbrowska
Uniwersytet Warszawski

Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku)

Uwagi wstępne

Głównym dziełem Samuela Bogumiła Lindego (1771–1847) stał się *Słownik języka polskiego*, zawierający – jak napisał we wstępie do jego drugiego wydania August Bielowski – „obraz języka naszego w rozmiarach tak wielkich, jakich wtedy nie tylko u nas, ale i indziej nie było”¹. To właśnie słownikowi zawdzięcza on międzynarodową sławę, obejmującą również Rosję². W kontekście rosyjskim można rozpatrywać jednak nie tylko *Słownik języka polskiego*, ale także znaczną część pozostałych prac Lindego z zakresu językoznawstwa, historii literatury czy edytorstwa³. W obrębie językoznawstwa zajmowały Lindego głównie studia leksykograficzne, dzieje literatury i edytorstwa traktował on zaś łącznie, na co wskazują następujące słowa z zamieszczonej przez niego w „Pamiętniku Warszawskim” recenzji *Rysu bibliografii rosyjskiej* Wasilija Sopikowa⁴: „od wynalezienia druku historia drukarń ściśle jest związana z historią początkowej literatury każdego cywilizującego się narodu”⁵. Problem „Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska”, rozpatrywany w niniejszym artykule w oparciu o zawartość czasopism początku XIX wieku, obejmuje więc kwestie recepcji jego dzieł w Rosji oraz sposobu postrzegania przez niego osiągnięć rosyjskiej kultury i nauki.

¹ A. Bielowski, *Przedmowa*, [w:] S.B. Linde, *Słownik języka polskiego*, wyd. 2, t. 1, Lwów 1854, s. 2.

² Por. m.in.: Я.Л. Левкович, *Переводы Пушкина из Мицкевича*, [в:] Пушкин. Исследования и материалы, т. 7: Пушкин и мировая литература, ред. М.П. Алексеев, Ленинград 1974, s. 161.

³ Zob.: M. Ptaszyk, *Bibliografia prac Samuela Bogumiła Lindego*, Toruń 1990.

⁴ Zob.: В. Сопиков, *Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на Славенском и Российском языках от начала заведения типографий до 1813 года...*, cz. 1, Санкт-Петербург 1813.

⁵ *O literaturze słowiańsko-rosyjskiej przez S.B. Lindego. (Dokończenie)*, „Pamiętnik Literacki” 1816, t. 5, czerwiec, s. 130.

Co więcej, prace Lindego stanowiły nieraz dla uczonych rosyjskich bodziec do podjęcia własnych studiów. Za przykład może służyć Aleksander Wostokow, wnikliwy czytelnik *Słownika języka polskiego*, wykorzystujący go w swojej pracy nad słownikiem etymologicznym⁶. Jak pisze Tadeusz Lewaszkiewicz, „Linde był wówczas dla Wostokowa, przygotowującego w czasie ukazywania się *Słownika języka polskiego* swoje *Этимологическое словоросписание*, wielkim autorytetem nie tylko jako leksykograf słowiański, ale także jako etymolog”. Znaczenie słownika Lindego jako źródła inspiracji dla Wostokowa najlepiej obrazuje, zdaniem badacza, „artykuł hasłowy obejmujący odpowiedniki słowiańskie i indoeuropejskie cerkiewnosłowiańskich wyrazów *broditi*, *brodъ* i ich derywatów”, choć można przypuszczać, że „również inne artykuły hasłowe słownika etymologicznego Wostokowa wykazują podobny stopień zależności od Lindego w zakresie zachodnio- i południowsłowiańskich materiałów leksykalnych, a częściowo zapewne i w zakresie porównań słowiańsko-indoeuropejskich”⁷. Szybko jednak relacja między nimi zmieniła się: „w ciągu drugiego dziesięciolecia XIX wieku Wostokow [...] wyrastał na językoznawcę nowego typu, gdy Linde, starszy od niego tylko o 10 lat, nie umiał się już przestawić na nowy sposób myślenia językoznawczego”⁸. Czołowym dziełem Wostokowa stało się *Rozważanie o języku słowiańskim* (*Рассуждение о славянском языке*, 1820); ważną rolę w rozwoju slawistyki odegrał także *Opis ruskich i słowiańskich rękopisów Muzeum Rumiancewa* (*Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея*, 1842).

⁶ W następujący sposób pisał o tym I. Sriezniewski, powołując się na dwie wypowiedzi samego Wostokowa: „Востокову хотелось иметь под рукою Аделунгов Mithridates [...] и Линде *Словник Языка Польского*, тогда издававшийся. Обращаясь к Оленину по поводу своих занятий словарем, он написал в поданной записке: «Единственная просьба, какую теперь утруждать осмеливаюсь Ваше Превосходительство, состоит в том, чтобы мне позволено было пользоваться нужными мне по сему делу из Вашей, либо из Императорской библиотеки, книгами, а особливо Линдеевым словарем. С помощью сего последнего, которого конечно только еще половина вышла, в состоянии бы я был чрез месяц или чрез два представить Вам хоть две или три буквы моего сравнительного корнеуказателя». Записка Востокова принята была Олениным благосклонно; но из этого, по крайней мере на то время, ничего не вышло. [...] Даже Словарь Линде он добыл себе не от Оленина, а от Д.И. Языкова. Под 14-м мая 1810 года в Летописи его записано: «В субботу было собрание Общества [любителей словесности, наук и художеств] у Дм. Ив. Языкова. Я выпросил у него Линдеев словарь на подержание»» (*Обозрение научных трудов А.Х. Востокова, между прочим и неизданных. И. Срезневского*, Санкт-Петербург 1865, s. 6).

⁷ T. Lewaszkiewicz, *Wostokow a Linde*, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka” 1989, nr 6, s. 188, 189. Por.: H. Milejkowska, *Materiały rosyjskie w słowniku Lindego*, „Poradnik Językowy” 1974, nr 5, s. 236–246.

⁸ T. Lewaszkiewicz, op. cit., s. 189.

Na lata działalności Samuela Bogumiła Lindego przypadł, jak pisze Ryszard W. Wołoszyński, pierwszy w dziejach narodów polskiego i rosyjskiego „moment daleko posuniętego zbliżenia” i „szczególnego ożywienia obopólnych powiązań” naukowych, kulturalnych i literackich⁹. Jednocześnie nastąpił wtedy rozwój wydawnictw periodycznych, w większości programowo zorientowanych na relacjonowanie ostatnich wydarzeń polityki międzynarodowej oraz oświecanie osiągnięć nauki i kultury krajów obcych. W wielu czasopismach często zresztą tematyka naukowa i kulturalna brała górę nad polityczną, czego świadectwo stanowi „Dziennik Wileński” (1805–1806) Stanisława Jundziłły, Jędrzeja Śniadeckiego i Józefa Kossakowskiego, który nie tylko stronił od kwestii politycznych, ale zdaniem Jana Kucharzewskiego nawet „otwarcie [...] głosił hasło odwrócenia się od polityki i radził wyłącznie zajmować się pracą kulturalną i naukową”¹⁰. Takie czasopisma jak „Dziennik Wileński” czy założony przez Feliksa Bentkowskiego „Pamiętnik Warszawski” (1815–1823) wyrosły szybko na jedno z głównych źródeł wiedzy czytelników polskich o Rosji. W propagowaniu osiągnięć polskiej nauki i kultury wśród Rosjan kluczową rolę odegrało natomiast pismo Wasilija Anastasiewicza „Улей” (1811–1812), jego wydanie Andrzej Dworski uznał za „swoistą kulminację” rosyjsko-polskiego zbliżenia kulturalnego początku XIX stulecia¹¹. W materiały „polskie” obfitowało również założone przez Nikołaja Karamzina czasopismo „Вестник Европы” (1802–1830), na którego przykładzie szczególnie wyraziście widać, że – jak zauważył Tomasz Kozłowski – zawsze „w ślad za rozwojem życia umysłowego następuje rozwój czasopiśmiennictwa”, a do tego jeszcze „w tej dziedzinie Polskę i Rosję objęły analogiczne procesy, gdyż i tu, i tam działały analogiczne przyczyny”¹².

Czasopisma pozostają wciąż niewyzyskanym źródłem wiadomości o powiązaniach Lindego z nauką i kulturą rosyjską. Nieczęsto – znacznie rzadziej niż, dla przykładu, o skróconej wersji niemieckiego prospektu *Słownika języka polskiego*, opublikowanej w przekładzie rosyjskim w petersburskim miesięczniku

⁹ R.W. Wołoszyński, *Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801–1830*, Warszawa 1974, s. 7, 8.

¹⁰ J. Kucharzewski, *Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji. (Zarys bibliograficzno-historyczny)*, Warszawa 1911, s. 12.

¹¹ Zob.: A. Dworski, *Z dziejów zbliżenia kulturalnego rosyjsko-polskiego na początku XIX wieku – polonica w czasopiśmie „Улей”*, [w:] *Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu*, red. B. Galster i J. Kamionkova, Wrocław 1973, s. 151–183.

¹² T. Kozłowski, *Polonica w czasopiśmie rosyjskim „Вестник Европы” w latach 1815–1822*, „Prace Polonistyczne” 1967, seria XXIII, s. 116.

Iwana Martynowa „Северный вестник” w 1804 r.¹³ – wspomina się chociażby o następującej wzmiance o Lindem (w kontekście Józefa Ossolińskiego oraz Adama Czartoryskiego), zamieszczonej w piśmie Jakowa Galinkowskiego „Корифей, или Ключ литературы” w 1802 r.¹⁴:

Главная складка сокровищ литературы польской перенесена в Вену и находится в библиотеке Гр. Юзефа Теньш-Оссолинского. Сей вельможа и его Библиотекаръ Линде, кроме того всякой год путешествуя по Галиции, собирают памятники словесности. Граф Оссолинский [...] есть издатель рассуждения Сенеки de Consolatione [...]; занимается теперь сочинением истории о древней Сарматии и ея народах и пишет историю Зигмунта I. Секретарь его Линде трудится над сочинением этимологического Польского Словаря, которой будет пересмотрен Оссолинским. Князь Адам Чарторыйский, известный покровитель наук и художеств, весьма искренно соучаствует в сем предприятии и присылает ему денежные пособия.¹⁵

Wzmianka ta znajduje się w pierwszej części artykułu *O stanie literatury polskiej*, stanowiącej skrócony przekład artykułu zamieszczonego w 1801 r. w jenańskim czasopiśmie „Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung”¹⁶. Mamy do czynienia tu zatem z przykładem przedostawania się do Rosji wiadomości o Lindem z gruntu niemieckiego. Artykuł *O stanie literatury polskiej* został zrecenzowany przez Wasilija Anastasiewicza w czasopiśmie „Северный вестник” w 1804 r.¹⁷ Wartych szerszego rozpatrzenia pozycji obrazujących związek Lindego z Rosją jest w czasopismach oczywiście więcej. Na plan pierwszy wysuwają się pod tym względem z jednej strony „Улей”, a z drugiej – „Pamiętnik Warszawski”. W „Pamiętniku Warszawskim” tematykę „rosyjską” reprezentuje również *Obraz systematyczny literatury w Rosji w przeciągu lat 5*

¹³ [Б.п.], *Słownik języka polskiego...* przez Samuela Bogumiła Linde..., „Северный вестник” 1804, cz. 4, nr 12, s. 260–271.

¹⁴ Zob.: Ю.М. Лотман, *Писатель, критик и переводчик Я.А. Галинковский, „XVIII век”* 1959, z. 4, s. 230–256.

¹⁵ Б.п., *О состоянии литературы польской*, „Корифей, или Ключ литературы” 1802, cz. *Terpsychora*, s. 105–106.

¹⁶ Zob.: M. Ptaszyk, „Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego. *Szkice bibliologiczne*, Toruń 2007, s. 233.

¹⁷ Б.п. [В.Г. Анастасевич], *Милостивые Государи!...*, „Северный вестник” 1804, cz. 2, nr 5, s. 163–178. Recenzja, utrzymana w formie listu do redakcji, ma wydźwięk negatywny, a przedmiotem krytyki staje się głównie nieprzestrzeganie porządku chronologicznego przy odtwarzaniu dziejów literatury polskiej. W artykule *O stanie literatury polskiej* mowa jest o Janie Kochanowskim, Wincentym Kadłubku, Piotrze Skardze, Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, Stanisławie Staszicu, Ignacym Krasickim, Franciszku Zabłockim, Julianie Ursynie Niemcewiczu, Franciszku Karpińskim, Adamie Naruszewiczu i in.

od 1801 do 1805 roku, z dołączeniem uwag nad Bibliografią Polską¹⁸, przybliżający czytelnikom pierwszą część dzieła Fiodora Adelunga (właśc. Friedrich von Adelung) i Andrieja Sztorcha (właśc. Heinrich Friedrich von Storch) pod takim tytułem (*Систематическое обозрение литературы в России в течение пятилетия с 1801 по 1806 г.*), powstałego z myślą o czasopiśmie „Russland unter Alexander dem Ersten”, natomiast w latach 1810–1811 wydane-go jako osobna książka¹⁹.

Linde i Wasilij Anastasiewicz (w kręgu poloniców w czasopiśmie „Улей”)

W *Spisie źródeł historii literatury rosyjskiej* Piotra Köppena, stanowiącym jeden z „dodatków” do wydanego przez Lindego w 1823 r. *Rysu historycznego literatury rosyjskiej* Nikołaja Grecza, czytamy, że podstawowym zamierzeniem Anastasiewicza jako wydawcy czasopisma „Улей” „było zaznajomić współziomków swoich z literaturą polską i przez to umocnić przyrodzony związek między uczonymi dwóch jednoplemiennych narodów”²⁰. „Wyciągi z Lindego, Naruszewicza i Czackiego” zostają zaprezentowane tutaj jako „najciekawsze artykuły o polskiej literaturze” zamieszczone w piśmie Anastasiewicza, sam zaś Anastasiewicz przedstawiony jest jako nie tylko wydawca, ale także bibliograf, który „najpierwszy napisał w rosyjskim języku artykuł o «Bibliografii» w właściwym znaczeniu, które teraz niektórzy literaci bezzasadnie rozciągają i na same zdania o książkach”²¹. Jako bibliograf Anastasiewicz traktowany jest jako kontynuator Wasilija Sopikowa²², a wspomnianą przez Köppena pracę stanowi opublikowany w czasopiśmie „Улей” artykuł *O bibliografii*²³. Drogi

¹⁸ [B.p.], *Obraz systematyczny literatury w Rosji w przeciągu lat 5 od 1801 do 1805 roku, z dołączeniem uwag nad Bibliografią Polską*, „Pamiętnik Warszawski” 1816, t. 6, wrzesień, s. 53–64. Artykuł opiera się w dużym stopniu na danych statystycznych – por.: „w przeciągu wspomnianych pięciu lat wyszło z druku 1304 pism; między tymi jest 756 dzieł oryginalnych, a 548 tłumaczonych; owe 1304 pism składają 2175 tomów i pismek ulotnych, na rok więc ryczałtem drukowano 435 ksiąg” (ibidem, s. 54).

¹⁹ Н. Здобнов, *История русской библиографии до начала XX века*, Москва 1955, s. 144–147.

²⁰ Köppena *spis źródeł Historii Literatury Rosyjskiej*, [w:] *Dodatki do Mikołaja Grecza rysu Historii Literatury Rosyjskiej... przez Samuela Bogumiła Lindego...*, Warszawa 1823, s. 558. Por.: *Материалы для истории просвещения в России, собираемые Петром Кеппеном, членом разных ученых обществ*, cz. 1: *Обозрение источников для составления Истории Российской словесности*, Санкт-Петербург 1819.

²¹ Ibidem.

²² Н. Здобнов, op. cit., s. 184.

²³ Б.п. [В.Г. Анастасевич], *О библиографии*, „Улей” 1811, cz. 1, nr 1, s. 14–28.

Sopikowa i Anastasiewicza (a także Lindego) krzyżowały się wiele razy i na różne sposoby²⁴.

Nazwiska Adama Naruszewicza, Tadeusza Czackiego i właśnie Samuela Bogumiła Lindego należą do najczęściej pojawiających się w czasopiśmie „Улей”. O dwóch pierwszych mowa jest już w przedmowie do pisma, zapowiadającej jego programowe zorientowanie na tematykę polską²⁵. Po pierwsze więc znajdujemy w nim rozważania Lindego o etymologii²⁶, rozpoczynające się – podobnie jak w *Prawidłach etymologii przystosowanych do języka polskiego*, zamieszczonych w części wstępnej pierwszego tomu *Słownika języka polskiego*²⁷ – od ustaleń ogólnych, zawierających wyjaśnienie samego słowa „etymologia”. Jeśli Linde pisze o zasadach etymologii „przystosowanych do języka polskiego”, to wydawca czasopisma „Улей” zapowiada w podtytule zamiar „odniesienia” – w przypisach – „języka polskiego do [...] rosyjskiego”²⁸. Własnymi komentarzami opatruje on również artykuł „o dialektach i językach przywołanych w słowniku P. Lindego ze wskazaniem wykorzystanych przez niego prac”²⁹. Jak czytamy w pierwszym z nich, artykuł ten w większym stopniu niż uwagi o etymologii odnosi się do samego *Słownika języka polskiego*, w związku z czym skierowany jest raczej do czytelników mających go w swojej bibliotece. Oto zaś przykład jednego z następnych komentarzy, dołączony do wykazu rosyjskich źródeł wykorzystywanych przez Lindego oraz dotyczący najnowszych inicjatyw wydawniczych Cesarskiej Akademii Nauk:

Известно, что И. Рос. Академия трудится над изданием нового своего словаря. Последование Г. Линде прежнему ея изданию весьма ощутительно!³⁰

I jeszcze jedna pozycja, która ma swoje źródło w omawianych partiach wstępnych pierwszego tomu *Słownika języka polskiego*. Jest nią mianowicie

²⁴ Zob. m.in.: М.Н. Коновалова, *Записки В.С. Сопикова и В.Г. Анастасевича о составлении каталогов публичной библиотеки. (Из неопубликованного наследия)*, „Труды Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина” 1957, t. 3, s. 241–257.

²⁵ Zob.: В. Анастасевич, *Ament meminisse periti*, „Улей” 1811, cz. 1, nr 1, s. 4–5.

²⁶ О этимологии, или словопроизведении, извлечение: из статьи помещенной в Польском словаре Г. Линде, „Улей” 1812, cz. 3, nr 16, s. 337–363; nr 17, s. 419–445.

²⁷ Zob.: *Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Linde*, wyd. 2, t. 1, Lwów 1854, s. XXI–LXI (*Prawidła etymologii przystosowane do języka polskiego*).

²⁸ О этимологии, или словопроизведении..., nr 16, s. 337.

²⁹ *Изъяснение диалектов и языков, приведенных в словаре Г. Линде, с показанием его к тому пособий*, „Улей” 1812, cz. 4, nr 21, s. 3–9. Por.: *Słownik języka polskiego...*, t. 1, s. LXII–LXIV (*Objaśnienie przywiezionych dialektów i języków*).

³⁰ *Изъяснение диалектов...*, s. 7.

zamieszczony w dziale „Uwagi bio- i bibliograficzne” przegląd pisarzy polskich i ich utworów³¹, w *Słowniku języka polskiego* występujący pod tytułem *Poczet pism polskich, w Słowniku przytaczanych*³². Anastasiewicz zachowuje układ przyjęty przez Lindego: rozpoczyna zatem przegląd pisarzy polskich od Andrzeja (Jędrzeja) Kochanowskiego, tłumacza *Eneidy* Wergiliusza, by już w tej pierwszej notce wprowadzić informację od siebie, którą stanowi odsyłacz do jednego z „odcinków” przeglądowego artykułu o literaturze polskiej opublikowanego w pierwszej części swojego czasopisma³³. Tym ostatnim artykułem była natomiast „polska część” rozprawy Ignacego Krasickiego *O rymotwórstwie i rymotwórcach*, rzucająca światło na piśmiennictwo polskie od czasów *Bogurodzicy* przez poezję Jana Kochanowskiego do drugiej połowy XVIII wieku³⁴.

Linde i Wasilij Sopikow (o literaturze rosyjskiej w „Pamiętniku Warszawskim”)

O zamieszczeniu w „Pamiętniku Warszawskim” w latach 1815–1816 recenzji *Rysu rosyjskiej bibliografii* (*Опыт российской библиографии*) Wasilija Sopikowa napisanej przez Lindego³⁵ czytelnicy rosyjscy dowiedzieli się z jej omówienia opublikowanego w 1816 r. w czasopiśmie „Вестник Европы”³⁶, rozpoczynającego się od przedmowy:

Под сим заглавием в прошлом году напечатана была в Польском журнале, называемом *Памітнік Варшавскі*, весьма любопытная статья, которую можно назвать критическим разбором известного *Опыта Российской Библиографии*, составленного г-м Сопиковым, и которую знаменитый Линде хотел познакомить поляков с нашею литературой. Никто конечно не имел

³¹ *О Польских писателях и сочинениях. (Из Словаря Г. Линде с объяснениями)*, „Улей” 1812, cz. 3, nr 16, s. 280–290; nr 17, s. 365–384, 446–466.

³² *Słownik języka polskiego...*, t. 1, s. LXV–LXXIII (*Poczet pism polskich, w Słowniku przytaczanych*).

³³ *О Польских писателях...*, s. 280–281. Por.: *О Польских Стихотворцах. (Сокращенное известие из Красицкого)*, „Улей” 1812, cz. 1, nr 3, s. 178–191.

³⁴ Zob.: M. Dąbrowska, *Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych (wybrane przykłady z początku XIX wieku)*, „Acta Polono-Ruthenica” 2011, t. XVI, s. 41–43.

³⁵ *О литературе роsyjskiej przez Самуила Богумила Линдего, През. Тов. Эл., Рект. Лич. Warsz.*, „Памітнік Варшавскі” 1815, t. 2, sierpień, s. 411–428, t. 3, wrzesień, s. 14–34, t. 3, październik, s. 133–150, t. 3, listopad, s. 277–298, 1816, t. 4, styczeń, s. 3–21, t. 4, marzec, s. 285–296, t. 5, maj, s. 3–21, t. 5, czerwiec, s. 125–144. Zob.: В.А. Францев, *Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст.*, Прага Чешская 1906, s. 101–137, 377–386.

³⁶ *О Российской литературе, статья Самуила Богумила Линде, Ректора Варшавского Лицея*, „Вестник Европы” 1816, cz. 90, s. 110–136, 230–244.

большого права рассуждать о труде г-на Сопикова. [...] Здесь муж, всему ученому свету известный обширными познаниями по части литературы славянских наречий, предлагает зрелые замечания свои на полезную книгу, исправляет в ней существенные погрешности, дополняет недостатки и отдает должную справедливость трудолюбивому ея автору...³⁷

Środkowa część przedmowy zawiera zapowiedź zamieszczenia w piśmie swego rodzaju „wyciągu” ze *Słownika języka polskiego*, całość zamyka natomiast wskazanie na odbiorców rozważań o recenzji Lindego, którymi miały być osoby zapoznane z pracą Sopikowa. Warto dodać, że w 1813 r. na tych samych łamach ukazała się wzmianka o samym *Rysie rosyjskiej bibliografii*, nazwanym tutaj „nową pożyteczną książką”³⁸.

Przekład i omówienie recenzji Lindego wyszły spod pióra ówczesnego wydawcy czasopisma „Вестник Европы”, Michaiła Kaczenowskiego, czego świadomość (mimo braku podpisu) mieli zarówno przedstawiciele tamtej epoki³⁹, jak i późniejsi badacze⁴⁰.

Szkic Lindego *O literaturze rosyjskiej* – podzielony w „Pamiętniku Warszawskim” na osiem części i od piątej z nich noszący tytuł *O literaturze słowiańsko-rosyjskiej* – wymieniany jest przeważnie obok jego rozprawy *O statucie litewskim ruskim językiem i drukiem* wydanym wiadomościami. Obydwie prace mają bowiem charakter bibliograficzny, druga (pierwotnie także planowana na łamy „Pamiętnika Warszawskiego”) zapisała się, jak zauważa Olena Błażejewicz, jako „pierwsza w Polsce monografia bibliograficzna oparta na metodzie językowej i typograficznej” oraz stanowi „przykład harmonijnego zespolenia wiedzy językoznawcy i bibliografa”⁴¹. *Rys rosyjskiej bibliografii* Sopikowa, którego rozpatrzenie stanowi artykuł *O literaturze rosyjskiej* i o którym wzmianka rozpoczyna *Przedmowę polskiego wydawcy* do wydanego przez Lindego *Rysu historycznego literatury rosyjskiej...* Nikołaja Grecza⁴², stanowi pierwszą na gruncie

³⁷ *О Российской литературе...*, s. 110–111.

³⁸ [Б.п.], *О Российской библиографии*, „Вестник Европы” 1813, cz. 72, s. 91–100.

³⁹ *Mikołaja Grecza Rys historyczny literatury rosyjskiej... przez Samuela Bogumiła Lindego... z dodatkami*, t. 1, Warszawa 1823, s. I (*Przedmowa polskiego wydawcy*).

⁴⁰ Zob.: *Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825)*, т. 1: *Журналы. А–В*, ред. Е.К. Соколинский, Санкт-Петербург 1997, s. 355, 356.

⁴¹ O. Błażejewicz, *Samuel Bogumił Linde. Bibliotekarz i bibliograf*, Wrocław 1975, s. 211, 212.

⁴² *Mikołaja Grecza Rys historyczny literatury rosyjskiej...*, t. 1, s. I–II (*Przedmowa polskiego wydawcy*). Można dodać, że przedmowa staje się także miejscem, w którym Linde wskazuje na potrzebę opracowania słownika porównawczego: „schodzi nam na należyty słownik rosyjsko-polskim, polsko-rosyjskim; lecz nie dosyć; trzeba by dzieła wytykającego we wszystkich szczegółach nie tylko gramatycznych, lecz osobliwie też leksykograficznych, porównawczym sposobem, różnicę między rosyjskim a polskim językiem zachodzące, i te wyjaśniającego i zbliżającego za

rosyjskim próbę realizacji pomysłu stworzenia, według określenia Nikołaja Zdobnowa, „repertuaru książek rosyjskich”, „opisania ich *de visu*”, na który złożyło się łącznie 13 249 pozycji wydanych od czasu wprowadzenia druku do 1813 r. i częściowo w latach 1813–1818⁴³. Podkreślając znaczenie dzieła Sopi-kowa, Zdobnow jednocześnie zaznacza, że prace nad jego poprawieniem i dopełnieniem trwały jeszcze 90 lat z udziałem W.I. Santowa czy W.N. Rogożyna⁴⁴, ale należałoby dodać, że także Lindego.

Linde stawia sobie za cel sporządzenie nie tyle recenzji, ile opisu dzieła Sopikowa nastawionego na wydobywanie „rzeczy, które Polaka najwięcej obchodzić mogą” i „tym sposobem podać ziomkom [...] najpotrzebniejsze [...] wiadomości o literaturze tego sławnego i potężnego narodu, z którym nas [tj. Polaków – M.D.] dawne pobratymstwo, a dziś polityczny wypadek losu [...] tak ściśle wiąże”, a także „w przypisach [...] kłaść uwagi nad stosunkami naszego [tj. polskiego – M.D.] języka do rosyjskiego”⁴⁵. Od podkreślenia „pobratymstwa” Polaków i Rosjan Linde rozpoczyna zresztą swój artykuł:

Jak języki pobratymców naszych nie mogą być dla nas obojętnymi, ale też tychże literatura, dla wzajemnej z naszą styczności, dla wzajemnego wyjaśniania, dla wspólnego z bogacenia, wreszcie dla zabopólnego dobijania się o pierwszeństwo. [...] Odebrawszy w tych dniach z Petersburga dzieło, wystawujące w kilku tomach rys literatury rosyjskiej, przy pierwszym szybkim przebieganiu spostrzegłem, że zawiera wiele rzeczy dla nas nawet co do naszej własnej literatury ciekawych; że umieszczona w nim historia drukarń w ścisłym związku zostaje z naszą, [...] że zbliżenie się umysłowe Słowian do siebie przyspieszyć może ten tak pożądaný postępek.⁴⁶

Słowem-kluczem staje się więc dla Lindego „nowość”, przy czym odnosi się ono nie tylko do samego *Rysu rosyjskiej bibliografii*, ale także do sytuacji politycznej, w której znaleźli się Polacy, związanej z utratą suwerenności państwowej.

pomocą innych pobratymczych mów i ogólnej gramatyki i leksykografii” (ibidem, s. XXVI–XXVII). Zob.: B. Matuszczyk, *Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa*, Lublin 2006, s. 40–42; por. J. Michalski, *Niezrealizowane plany naukowe Lindego*, „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 3–4, s. 349–377; J.W. Opatrny, *Rosyjsko-polski słownik porównawczy S.B. Lindego*, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1963, t. 4, s. 283–293.

⁴³ H. Здобнов, op. cit., s. 176.

⁴⁴ Ibidem, s. 177.

⁴⁵ [S. B. Linde], *O literaturze rosyjskiej...*, 1815, t. 2, sierpień, s. 412–413.

⁴⁶ Ibidem, s. 411–412. Podobną myśl wyraził Linde w stanowiącym rozwinięcie dedykacji (skierowanej do „Jaśnie Wielmożnego Mości Dobrodzieja” Nikołaja Nowosilcowa) wstępie do *Rysu historycznego literatury rosyjskiej...* Griecza: „wzajemne poznanie zalet umysłowych zbliża narody do wzajemnego szacunku i w skutku tego jednoczy je węzłem braterskiej miłości” (*Mikołaja Grecza Rys historyczny literatury rosyjskiej...*, t. 1, Warszawa 1823, s. nlb).

Układ treści w artykule Lindego odpowiada układowi treści w dziele Sopikowa. Całość otwierają rozważania o obecnym w jego tytule słowie „опыт”, zdaniem Lindego trudnym do przetłumaczenia na język polski, oraz o przedmowie, w której Sopikow „widział potrzebę najprzód objaśnić, co się rozumieć ma przez bibliografa, bibliofila, [...], bibliomana i bibliotekarza”⁴⁷. Już te wstępne fragmenty pokazują, że Linde spogląda na *Rys rosyjskiej bibliografii* oczami znawcy kultury polskiej, skrupulatnie wynotowującego wszelkie przejawy pomijania osiągnięć polskich drukarzy, historyków czy pisarzy: nie poprzestaje więc na stwierdzeniu, że Sopikow „wylicza najślawniejsze w tej mierze [tj. bibliografii – M.D.] imiona mężów”, dodając, że „Polaka żadnego nie mieści, chociaż mógł wiedzieć o Załuskim, Braunie, Jabłonowskim...; Bentkowskiego naszego nie mógł jeszcze znać”⁴⁸. W tym duchu utrzymany jest cały artykuł, a nazwiska Załuskich, Feliksa Bentkowskiego czy Jerzego Samuela Bandkiego należą do najczęściej przywoływanych. Rozważania nad *Rysem rosyjskiej bibliografii* przywiodły Lindego przede wszystkim do następującego wniosku, tak oto sformułowanego przez Olenę Błażejewicz: „kultura polska promieniowała w kierunku wschodnim, ponieważ pierwsze drukarnie cerkiewnosłowiańskie działały w Krakowie i w zachodnioruskich częściach Polski (Kijów, Począjów, Nieśwież, Lwów, Wilno)”⁴⁹. Podobnie wypowiada się na ten temat Samuel Fiszman: „uwagi uzupełniające służą właśnie Lindemu do podkreślenia wniosku wynikającego z bibliograficznego zestawienia Sopikowa, iż w krajach słowiańskich kierunek rozwoju oświecenia szedł z południowego zachodu do północnego wschodu, iż udział polski w tym rozwoju był bardzo doniosły”⁵⁰.

W kontekście badań nad czasopiśmiennictwem warto wspomnieć również o końcowych partiach artykułu Lindego, które wypełnia obszerny przypis autora zawierający przegląd rosyjskich wydawnictw periodycznych, „mnogich i ważnych”, których liczbę Sopikow szacuje na blisko sto pięćdziesiąt. Wśród wymienionych pism znajdują się „Приятное и полезное препровождение времени”, „Вестник Европы”, „Друг просвещения”, „Северный вестник”, „Санкт-Петербургский журнал”, „Цветник”, „Сын Отечества” czy nawet wydawany w Tobolsku „Иртыш, превращающийся в Ипокрену”. Tu również daje o sobie znać wspomniany rys postawy autora – „Приятное и полезное препровождение времени” zestawia on z „Забавами Приятными и Поżyteczными”,

⁴⁷ [S. B. Linde], *O literaturze rosyjskiej...*, 1815, t. 2, sierpień, s. 414.

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ O. Błażejewicz, op. cit., s. 217–218.

⁵⁰ S. Fiszman, *Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800-1830. (Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce)*, [w:] *O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich*, red. S. Fiszman i K. Sierocka, Wrocław 1969, s. 68.

ponadto wspomina o pojawianiu się w periodykach rosyjskich „autentycznych pism do historii dyplomacji państw rosyjskich należących, [...] między którymi wiele do historii polskiej bardzo ważnych”⁵¹. Pretekstem do zarysowania współczesnej produkcji czasopiśmienniczej w Rosji stały się przywołane słowa Sopikowa, wskazującego jako jedno ze źródeł swojej inspiracji „pracę Biskupa Wołogodzkiego *Eugeniusza* [tj. Jewfimija Bołchowitinowa – M.D.] pod tytułem: nowa próba słownika rosyjskich pisarzy, w Posłańcu Europejskim [tj. piśmie „Вестник Европы” – M.D.] r. 1813 umieszczoną”⁵². Można dodać, że czasopiśmiennictwo rosyjskie początku XIX wieku stało się przedmiotem rozpatrzenia we wspomnianym *Obrazie systematycznym literatury w Rosji w przeciągu lat 5 od 1801 do 1805 roku...*, w którym mowa jest o pismach „Корифей, или Ключ литературы”, „Патриот”, „Друг просвещения”, „Северный вестник” czy „Санкт-Петербургский журнал”, ale także – w przypisie – o „Dzienniku Wileńskim” jako miejscu zamieszczenia artykułu Tadeusza Czackiego *O postępie edukacji w prowincjach niegdyś polskich, a teraz wcielonych do Rosji*⁵³.

Przyjęcie układu treści *Rysu rosyjskiej bibliografii* za podstawę układu jej omówienia nie przeszkadza Lindemu odnieść się do niego krytycznie. Za „wielką niedogodność” uznaje wyodrębnienie przez Sopikowa dwóch części pracy, spośród których „pierwsza zawiera książki drukowane *cerkiewnymi* głoskami, a druga *świeckimi* [tj. graźdanką – M.D.]”, w rezultacie często „ciąg dalszych dzieł lub wydań jednego pisarza, przerywa się dla tej przypadkowej przyczyny, iż jedne *cerkiewnym*, drugie *świeckim* pismem były drukowane...”⁵⁴. W zakończeniu artykułu Linde radzi również Sopikowowi opatrzenie *Rysu rosyjskiej bibliografii*, zgodnie zresztą z jego pierwotnym zamierzeniem, indeksami alfabetycznym i systematycznym.

Sprostowania i uzupełnienia, przez Olenę Błażejewicz określane jako „literacko-bibliograficzne”, stanowią największą wartość szkicu Lindego⁵⁵. Oto jeden z urywków o takim charakterze, dotyczący kształtu edytorskiego książek sprzed XVI–XVIII wieku:

⁵¹ *O literaturze słowiańsko-rosyjskiej...*, 1816, t. 5, czerwiec, s. 142.

⁵² *Ibidem*, s. 144.

⁵³ T. Czacki, *O postępie w edukacji w prowincjach niegdyś polskich, a teraz wcielonych do Rosji*, „Dziennik Wileński” 1805, t. 1, nr 1 (kwiecień), s. 6–15. Zob. o nim w kontekście pisma „Северный вестник”: M. Dąbrowska, *Polscy poeci doby Oświecenia w czasopiśmie rosyjskich pierwszego piętnastolecia XIX wieku* („Северный вестник” – „Улей” – „Вестник Европы”), [w:] *Polska – Rosja: dialog kultur* („Studia Rossica XXII”), red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łuciewicz, Warszawa 2012, s. 99–101.

⁵⁴ *O literaturze rosyjskiej...*, 1815, t. 3, wrzesień, s. 23.

⁵⁵ O. Błażejewicz, op. cit., s. 216.

[...] w dawnych ruskich księgach, wydanych w Moskwie, do połowy 17 wieku *przed*słowie, po naszymu przedmowa, kładła się nie na początku, lecz na końcu. [...] Gdy on [tj. Sopikow – M.D.] zaś dodaje, że w Wileńskich, Lwowskich, Czerwiechowskich, Kijowskich i Ostrogskich wydaniach, małą liczbę wyjąwszy, takowe dopisy na przodzie się znajdują, przeczyć temu musimy, gdyż także prawie wszędzie przynajmniej na polskich naszych dawnych drukach, daty i okoliczności wydania na końcu ksiąg bywały kładzione, tak np. na biblii Radziwiłłowskiej, Leopolicy [...] itd., a dopiero w 16 wieku zwyczaj ten się odmienił*.

* Obacz Bandkie hist. druk. krak. na karcie 11 w nocie.⁵⁶

Jak widać, Linde nie poprzestaje na skomentowaniu danego ustępu *Rysu rosyjskiej bibliografii*, opatrując swój komentarz odsyłaczem do literatury przedmiotu. W tym przypadku chodzi o wydaną w 1815 r. *Historję drukarni krakowskich...* Jerzego Samuela Bandkiego, w której – w przypisie czytamy:

Jan Gutenberg na żadnej nie podpisał się księdze, którą wydał. Jan Fust wniósł ten zwyczaj potrzebny, który w XV wieku na początku drukarni w tym się różnił od nieco późniejszych czasów, że daty wydania na końcu bywały położone, a ten zwyczaj dopiero w XVI wieku ustał.⁵⁷

Często też Linde po prostu „oddaje” głos Bandkiemu, przywołując jego słowa:

Do tego dołączyć potrzeba, co szanowny mój przyjaciel J.S. Bandkie* w historii drukarni krakowskich, na karcie 19 itd. wyraża: „Kilkadziesiąt ksiązek już było biblioteką...”.

* Historia drukarni Krakowskich, od zaprowadzenia druków... itd. w Krakowie r. 1815.⁵⁸

W drukarstwie XV–XVI stulecia Linde był najlepiej zorientowany. Jak uważa jednak Olena Błażejewicz, „pomiął on natomiast całkowicie produkcję wydawniczą XVIII wieku, mimo że istniała drukarnia bazylianów w Supraślu”, wprawdzie wielce zasłużona dla kultury polskiej, ale przecież wydająca druki nie tylko w tym języku⁵⁹.

⁵⁶ *O literaturze rosyjskiej...*, 1815, t. 3, październik, s. 134.

⁵⁷ *Historja drukarni krakowskich, od zaprowadzenia druków do tego Miasta aż do czasów naszych, Wiadomością o wynalezieniu sztuki drukarskiej poprzedzona. Przez Jerzego Samuela Bandkiego*, Kraków 1815, s. 10–11.

⁵⁸ *O literaturze rosyjskiej...*, 1815, t. 3, wrzesień, s. 15.

⁵⁹ O. Błażejewicz, op. cit., s. 218. Por. m.in.: J. Getka, *Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek)*, Warszawa 2013, s. 10, 19–21, 38–45 i in.

Wracając do omówienia recenzji Lindego z czasopisma „Вестник Европы”, warto podkreślić, że składa się ono – podobnie jak sama recenzja Lindego – z komentarzy do rozpatrywanej pozycji. W większości odnoszą się one do problemów językoznawczych:

[...] произошло от одного корня с польского *chędogi*...*

*И у нас в церковных книгах есть *худог*.⁶⁰

ale zdarza się również, że do samego Sopikowa, głównie faktów z jego biografii:

Поелику Г. Сопиков, говорит Линде, который не есть ученый, а только книгопродавец...*

* Автору неизвестно, что почтенный В.С. Сопиков ныне служит в Императорской Библиотеке.⁶¹

O Lindem w czasopiśmie „Москвитянин” (zamiast zakończenia)

Czasopismo „Москвитянин”, wydawane przez Michaiła Pogodina w Moskwie w latach 1841–1856, stało się miejscem zamieszczenia szkicu biograficznego *Samuel Bogumił Linde* napisanego przez Jana (Iwana) Papłońskiego⁶², zaprezentowanego przez redaktorów pisma jako „wychowanek Uniwersytetu Moskiewskiego, a obecny uczeń Patriarchy filologii słowiańskiej”⁶³. To ostatnie określenie odnosi się, rzecz oczywista, do samego Lindego, którego życiorys zostaje zarysowany, jak zaznacza sam autor, w oparciu o biografię przygotowaną przez Piotra Köppena, przedmowy do *Słownika języka polskiego* oraz „przekazy ustne”⁶⁴. Szkic ma charakter okolicznościowy, gdyż łączy się z pięćdziesięcioleciem działalności naukowej Lindego. Papłoński, przestrzegając porządku chronologicznego, przedstawia lata nauki i początki kariery naukowej Lindego, znajomość z wybitnymi przedstawicielami życia kulturalnego, w tym z Julianem Ursynem Niemcewiczem, pobyt w Wiedniu oraz kontakty z Józefem Maksymilianem Ossolińskim, przyjazd do Warszawy, przebieg prac nad *Słownikiem języka polskiego*, wybór na członka krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, związki z Liceum Warszawskim, działalność w charakterze bibliotekarza itp. Mowa jest w artykule o szerokiej obecności prac Lindego w czasopismach, a jako przykład

⁶⁰ *О Россійской литературе...*, s. 115. Por.: „chędogi – porządny, schludny, czysty” (*Słownik języka polskiego*, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1988, s. 256).

⁶¹ Ibidem, s. 131.

⁶² И. Паплонский, *Самуил Богумил Линде*, „Москвитянин” 1842, ks. 11, s. 97–115.

⁶³ Ibidem, s. 97 (przypis).

⁶⁴ Ibidem (przypis).

zostaje podana recenzja *Rysu rosyjskiej bibliografii*, napisana ze znanstwem rzeczy i pełnym szacunkiem dla autora, odnotowująca zarówno zalety, jak i niedociągnięcia jego dzieła oraz trafnie prostująca obecne w nim błędy. Praca utrzymana jest w tonie pochwalnym, warstwę faktograficzną dopełniają rozważania o cechach osobowościowych Lindego.

Artykułów okolicznościowych o Lindem można znaleźć w czasopismach rosyjskich początku XIX stulecia więcej. Jednym z nich jest opublikowana w dziale „Рóżności” czasopisma „Сын Отечества” relacja z uroczystości wręczenia twórcy *Słownika języka polskiego* medalu w Warszawie 20 września 1816 r.⁶⁵ Na osobne odnotowanie zasługują wzmianki o Lindem i jego słowniku wplecione w rozważania o innych przedstawicielach nauki europejskiej i ich dziełach, wprowadzane często po to, aby bądź potwierdzić słuszność głoszonych przez nich sądów, bądź je podważyć⁶⁶.

Na zakończenie warto dodać, że ważnym źródłem wiedzy o związkach Lindego z rosyjską nauką i kulturą są rozliczne osobiste „dokumenty” epoki, głównie listy, często także publikowane na łamach czasopism. We wzmianki o Lindem jako twórcy zarówno *Słownika języka polskiego*, jak i recenzji *Rysu rosyjskiej bibliografii* Sopikowa obfitują zwłaszcza listy Jewfimija Bołchowitinowa do Wasilija Anastasiewicza, łączące słowa podziwu dla trudu polskiego uczonego ze skargami na wygórowane ceny jego dzieł:

Линдов Словарь, хотя я его и не видал, но, судя по вашим выпискам, почитаю я сокровищем для всех Славенских народов. Еще в Северном Вестнике увидев объявление о нем, я думал было купить оный и писал в Вильну, но с меня потребовали 25 червонных, и такая цена устарила меня⁶⁷.

Читали ли вы в последних прошлогодних номерах Вестника Европы Линдовы рецензии на Сопикова библиографию? Есть много хорошего; но у Каченовского сокращено. Сопикову не стыдно бы всю сию умную рецензию припечатать при своей книге. Это хорошее дополнение к ней⁶⁸.

Przytoczony fragment drugiego z listów kończy stwierdzenie, że skoro Linde dobrze opanował język rosyjski, to dla czego Rosjanie nie mają uczyć się polskiego, a także apel o podjęcie współpracy między polskimi i rosyjskimi badaczami literatury.

⁶⁵ [Б.п.], [В Сентябре месяце сего года...], „Сын Отечества” 1816, nr 51, s. 241–242.

⁶⁶ Нр.: [Б.п.], *Известие о Словаре немецко-сербском*, „Вестник Европы” 1817, cz. 96, nr 21, s. 42–49.

⁶⁷ Письма Митрополита Киевского Евгения Болховитинова к В.Г. Анастасевичу, „Русский архив” 1889, ks. 2, nr 5, s. 25.

⁶⁸ Письма митрополита Евгения к В.Г. Анастасевичу из Калуги и Пскова (1813–1818), „Древняя и новая Россия” 1880, t. 18, nr 12, s. 616.

Związki Lindego z kulturą i nauką rosyjską uwidaczniają się na wielu płaszczyznach, co obrazują najlepiej czasopisma początku XIX wieku. Linde – kojarzony zwykle wyłącznie z badaniami językoznawczymi – zapisał się w dziejach polsko-rosyjskich związków literackich, kulturowych i naukowych jako wnikliwy i kompetentny komentator dziejów literatury rosyjskiej, w szczególności metod „bibliograficznego” utrwalania jej osiągnięć.

Резюме

*Самуил Богумил Линде и русская культура и наука
(на основе журналов начала XIX века)*

Начало XIX века – период стремительного развития польско-русских культурных и научных связей в журналистике. К главным представителям польской науки начала XIX века принадлежит Самуил Богумил Линде (1771–1847) – языковед, автор *Словаря польского языка*, переводчик, библиограф, библиотекарь.

Статья состоит из четырех частей: 1. *Вступление* (Линде и Аленсандр Востоков, Линде и Яковь Галинковский; избранные польские и русские журналы начала XIX века); 2. *Линде и Василий Анастасевич (материалы о польской культуре в журнале „Улей”)*; 3. *Линде и Василий Сопиков (о русской литературе в журнале „Pamiętnik Warszawski”)*; 4. *О Линде в журнале „Москвитянин” (вместо заключения)* (биографический очерк о Линде Ивана Паплонского, вокруг переписки Евфимия Болховитинова и Василия Анастасевича). Василий Анастасевич (1775–1845) – переводчик, библиограф, издатель журнала „Улей”. Василий Сопиков (1765–1818) – библиограф и библиотекарь.

Summary

*Samuel Bogumił Linde and the Russian culture and science
(on the basis of the periodicals in the early 19th century)*

The beginning of the 19th century is the period of a gradual development of the Polish-Russian cultural and scientific relations in the area of the periodical press. Samuel Bogumił Linde (1771–1847), a linguist, author of the *Dictionary of the Polish Language*, translator, bibliographer and librarian, was one of the main representatives of the Polish science at that time.

The article consists of four parts: 1. *Opening remarks* (Linde and Alexander Vostokov, Linde and Jakov Galinkovsky; review of the Polish and Russian periodicals in the early 19th century); 2. *Linde and Vasily Anastasyevich (materials on the Polish culture in the periodical „Uley”)*; 3. *Linde and Vasily Sopikov (about the Russian literature in the periodical „Pamiętnik Warszawski”)*; 4. *About Linde in the periodical „Moskwitianin” (instead of conclusion)* (the article about Linde by Jan Papłowski, around the correspondence of Evfimiy Bolkhovitinov and Vasily Anastasyevich). Vasily Anastasyevich (1775–1845) was a translator, bibliographer, publisher of the periodical „Uley”. Vasily Sopikov (1765–1818) was a bibliographer and librarian.

Key words: Samuel Bogumił Linde, Vasily Anastasyevich, Vasily Sopikov, „Uley”, „Pamiętnik Warszawski”, bibliography, Russian literature, Polish literature.

Marcin Dziwisz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zjawisko „wędrowki neologizmów” między tekstami z kręgu literatury fantasy jako wyzwanie dla tłumacza (na materiale przekładów utworów J.R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego na języki polski i rosyjski)

Użyte w tytule niniejszego artykułu sformułowanie „wędrowka neologizmów” rozumieć będziemy jako swego rodzaju zapożyczanie przez pisarzy tego typu leksyki z tekstów istniejących już przekładów i wykorzystywanie jej w utworach, gdzie należy ją już postrzegać nie jako ekwiwalent, ale jako integralną część powstającego w danym języku tekstu oryginalnego.

Widoczny w ostatnich dziesięcioleciach burzliwy rozwój fantasy obliguje badaczy przekładu do głębszej analizy zjawisk językowych zachodzących w tym gatunku literackim. Obiektem ich zainteresowania coraz częściej stają się mechanizmy językowej kreacji świata przedstawionego. Jedną z najistotniejszych kwestii są indywidualne, autorskie sposoby tworzenia językowego obrazu rzeczywistości fantastycznej, co jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia tekstu pierwotnego, jak i wtórnego¹.

Jednym z najczęściej stosowanych zabiegów językowych jest wprowadzanie do tekstu nowotworów leksykalnych. Autorskie neologizmy, bo o nich mowa, stanowią integralną część literatury fantasy, gdyż to głównie za ich pomocą konstruowana jest fantastyczna rzeczywistość. Nazywają one bowiem poszczególne jej elementy, stanowiąc jednocześnie integralną część idiolektu danego autora. Pojęcie idiolektu stanowi tu kwestię dość istotną, gdyż wiąże się z możliwością kreacji nieograniczonej ilości fantastycznych światów, które twórcy mogą nasycać realiami charakterystycznymi wyłącznie dla ich. Przekład takich neologizmów stanowi dla tłumacza dość duże wyzwanie, gdyż musi on w swoich działaniach uwzględnić strukturę danego leksemu, kontekst, w jakim

¹ Por. M. Chomik, *Neofrazeologizmy, a odmienność świata przedstawionego w twórczości braci Strugackich*, [w:] A. Pstyga (red.), *Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza*, Gdańsk 2005; M. Krajewska, *Świat kosmicznej przyrody Stanisława Lema w przekładach na język rosyjski*, [w:] ibidem; M.B. Бережна, *Переклад зоонімів у дитячій літературі жанру фентезі*, [w:] *Вісник Київського Національного лінгвістичного університету*, Київ 2012.

występuje, a przede wszystkim w jak najpełniejszym stopniu przekazać jego znaczenie.

Należy zauważyć, iż autorzy tekstów z kręgu literatury fantasy tworzą nowe wyrazy, wykorzystując narzędzia słowotwórcze oferowane przez dany język. Jak zauważa A. Fiodorow, „человек, выражающий свою мысль средствами языка, не создает, за весьма редкими исключениями, своих новых слов, а пользуется словами, уже существующими в языке, принадлежащими к его словарному составу. Если же говорящий или пишущий и создает отдельное новое слово, то он делает это, как правило, или на основе элементов существующих слов, или по аналогии с существующими словами. Так же поступает и переводчик, выбирая из словарного состава языка, на который он переводит, слова, наиболее соответствующие словам подлинника в их взаимосвязи, в их соответствии смыслу целого предложения и более широкого контекста. В тех редких случаях, когда он, например, для передачи термина или авторского неологизма прибегает к созданию нового слова, он делает это при помощи уже имеющихся лексических и морфологических элементов”².

Wprowadzanie w tekście przekładu dwóch różnych ekwiwalentów danego terminu może być fatalne w skutkach, gdyż pojawia się wtedy niebezpieczeństwo niezrozumienia jego fragmentu lub nawet całości. Sytuacja komplikuje się znacznie bardziej, gdy w literaturze pojawiają się ekwiwalenty będące stworzonymi przez autora przekładu neologizmami, które następnie stają się na tyle popularne, iż zaczynają funkcjonować w danym języku jako integralna część jego zasobu leksykalnego (nie zawsze skodyfikowana przez słowniki). Takie leksemy zostają następnie wykorzystane przez innych autorów tego gatunku literackiego tworzących w języku, na który oryginalne słowa zostały wcześniej przetłumaczone. Zaczynają więc one funkcjonować jako elementy tekstu oryginalnego, które z kolei podlegają różnym operacjom na nim prowadzonym, w tym także przekładowi.

W niniejszym artykule postaramy się opisać istotę tego zjawiska na przykładzie tekstów oryginalnych oraz ich przekładów dokonywanych między językami: angielskim, polskim i rosyjskim. Naszym celem będzie uchwycenie relacji pomiędzy leksemami będącymi początkowo elementami tekstu oryginału a ich ekwiwalentami, które to następnie same stały się częścią tekstu oryginalnego, aby po raz kolejny mogły zostać poddane procesowi przekładu. Materiałem, na którym będą prowadzone nasze obserwacje, będą teksty następujących utworów:

² A.B. Федоров, *Основы общей теории перевода*, Москва 1968, s. 181.

Lord of the Rings Johna Tolkiena oraz teksty jego przekładów na polski i rosyjski³, jak również zbiory opowiadań Andrzeja Sapkowskiego *Ostatnie życzenie* (Warszawa 1993) i *Miecz Przeznaczenia* (Warszawa 1992) oraz ich tłumaczenie na rosyjski⁴.

Autorzy tekstów z kręgu literatury fantasy posługują się neologizmami w celu wykreowania obrazu fantastycznego świata, który całkowicie lub w znacznym stopniu różni się od rzeczywistości, do której przywykli odbiorcy tego typu utworów. Jest to spowodowane tym, że akcja oraz świat przedstawiony w tego typu utworach przenosi czytelnika poza znane mu miejsca i obszary. Jedną z charakterystycznych cech leksyki używanej przez pisarzy-fantastów jest jej bezekwiwalentność. Nazwy wykreowanych elementów fantastycznej rzeczywistości nie posiadają odpowiedników w języku docelowym, a co za tym idzie – nie istnieją w świadomości odbiorców przekładu. Jak zaznacza N. Stafiejewa: „безеквівалентна лексика, як невідомий елемент тексту у жанрі фентезі, відображає національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, називає такі поняття та явища у сфері певної культури, які не властиві іншим. Безеквівалентна лексика, як складова образності тексту створює емоційно-експресивний підтекст, пов’язаний з ідеоетнічним компонентом значення, висувається у смисловій ієрархії твору, виступає своєрідною функціонально-смісловою домінантою тексту”⁵.

To właśnie głównie za pomocą autorskich neologizmów pisarze nasycają stwarzane przez siebie irrealne światy charakterystycznymi wyłącznie dla nich realiami, które będziemy nazywać subiekтами fantastycznej rzeczywistości. W tej funkcji mogą występować, np. nazwy własne, nazwy fantastycznych istot, nazwy magicznych przedmiotów czy też obecne w tekście formuły zaklęć.

W celu lepszego naświetlenia opisywanego przez nas problemu zanalizujemy wybrane nazwy fantastycznych istot w powieści Tolkiena oraz ich przekłady na polski oraz rosyjski. Następnie odniesiemy się do oryginału i przekładu utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski, by ukazać zaistniałe zależności terminologiczne.

³ J. R. R. Tolkien, *Władca Pierścieni: Bractwo Pierścienia*, tłum. J. Łoziński, Poznań 1996; idem, *Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia*, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2008; idem, *Władca Pierścieni*, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2012; Дж. Р. Р. Толкин, *Властелин Колец*, пер. В. Муравьев, А. Кистяковский, Москва 2008.

⁴ А. Сапковский, *Меч Предназначения*, пер. Е. Вайсброт, Москва 2005; idem, *Последнее желание*, пер. Е. Вайсброт, Москва 2005.

⁵ Н.Ю. Стафеева, *Особенности перевода безэквивалентной авторской лексики в жанре фэнтези на материале “Володар Перснів”* Дж. Р. Р. Толкієна, „Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка” nr 14 (201), cz. II, Луганськ 2010, s. 25.

W języku polskim ukazały się trzy różne przekłady powieści Tolkiena. Nasza analiza dotyczyć będzie jedynie dwóch z nich, a mianowicie tłumaczeń Marii Skibniewskiej oraz Jerzego Łozińskiego.

Pierwszym neologizmem, jaki poddany zostanie przez nas analizie, jest nazwa *hobbit*, która określa jedną z ras istot zamieszkujących wykreowaną przez autora krainę – *Śródziemie* (ang. *Middle-earth*). Tolkien tak oto charakteryzuje owe stworzenia: „Hobbici to naród skromny, lecz bardzo starożytny, o wiele liczniejszy ongiś niż dziś [...]. Hobbici są mali, mniejsi niż krasnoludy. Wzrost hobbitów bywa różny, waha się od dwóch do czterech stóp naszej miary”⁶. Jak można wywnioskować z przytoczonego fragmentu, jedną z charakterystycznych cech tej rasy jest niewielki wzrost. Oprócz samego tekstu powieści pewne informacje o hobbitach zawiera ich nazwa. W języku staroangielskim słowo *hob* oznaczało małego, swawolnego elfa⁷. Tak więc widzimy, iż kolejny raz podkreślony został tu wzrost jako cecha charakterystyczna.

Nazwa *hobbit* została przeniesiona na grunt języka polskiego przez Skibniewską w formie niezmienniczej. Podobnie rzecz się ma w języku rosyjskim, gdzie angielski oryginał został przekazany za pomocą transliteracji i przyjął postać *хоббитум*⁸. Natomiast w przekładzie Łozińskiego oprócz ekwiwalentu *hobbit* spotykamy interesujący nas neologizm *niziołek*, który został utworzony od przymiotnika *niski* za pomocą formantu *-olek*. Jak można zauważyć, autor przekładu zawarł w tej nazwie zarówno charakterystykę tej rasy ukazaną w tekście oryginalnym, jak i – przynajmniej częściowo – przekazał znaczenie angielskiego słowa *hob*.

Warto zauważyć, iż ekwiwalent *hobbit* na stałe zagościł w świadomości czytelników i jest kojarzony wyłącznie z utworami Tolkiena, natomiast neologizm *niziołek* nie jest aż w takim stopniu związany tylko z jednym utworem, co pozwala mu doskonale wpisywać się w językowy obraz fantastycznej rzeczywistości również innych utworów z kręgu fantasy. W tej części artykułu prześledziliśmy dwie drogi angielskiego *hobbita* na grunt języka polskiego oraz jedną na grunt rosyjski.

Obydwa opisane przez nas ekwiwalenty aktywizują w tekście przekładu kategorię obcości⁹, jednakże nie są postrzegane przez odbiorcę przekładu w jednakowy sposób. Zdecydowanie bliższy językowi polskiemu wydaje się ekwiwalent *niziołek*. Polski odbiorca bez trudu odnajdzie w jego strukturze

⁶ J. R. R. Tolkien, *Władca Pierścieni*, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2012, s. 17.

⁷ *Webster's Third New International Dictionary*, Springfield 1981, s. 1075.

⁸ Дж. Р. Р. Толкин, *Властелин Колец*, пер. В. Муравьев, А. Кистяковский, Москва 2008.

⁹ Zob. R. Lewicki, *Obcość w odbiorze przekładu*, Lublin 2000.

motywację słowotwórczą. Może on także oprzeć się na swoich wcześniejszych doświadczeniach – wiedzy uprzedniej, kontaktach z innymi tekstami, kojarząc ten neologizm z *Dusiolką* z jednego z wierszy Bolesława Leśmiana.

Neologizm *hobbit* niesie ze sobą znacznie większy ładunek obcości, czego skutkiem jest swego rodzaju trwale przyporządkowanie go do określonego tekstu oraz znaczne ograniczenie jego międzytekstowej mobilności. Użycie słowa *niziołek* poza tekstem *Władcy Pierścieni* bądź jego przekładami jest również uwarunkowane tym, iż słowo *hobbit* zostało zastrzeżone przez potomków Tolkiena¹⁰.

Kolejnym interesującym nas słowem, niebędącym już jednak neologizmem, lecz mającym swoje źródło w germańskiej mitologii i folklorze, jest użyte przez Tolkiena słowo *dwarf* na określenie jednej z ras zamieszkujących stworzony przez niego świat. W oksfordzkim słowniku języka angielskiego można odnaleźć następującą definicję tej nazwy: „an abnormally undersized person. Any of mythical race of diminutive beings, typically skilled in mining and metalworking and often possessing magical powers, figuring in Scandinavian folklore”¹¹.

Na grunt języka rosyjskiego słowo *dwarf* przeniesione zostało za pomocą ekwiwalentu *гном*, który również został zaczerpnięty z folkloru i oznacza „маленькие антропоморфные существа, обитающие под землей, в горах или в лесу. Ростом они с ребенка, но наделены сверхъестественной силой; носят длинные бороды. Живут гораздо больше, чем люди. В недрах земли хранят сокровища”¹².

Podobnie rzecz się ma z przekładem polskim, jednakże w tym przypadku tłumacze dokonują pewnych modyfikacji leksemów zaczerpniętych ze sfery folkloru. Jerzy Łoziński tłumaczy angielskie słowo *dwarf* jako *krzat*. Łatwo można zauważyć, iż stworzony przez niego ekwiwalent odsyła czytelnika do sfery mitologicznej, do słowa *skrzat*. Podobnie postępuje Maria Skibniewska, tworząc odpowiednik *krasnodud*, od razu kojarzony ze słowem *krasnodudek*. Zarówno ekwiwalent *krzat*, jak i *krasnodud* wywodzą się od słów będących częścią wiedzy uprzedniej odbiorcy przekładu, ale tłumacze zaingerowali w ich strukturę i dopiero po tej formalnej modyfikacji zdecydowali się na zastosowanie ich w tekstach swoich przekładów. Dokonana modyfikacja nazw *skrzat* oraz *krasnodudek* skłania nas do uznania nowo powstałych leksemów stworzonych przez autorów przekładów za neologizmy.

¹⁰ Informacja za: <<http://info.wiadomosci.gazeta.pl/>>.

¹¹ L. Brown (red.), *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Oxford 1993, s. 769.

¹² С.А. Токарев (ред.), *Мифы народов мира*, Москва 1992, s. 307.

Przyczyn modyfikacji powszechnie znanych nazw można upatrywać w tym, iż charakterystyka występujących w powieści Tolkiena ras fantastycznych istot jest zupełnie inna. Przykładem mogą być *krasnomludy*, które na kartach utworu angielskiego pisarza stworzyły własny język, własną kulturę, a także jedno z najpotężniejszych imperiów w dziejach Śródziemia. Jak widać, taki obraz zupełnie nie przystaje do wizerunku krasnomludków ze znanych powszechnie utworów, takich jak *O krasnomludkach i sierotce Marysi* Marii Konopnickiej czy *Królowna Śnieżka* braci Grimm. Zatem wprowadzenie neologizmów można uznać za zabieg słuszny, gdyż istniejące już w języku polskim leksemy *skrzat* i *krasnomlud* nie oddają znaczenia angielskich oryginałów, a poza tym są obciążone dosyć dużym ładunkiem konotacyjnym, odsyłającym odbiorców do sfery mitologii i folkloru.

Teraz pokażemy, jak dwa występujące w przekładach powieści Tolkiena ekwiwalenty, a mianowicie *krasnomlud* i *niziołek*, zadomowiły się w polskiej literaturze fantasy oraz jakie są tego konsekwencje.

Dla zobrazowania wspomnianego zjawiska, tak jak sygnalizowaliśmy we wstępie, wykorzystamy utwory jednego z czołowych polskich przedstawicieli literatury fantasy, tj. Andrzeja Sapkowskiego. Na kartach opowiadań o przygodach wiedźmina Geralta z Rivii możemy spotkać takie rasy fantastycznych stworzeń jak *niziołki* oraz *krasnomludy*, o których była mowa wyżej. Jak można zauważyć, obydwa te leksemy występują tu już jako część nowego tekstu oryginalnego. Sapkowski zapożyczył więc obydwa neologizmy z wcześniejszych przekładów prozy Tolkiena. Należy przy tym zaznaczyć, iż ładunek obcości, jaki niosły ze sobą te dwa ekwiwalenty, został znacznie zmniejszony, aczkolwiek nie zredukowany całkowicie.

W tłumaczeniu na język rosyjski autorstwa Jewgienija Wajsbrotta znajdujemy dla oryginalnych leksemów *niziołek* oraz *krasnomlud* ekwiwalenty *низушек* oraz *краснолюды*. Pierwszy z nich został zbudowany analogicznie do polskiego oryginału, natomiast drugi przeniesiono na grunt języka rosyjskiego za pomocą transkrypcji. W obydwu przypadkach ponownie zostaje uaktywniona kategoria obcości, gdyż dla odbiorcy rosyjskiego obydwa te ekwiwalenty są jedynie stworzonymi przez autora przekładu neologizmami. Nie wywołują one asocjacji odsyłających do sfery folkloru.

Ciekawa zatem wydaje się relacja pomiędzy badanymi leksemami. Oryginalne angielskie słowo *dwarf* zostało przetłumaczone na język rosyjski za pomocą ekwiwalentu *гном*, na język polski jako *krasnomlud*. Z kolei polski oryginał *krasnomlud*, sam będący wcześniej jedynie ekwiwalentem, został oddany w rosyjskim przekładzie Sagi o Wiedźminie jako *краснолюды*. Zatem bezpośredni związek

po między leksemami *dwarf* a *краснолю́д* zostaje dla rosyjskiego odbiorcy zatarty i stworzony przez Marię Skibniewską ekwiwalent zaczyna w jego świadomości funkcjonować jako oryginał. Podobnie rzecz się ma ze słowem *hobbit*, które po rosyjsku zostało oddane jako *хобб́ит*, a polsku jako *hobbit* bądź *niziołek*, a temu ostatniemu w przekładzie opowiadań Sapkowskiego odpowiada słowo *ни́зушек*.

Analizując obydwie sytuacje, można zaobserwować jeszcze jedno ciekawe zjawisko, a mianowicie – niektóre ekwiwalenty są chętniej przyjmowane przez odbiorców niż inne.

Interesujące wydaje się też zjawisko, jakie można zaobserwować w przypadku przekazu występującego w utworach Sapkowskiego słowa *gnom*. W rosyjskim przekładzie *Wiedźmina* zostało ono oddane za pomocą ekwiwalentu *гном*, który z kolei w przekładzie *Władcy Pierścieni* jest odpowiednikiem angielskiego leksemu *dwarf*.

Oprócz ekwiwalentów zastosowanych w przekładach utworów Sapkowskiego, opisywana przez nas leksyka trafia na grunt języka rosyjskiego poprzez tłumaczenia *Władcy Pierścieni*. Jak można zauważyć, powoduje to pewne nieścisłości terminologiczne. Całkowitemu zatarciu ulega źródło, z jakiego wywodzą się ekwiwalenty stosowane przez tłumacza opowiadań Sapkowskiego. Odbiorca rosyjski ma zatem do czynienia z pewnego rodzaju dublowaniem, gdyż użyte w tłumaczeniu powieści Tolkiena ekwiwalenty funkcjonują już na gruncie języka rosyjskiego, a co za tym idzie – również w świadomości jego użytkowników. Niemożliwym natomiast jest, aby znając obydwa opisywane przez nas teksty, dostrzegł on zależność pomiędzy słowami *dwarf* i *краснолю́д*, a także *hobbit* i *ни́зушек*, gdyż ekwiwalenty angielskich oryginałów docierają do niego jako ekwiwalenty oryginałów polskich, użytych przez Sapkowskiego, a następnie przekazanych na grunt języka rosyjskiego.

Schemat wykorzystania poszczególnych ekwiwalentów oraz ich wzajemne relacje przedstawia tabela, w której zestawione zostały analizowane przez nas leksemy.

Oryginał angielski (Tolkien)	Przekład polski (Skibniewska, Łoziński)	Przekład rosyjski (Murawiov, Kistiakowskij)	Oryginał polski (Sapkowski)	Przekład rosyjski (Wajsbroť)
<i>hobbit</i>	<i>hobbit</i> <i>niziołek</i>	<i>хобб́ит</i>	<i>niziołek</i>	<i>ни́зушек</i>
<i>dwarf</i>	<i>krasrólud</i> <i>krzat</i>	<i>гном</i>	<i>krasrólud</i>	<i>краснолю́д</i>
			<i>gnom</i>	<i>гном</i>

Wyraźnie widać, iż opisywane przez nas leksemy „wędrują” poprzez różne teksty, za każdym razem realizując inną funkcję. Raz są częścią tekstu oryginalnego i podlegają prawom nim rządzącym, aby następnie stać się częścią tekstu przekładu i w ten sposób dostać się na grunt języka docelowego. Ponadto powyższa tabela pokazuje, iż Sapkowski czerpie inspiracje z dwóch przekładów *Władcy Pierścieni*, wykorzystując w swoich utworach ekwiwalenty zastosowane przez Skibniewską i Łozińskiego. Użycie przez niego tych leksemów świadczy o stopniu, w jakim weszły one do języka oraz o ich rozpowszechnieniu w środowisku nie tylko literatury fantasy, ale także wśród tłumaczy zajmujących się przekładem popularnych obecnie gier komputerowych. Zanotowaliśmy użycie przez nich zarówno ekwiwalentu *niziolek*, jak i *krasnolud*. Oprócz tego ciekawe wydaje się zjawisko redukcji oraz aktywizacji kategorii obcości w zależności od tego, w jakim tekście (oryginalnym lub przekładzie) zostaną użyte badane przez nas leksemy.

Opisywane przez nas zjawisko „wędrowki autorskich neologizmów” jest dosyć rzadkie, jednakże bardzo ciekawe. Do tej pory zostało ono przez nas zaobserwowane jedynie w odniesieniu do utworów z kręgu literatury fantasy. Dalsze badania pozwolą stwierdzić, czy jest to zjawisko szersze. Jeśli częstotliwość jego występowania wzrośnie, będzie to sygnał, iż popularność nie tylko tekstów oryginalnych, ale i przekładów tekstów tego gatunku staje się coraz większa. Jednocześnie będzie to wyraźny sygnał dla tłumaczy, świadczący o stopniu, w jakim dany przekład jest w stanie zakorzenić się na gruncie danej kultury. Dość istotny wydaje się fakt, iż kolejną konsekwencją związaną z występowaniem tego rodzaju zjawiska jest pojawienie się na gruncie danego języka wyrażen pełniących w pewien sposób „podwójną” funkcję, a mianowicie będących zarówno stworzonym przez tłumacza ekwiwalentem, jak i słowem oryginalnym, które zaczęło funkcjonować w literaturze rodzimej.

Ponadto ciekawe jest, że opisywany w niniejszym artykule proces „wędrowki autorskich neologizmów” wydaje się mieć dość dynamiczny charakter. Wydaje się, iż może on trwać nieskończenie, gdyż tworzone przez tłumaczy ekwiwalenty mogą być wykorzystywane przez innych autorów, a następnie przekazywane na grunt danego języka za pomocą tekstu przekładu. Ich rozprzestrzenianiu sprzyja także szybki rozwój gatunku fantasy oraz przenikanie jego elementów do kultury masowej, głównie za pośrednictwem ekranizacji badanych przez nas utworów, choć także poprzez wykorzystywanie istniejących już przekładów przez innych tłumaczy, w tym także tych zajmujących się przekładem tak bardzo popularnych obecnie gier komputerowych.

Резюме

Phenomenon of „neologisms hike” among texts of fantasy literature as a challenge for translator (based on the material of translated poems of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski into Polish and Russian)

В настоящей статье анализируется проблема „перехода” авторских неологизмов между текстами из жанра литературы фэнтези. Основой наших исследований являются тексты Дж. Р.Р. Толкина и Анджея Сапковского.

„Переход” авторских неологизмов будем понимать как своего рода заимствование писателями такого типа лексики из существующих уже переводов и использование ее в своих произведениях, в которых она начинает функционировать уже не как эквивалент, но как часть нового, созданного на данном языке оригинального текста.

Кроме того, интересно, что процесс „перехода” авторских неологизмов между разными текстами имеет весьма динамический характер. Это вытекает из того, что он может быть бесконечным. Созданные переводчиками эквиваленты могут быть использованы другими авторами, употребляясь как часть лексического запаса языка, на который они раньше передавались и, что за этим следует, могут опять подвергаться процессу перевода.

Summary

Phenomenon of “neologisms hike” among texts of fantasy literature as a challenge for translator (based on the material of translated poems of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski into Polish and Russian)

This paper analyses the problem of “transition” of neologisms created by the author among texts of fantasy literature. Our research is based on the texts of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski „Transition” of neologisms created by the author will be considered as a sort of borrowing of this kind of lexicon from already existing translations and using it in their works, where it starts to function not as equivalent, but as a part of new, created in a given language original text.

It is also worth mentioning, that process of “transition” of neologisms created by the author, between different texts has quite dynamic nature. That is because it might be infinite. Equivalents created by a translator may be used by different authors, as a part of lexicon of the language, to which those were previously translated, therefore, might still be translated.

Key words: neologism, fantasy literature, equivalent, transition of neologisms, text.

Tatiana Kwiatkowska
Uniwersytet Śląski

Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim: paralele i różnice

Kategoria rodzaju jest zagadnieniem językoznawczym ciekawym i szeroko dyskutowanym. Wśród językoznawców można wyodrębnić kilka charakterystycznych stanowisk i sposobów interpretowania kategorii rodzaju. Rodzaj jest kategorią semantyczną. Za Aliną Kępińską przyjmujemy, iż kategoria ta obejmuje wszystkie nazwy, a więc takie, które odnoszą się do desygnatów zróżnicowanych płciowo (rodzaj *naturalny*), jak też do wszystkich pozostałych. Wtórnie rodzaj przysługuje nazwom jako jednostkom leksykalnym i je klasyfikuje. Poza tym w językach flekcyjnych, a takimi są język polski i rosyjski, rodzaj jest kategorią morfologiczną i składniową¹, co wiąże się z jego zdolnością bycia określanym przez odpowiednie formy innych części mowy oraz wstępowania w relacje z częściami zdania. Kryteria morfologiczne, semantyczne oraz składniowe mają swoje uzasadnienie i są podnoszone jako podstawowe przez różnych badaczy. Pytanie o to, czy kategorię rodzaju należy wiązać z wykładnikami formalnymi części mowy, czy z rzeczywistością pozajęzykową (np. płcią), znajdują swoje miejsce i próby odpowiedzi w dyskusjach i teoriach². Dla potrzeb naszego opracowania przyjmujemy za Ałłą Krawczuk, że dla rzeczownika rodzaj jest kategorią klasyfikującą z punktu widzenia morfologii oraz syntaktycznie niezależną i determinującą z punktu widzenia składni³, stąd też przyjmujemy klasyfikacje morfologiczne, które odwołują się do mianownika liczby pojedynczej rzeczownika, gdyż porównywanie kategorii rodzaju w naszej pracy dotyczy słownikowych form rzeczownika. A. Krawczuk nazywa je klasyfikacjami morfologiczno-fonologicznymi⁴.

¹ A. Kępińska, *Wyrównania międzydeklinacyjne oraz negacja a problem genezy rodzaju męsko- i niemeńskoosobowego*, „Prace Filologiczne” 1997, nr XLII, s. 91.

² Por. prace np. Wiesława Stefańczyka, Zygmunta Saloniego, Zofii Zaron.

³ A. Krawczuk, *Gramatyczna kategoria rodzaju w języku polskim i ukraińskim: paralele i kontrasty a glottodydaktyka*, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2012, t. LVIII, s. 156.

⁴ Ibidem, s. 158.

W języku polskim i rosyjskim tradycyjnie uważa się, że w liczbie pojedynczej występują trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki. W języku polskim dodatkowo występuje dla rodzaju męskiego opozycja – męskożywotny i męskonieżywotny, a w liczbie mnogiej – męskoosobowy i niemęskoosobowy⁵. W języku rosyjskim dla liczby mnogiej formy rodzajowe się neutralizują, istnieje podział na rzeczowniki żywotne i nieżywotne, który znajduje swe odbicie we fleksji rzeczowników. Oprócz tego w języku rosyjskim występuje bardzo liczna grupa rzeczowników tzw. rodzaju wspólnego (*обуиъ под*).

Porównywanie kategorii rodzaju dla języków tak pokrewnych i podobnych, jak język polski i rosyjski, minimalizuje rozbieżności w samym znaczeniu kategorii rodzaju, nie mówiąc o różnicach słotwórczych, fleksyjnych czy syntaktycznych⁶, które występują w przypadku porównywania ich w językach niespokrewnionych.

Adaptacja zapożyczenia związana z określeniem dla niego kategorii rodzaju w języku zapożyczającym jest zjawiskiem regularnym zarówno dla języka polskiego, jak i rosyjskiego. Wyraz zapożyczany nie może istnieć w systemie poza kategorią rodzaju. Może nie posiadać sygnałów i wyznaczników tej kategorii (końcówek przypadku, fleksji, sufiksów), opozycji liczby pojedynczej i mnogiej, ale nie może być używany w języku, w mowie bez wskazania na rodzaj.

W toku prowadzonych badań zaobserwowano powtarzające się modele określania czy też „nadawania” kategorii rodzaju dla zapożyczeń z języków europejskich. Większość z nich jest regularna i przede wszystkim dotyczy kryterium semantycznego (rodzaj zgodny z płcią nazywanego obiektu) oraz kryterium formalnego, czyli końcówki słowa. Na jego podstawie w obu językach nowe słowa włączane są do systemów. Prócz tego adaptacja słów zapożyczonych odbywa się według przyjętych w danym języku mechanizmów. Według Swietłany Worobjowej są to: odwołanie do istniejących w danym języku-biorcy typów odmiany, leksykalizacja oraz dodanie elementów słotwórczych charakterystycznych dla danego rodzaju⁷. Jeśli w danym słowie zapożyczanym obecne są elementy słotwórcze, rozpowszechnione już wraz z wcześniejszymi zapożyczeniami, to sprzyjają one nadaniu tego samego rodzaju nowemu zapożyczeniu.

⁵ Zob. [online] <www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=73>.

⁶ O tych rozbieżnościach pisze np. W. Mańczak, *Ile rodzajów jest w polskim?*, „Język Polski” 1956, nr 2, s. 117.

⁷ С.В. Воробьева, *Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке*, „Вестник Минского государственного лингвистического университета. Сер. 1: Филология” 2009, № 5 (42), s. 179.

Ekwiwalencja rodzajowa – modele

Rodzaj żeński (j. ros.) – rodzaj żeński (j. pol.)

Zapożyczenia, którym nadawany jest w języku polskim i rosyjskim rodzaj żeński, to słowa związane z płcią (rodzajem naturalnym) oraz zakończone na *-a* i *-e*. Tak jest z rzeczownikami zapożyczonymi z języka angielskiego (zakończony na *-a* lub *-e*) czy włoskiego (zakończony na *-a* – większą ekwiwalencję dla języka włoskiego w tej grupie obserwujemy w języku polskim), por.: *галерея*⁸ [ит. galleria] – *galeria* [wł. galleria], *эстафета* [фр. estatette < ит. staffetta] – *sztafeta* [wł. staffetta], *пицца* [ит. pizza] – *pizza* [wł. pizza], *гондола* [ит. gondolle] – *gondola* [wł. gondolle], *кантата* [ит. cantata] – *kantata* [wł. cantata], *гвардия* [ит. guardia] – *gwardia* [wł. guardia], *кока-кола* [англ. coca-cola] – *coca-cola* [ang. coca-cola], *пианола* [англ. pianola] – *pianola* [ang. pianola], *стюардесса* [англ. stewardess] – *stewardessa* [ang. stewardess]. Rodzaju żeńskiego są również terminy zapożyczone z języka greckiego, ekwiwalentne dla obu badanych języków, typu: *математика* – *matematyka*, *музыка* – *muzyka*, *физика* – *fizyka*, *история* – *historia*, *геометрия* – *geometria* itp., odmieniające się regularnie według odmiany żeńskiej na *-a*.

Tożsama jest dla obu języków grupa rodzaju żeńskiego z końcówką *-a* i sufiksem *-cj-/muj-, -uj-, -i/-uj-*. Wzorce te upowszechniły się także dla zapożyczeń z innych języków (np. fr. *armia*), np.: *демократия* [гр. demos + kratos] – *demokracja* [gr. demokratia], *декларация* [лат. declaratio] – *deklaracja* [łac. declaratio], *эволюция* [лат. evolutio] – *ewolucja* [łac. evolutio], *экономика* [гр. oikonomia] – *ekonomia* [śrdw.łac. oeconomia], *функция* [лат. functio] – *funkcja* [łac. functio], *администрация* [лат. administratio] – *administracja* [łac. administratio], *религия* [лат. religio] – *religia* [łac. religio]. Jak pisze Moszyńska, formacje na *-ia* zapożyczone z języka łacińskiego (wśród nich kontynuujące łacińskie formacje na *-tia, -sia, -antia, -entia*) są wśród rzeczowników rodzaju żeńskiego najliczniejsze, tworzą podobnie jak w języku łacińskim abstrakta i często występują jako leksyka terminologiczna⁹. Potwierdzają to również przytoczono-

⁸ Materiał został wyodrębniony w oparciu o następujące źródła: *Новейший словарь иностранных слов и выражений*, Минск 2005; *Большой словарь иностранных слов в русском языке*, Москва 1998; *Słownik języka polskiego*, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1994; *Wielki słownik wyrazów obcych PWN*, pod red. M. Bańki, Warszawa 2003; F. Apanowicz, B. Nesterowicz, *Polsko-rosyjski słownik wyrazów obcych*, Gdańsk 2005; B. Nesterowicz, E. Skupińska-Dybek, *Rosyjsko-polski słownik wyrazów obcych*, Gdańsk 2002; *Большой словарь иностранных слов в русском языке*, Москва 1998; *Новейший словарь иностранных слов и выражений*, Минск 2005; A. Минович, И. Дулевич, И. Грек-Пабис, И. Марыняк, *Большой русско-польский и польско-русский словарь*, Москва – Варшава 1993.

⁹ D. Moszyńska, *Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie*, „Prace Językoznawcze” 1975, nr 75, s. 31.

ne przykłady. Inaczej, ale w obu językach paralelnie, odbywa się zapożyczanie z francuskiego oraz niemieckiego. W języku francuskim wykładnikiem kategorii rodzaju są rodzajniki, rzeczowniki nie mają końcówki fleksyjnej *-a*, dlatego rzeczowniki rodzaju żeńskiego zapożyczane z tego języka tracą wygłosowe *e* (które nie jest czytane), a otrzymują w obu językach końcówkę żeńską *-a* i odmieniają się regularnie jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na *-a*, np.: *премьер-а* [фр. premiere] – *premier-а* [fr. première], *гравюр-а* [фр. gravure] – *grawiur-а* [fr. graveur i gravure], *карьер-а* [фр. carrière] – *karier-а* [fr. carrière], *гильотин-а* [фр. guillotine] – *gilotyn-а* [fr. guillotine]. Część tych różnic wynika ze sposobu zapożyczenia (ustne lub graficzne), na co wskazują również kolejne przykłady: *эмаль* [фр. email] – *emalia* [niem. emaille, z fr. email], *ваниль* [фр. vanille] – *wanilia* [fr. vanille], *мигрень* [фр. migraine] – *migrena* [fr. migraine]. Ekwiwalencja ta nie jest ekwiwalencją formalną (w języku rosyjskim końcówka na spółgłoskę miękką, a w języku polskim – regularna końcówka rodzaju żeńskiego *-a*).

Rodzaj męski (j. ros.) – rodzaj męski (j. pol.)

Kategoria rodzaju męskiego jest najbardziej produktywna dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim. Jest to związane ze znaczeniem oraz strukturą zapożyczanych słów, z których olbrzymia większość zakończona jest na spółgłoskę twardą (w zapożyczeniach graficznych lub fonetycznych). W przypadku języków, które nie mają kategorii rodzaju wyrażonej w formantach fleksyjnych (np. francuski i angielski, gdzie wykładnikiem kategorii rodzaju jest rodzajnik, który nie przechodzi wraz z rzeczownikiem zapożyczanym), mechanizm zapożyczania jest dwojaki. Rzeczowniki żywotne przechodzą do danego rodzaju w zależności od rodzaju naturalnego, bez względu na wykładniki formalne, np.: *акванавт* [лат. aqua + гр. nauta] – *akwanauta* [łac. aqua + nauta], *акробат* [гр. akrobates] – *akrobata* [gr. akrobátēs], *интеллектуал* [лат. intellectualis] – *intelektualista* [łac. intellectualis], *продюсер/продюцент* [лат. producens (produceris)] – *producer* [łac. producens], *дирижёр* [фр. diriger] – *dyrygent* [łac. dirigens dpn. dirigentis], *нотариус* [лат. notarius] – *notariusz* [łac. notarius], *демократ* [фр. democrat] – *demokrata* [gr. dēmokratía], *деспот* [гр. despotes] – *despota* [gr. despótēs], *дезертир* [фр. deserteur] – *dezertier* [fr. déserteur], natomiast rzeczowniki nieżywotne stają się najczęściej rzeczownikami rodzaju męskiego dzięki takim formalnym cechom, jak formant zerowy (również nieme samogłoski w wygłosie, np. angielskie *e*) i podstawa słowotwórcza zakończona na spółgłoskę. Wśród rzeczowników rodzaju męskiego dużą grupę stanowią rzeczowniki

abstrakcyjne z formantem *-izm*, zapożyczone najczęściej z języka francuskiego bez niemego *e* w wygłosie, np.: *эгоизм* [фр. egoïsme] – *egoizm* [фр. egoïsme], *импрессионизм* [фр. impressionnisme] – *impresjonizm* [fr. impressionisme], *фанатизм* [фр. fanatisme] – *fanatyzm* [фр. fanatisme].

Nie jest to jedyna grupa rzeczowników rodzaju męskiego. Mechanizmy zapożyczania możemy ująć w następujące grupy:

1. Utrata wygłosowego niemego *e* (język angielski i francuski) lub końcówki *-o*, *-e* (język włoski), np.: ang. *folklore*, ang. *cottage*, fr. *remonte*, fr. *creme*, wł. *tenore*, wł. *fresco*.

2. Zapożyczenie bez zmiany formalnej i rodzajowej (język angielski i niemiecki), np.: niem. *Wechsel*, ang. *sejf*, ang. *motel*.

3. Zapożyczenie ze zmianą formalną, utratą charakterystycznych sufiksów typu: *-us*, *-er*, *-os* (język łaciński i grecki), np.: *pedagog* [gr. paidagōgós], łac. *numer* [łac. numerus].

Rodzaj nijaki (j. ros.) – rodzaj nijaki (j. pol.)

Cechą charakterystyczną rzeczowników, które przeszły po zapożyczeniu do rodzaju nijakiego, jest ich niewielki (najmniejszy spośród wszystkich trzech rodzajów) stopień asymilacji. Zapożyczenia rodzaju nijakiego w języku rosyjskim są nieodmienne, w języku polskim występuje tendencja do odmiany według wzorców deklinacyjnych dla rodzaju nijakiego. Do rodzaju nijakiego trafiają wszystkie te rzeczowniki, które nie mieszczą się w omawianych wcześniej grupach, nie posiadają wykładników formalnych pozwalających na to oraz należą do rzeczowników nieżywotnych.

Badania kategorii rodzaju przeprowadzone przez Wiesława Stefańczyka potwierdzają dla języka polskiego tendencję przynależności wyrazów nieodmiennych do rodzaju nijakiego. Podaje on, że na 480 zbuczanych przez niego leksemów nieodmiennych 400 należy do rodzaju nijakiego¹⁰. Podstawową przeszkodą w asymilacji nierodzimych słów jest ich budowa – podstawa słowotwórcza zakończona na samogłoskę (w przypadku rodzimych słów rodzaju nijakiego podstawa słowotwórcza zakończona jest na twardą lub miękką spółgłoskę z fleksją *-o*, *-e* lub *-a*). W związku z tym wydają się one najbardziej obce systemom gramatycznym języka polskiego i rosyjskiego. Niezależnie jednak od tego, zostały one do tych systemów włączone, posiadają kategorię rodzaju, a w języku polskim większa część z nich również się odmienia, w związku z tym możemy

¹⁰ W. Stefańczyk, *Kategoria rodzaju i przypadku polskiego rzeczownika*, Kraków 2007, s. 44–45.

w zebranych materiale wyróżnić dwa modele: *rodzaj nijaki* (j. ros. ndm) – *rodzaj nijaki* (j. pol. odm) oraz *rodzaj nijaki* (j. ros. ndm) – *rodzaj nijaki* (j. pol. ndm).

Rodzaj nijaki (j. ros. ndm) – rodzaj nijaki (j. pol. odm)

Do tej grupy należą przede wszystkim rzeczowniki o podstawie zakończonej na *-o*, w języku polskim większość z nich jest odmieniana, w związku z czym *-o* staje się końcówką fleksyjną charakterystyczną dla rodzaju nijakiego: *пианино* [ит. *piano*] – *piano* [wł. *piano*], *ландо* [соб. (фр.) *landeau*] – *lando* [fr. *landau*], *болеро* [исп. *bolero*] – *bolero* [hiszp. *bolero*], *бюро* [фр. *bureau*] – *biuro* [fr. *bureau*], *казино* [фр. < ит. *casino*] – *kasyno* [wł. *casino*], *мotto* [ит. *motto*] – *motto* [wł. *motto*], *гетто* [ит. *ghetto*] – *getto* [wł. *ghetto*], *ризотто* [ит. *risotto*] – *risotto* [wł. *risotto*] i inne.

Rodzaj nijaki (j. ros. ndm) – rodzaj nijaki (j. pol. ndm)

Nieodmiennymi zapożyczonymi są w języku polskim rzeczowniki zakończone na samogłoski *-i*, *-oa*, *-u*, *-ao* oraz sylabę akcentowaną. Dla tego modelu można przytoczyć następujące przykłady np.: *салами* [ит. *salame*] – *salami* [wł. l. mn. od *salame*], *алиби* [лат. *alibi*] – *alibi* [łac. *alibi*], *меню* [фр. *menu*] – *menu* [fr. *menu*], *табу* [полинез. *tabu*] – *tabu* [polinez. *tabu*], *боа* [лат. *boa*] – *boa* [łac. *boa*], *какао* [мекс. *cacao*] – *kaкао* [hiszp. *cacao*], *ателье* [фр. *atelier*] – *atelier* [fr. *atelier*], *жюри* [фр. < англ. *jury*] – *jury* [fr. *jury*], *аташе* [фр. *attaché*] – *attache* [fr. *attaché*]. Podobnie również: *граффити* – *граффитуми*, *bikini* – *бикини*, *kakadu* – *какаду* i inne.

Brak ekwiwalencji rodzajowej – modele

Rodzaj żeński (j. ros.) – rodzaj męski (j. pol.)

Pierwszą grupą kontrastywną jest model, w którym rzeczowniki zapożyczone w języku rosyjskiego nabywają rodzaj żeński, natomiast w polskim rodzaj męski¹¹. Różnice w kategorii rodzaju możemy uporządkować według dwóch kryteriów: pierwsze to różnica formalna wynikająca ze sposobu zapożyczenia lub też przypadku, w jakim dany rzeczownik został zapożyczony z języka-biorcy, drugie kryterium wynika z drogi zapożyczenia za pośrednictwem innych języków.

¹¹ Pisze o tym również Marian Jurkowski w opracowaniu dotyczącym kategorii rodzaju dla rzeczowników obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim: M. Jurkowski, *Rodzaj gramatyczny rzeczowników obcego pochodzenia w języku polskim i ukraińskim*, „Prace Filologiczne” 1997, t. XLII, s. 84.

Pierwszy typ posiada cechę formalną, jaką jest wygłosowe *-t* w języku polskim (charakterystyczne dla rodzaju męskiego) oraz jego brak i końcówka żeńska *-a* w języku rosyjskim typu: *эмблема* [лат. *emblemata* < гр.] – *emblemata* [gr. *émblēma*], *дилемма* [гр. *di+lemma*] – *dylemata* [gr. *dilēmma*], *аксиома* [гр. *aksiōma*] – *aksjomata* [gr. *aksiōma*], *амальгама* [ар. < гр. *malagma*] – *amalgamata* [śrdw.łac. *amalgama*], *схема* [гр. *schema*] – *schemata* [gr. *schēma*], *парадигма* [гр. *paradeigma*] – *paradygmata* [późn. łac. *paradigma*], *поэма* [гр. *poiēma*] – *poemata* [poiēma], *призма* [гр. *prisma*] – *pryzmata* [gr. *prisma*], *тема* [гр. *thēma*] – *temata* [gr. *thēma*], *драмма* [гр. *drāma*] – *dramata* [gr. *drāma*]. Może to być również zapożyczenie z języka francuskiego z niemym *-e* (jako podtyp): *лексема* [гр. *lexis*] – *leksema* [ang. *lexeme*, fr. *lexeme*], *система* [гр. *systema*] – *system* [fr. *systeme*], *морфема* [гр. *morphēma*] – *morfema* [fr. *morpheme*], *фонема* [гр. *phonēma*] – *fonema* [fr. *phoneme*], *проблема* [гр. *problema*] – *problema* [fr. *probleme*], *диадема* [гр. *diadēma*] – *diadema* [fr. *diademe*].

Ten sam model reprezentuje również kolejna charakterystyczna i regularnie występująca dla obu języków zapożyczających grupa z elementem greckim *-gramma*, w której różnica rodzajowa wynika ze źródła zapożyczenia. W języku polskim językiem-pośrednikiem jest język francuski, dlatego element grecki *-gramma* zapożyczony jest jako zmodyfikowany językiem pośredniczącym, w związku z czym następuje zmiana rodzaju na męski: *диаграмма* [гр. *diagramma*] – *diagram* [fr. *diagramme*], *программа* [гр. *prógramma*] – *program* [fr. *programme*], *телеграмма* [гр. *tele+gramma*] – *telegram* [fr. *telegramme*], *кардиограмма* [гр. < *kardia+gramma*] – *kardiogram* [fr. *cardiogramme*], *анаграмма* [гр. *ana+gramma*] – *anagram* [fr. *anagramme*].

Inny model reprezentują słowa zapożyczone z tego samego języka, ale w różny sposób: dla języka rosyjskiego rodzaj pozostaje ten sam co w źródle, dla języka polskiego ze względu na formę i specyfikę systemu zapożyczenia zmieniają rodzaj na męski (specyfika słowotwórczo-fleksyjna), np.: *деталь* [фр. *détail*] – *detal* [fr. *détail*], *медаль* [фр. *medaille*] – *medal* [fr. *medaille*], *ретушь* [фр. *retouche*] – *retusz* [fr. *retouche*], *модель* [фр. *modele*] – *model* [fr. *modele*], *фальшь* [нем. *falsch*] – *falsz* [niem. *falsch*]. Najwięcej zapożyczeń w tej grupie stanowią zapożyczenia z języka francuskiego.

Rodzaj męski (j. ros.) – rodzaj żeński (j. pol.)

Jest to najliczniejsza podgrupa wśród grup nieekwiwalentnych. Odnajdujemy tu różnice związane ze sposobem zapożyczania (graficzne lub fonetyczne, zapożyczenie formy lub rodzaju), języka będącego źródłem oraz języków-pośredników. Wykładnikiem formalnym, jedynym dla języka polskiego, we

wszystkich przykładach jest fleksja żeńska *-a*. Dla języka rosyjskiego są to zakończenia na spółgłoskę miękką lub twardą, co jest równoznaczne z klasyfikacją do rodzaju męskiego.

Grupy przez nas wyodrębnione wskazują na charakterystyczne tendencje. Pierwszą z nich jest zapożyczenie drogą ustną dla języka rosyjskiego, co związane jest z utratą niemego *-e* w przypadku języka francuskiego (najliczniej reprezentowane zapożyczenia) oraz zapożyczenie związane z rodzajem w języku polskim, np. *девуз* [фр. devise] – *dewiza* [fr. devise], *вокализ* [фр. vocalise] – *wokaliza* [fr. vocalise], *склероз* [фр. sclerose] – *skleroza* [fr. sclerose], *гипноз* [фр. hypnose] – *hipnoza* [fr. hypnose], *гипостаз* [фр. hypostase] – *hipostaza* [fr. hypostase], *протез* [фр. prothese] – *proteza* [fr. prothese] i inne.

Jak udowadnia Marian Jurkowski, język polski przejął te wyrazy z języka francuskiego drogą semantyczną, zachowując wpływ łacińskich form rodzaju żeńskiego¹². W języku francuskim oraz niemieckim nazwy te, oznaczające terminy z dziedziny medycyny, farmacji lub innych nauk, są rodzaju żeńskiego i taki rodzaj pozostaje w języku polskim¹³.

Ten sam sposób zapożyczenia, a więc ten sam model prezentuje szereg innych zapożyczeń. Grupujemy je oddzielnie ze względu na brak najliczniejszych charakterystycznych sufiksów, które wystąpiły we wcześniej omówionych grupach. Są to zapożyczenia z różnych języków zachodnioeuropejskich: *аккредитив* [нем. akkreditiv] – *akredytywa* [fr. accréditif], *анклав* [фр. enclave] – *enklawa* [fr. enclave], *визит* [фр. visite] – *wizyta* [fr. visite], *мармелад* [фр. marmelade] – *marmolada* [fr. marmalade], *маскарад* [фр. mascarade] – *maskarada* [fr. mascarade], *фасада* [фр. facade] – *fasada* [fr. façade], *палисад* [фр. palissade] – *palisada* [fr. palissade], *люнет* [фр. lunette] – *luneta* [fr. lunette], *локомотив* [фр. locomotive] – *lokomotywa* [fr. locomotive], *авангард* [фр. avant-garde] – *awangarda* [fr. avant-garde], *каскад* [фр. cascade] – *kaskada* [fr. cascade].

Rodzaj żeński (j. ros.) – rodzaj nijaki (j. pol.)

Dwa kolejne modele posiadają tę samą cechę wspólną – to rzeczowniki zapożyczone z języka łacińskiego posiadające człon *-um*. Do języka rosyjskiego weszły one odpowiednio do rodzaju żeńskiego (w tym modelu) lub męskiego

¹² Ibidem, s. 86.

¹³ Ibidem, s. 87.

(model kolejny)¹⁴. Nowsze zapożyczenia na *-um* w języku polskim weszły do rodzaju męskiego i mają regularną odmianę (np. *tlum*, *album*), większość jednak pozostała nieodmienna w liczbie pojedynczej i przeszła do rodzaju nijakiego. W liczbie mnogiej rzeczowniki te zyskały końcówkę *-a* (*muzea*, *seminaria*, *imperia*) i odmieniają się regularnie. Nie zmieniły one rodzaju, pozostając w języku polskim rzeczownikami rodzaju nijakiego, zmienił się natomiast status członu *-um*, gdyż wszedł on do podstawy słotwórczej wyrazów w języku polskim. Odpowiednikiem dla nich w tym modelu jest dla języka rosyjskiego rzeczownik rodzaju żeńskiego z końcówką żeńską *-ия*, np.: *гимназия* [гр. gymnasion] – *gimnazjum* [łac. gymnasium], *эпитафия* [гр. epitaphion] – *epitaфіum* [łac. epitaphium], *территория* [лат. territorium] – *terytorium* [łac. territorium], *амбулатория* [лат. ambulatorius] – *ambulatorium* [łac. ambulatorius], *стипендия* [лат. stipendium] – *stypendium* [łac. stipendium], *империя* [лат. imperium] – *imperium* [łac. imperium]. Jest to liczna grupa, znalazły się tutaj również: *subsydium* – *субсидия*, *kolegium* – *коллегия*, *intermedium* – *интермедия*, *misterium* – *мистерия*, *panaceum* – *панацея*, *preludium* – *прелюдия*, *observatorium* – *обсерватория*, *oratorium* – *оратория*, *laboratorium* – *лаборатория*, *latyfundium* – *латифундия* i inne.

Rodzaj męski (j. ros.) – rodzaj nijaki (j. pol.)

Druga grupa, w której zachowany jest dla języka polskiego rodzaj nijaki i jego łaciński wykładnik *-um*, jest również grupą regularną. To model posiadający w zasadzie trzy możliwe warianty związane z wykładnikami formalnymi w języku rosyjskim. Pierwszy z nich wygląda następująco: *делириум* [лат. delirium] – *delirium* [łac. delirium], *дельфинарий* [лат. delfin+arium] – *delfinarium* [łac. delfin+arium], *гербарий* [ср.-лат. herbarius] – *herbarium* [późn.łac. herbarium], *виварий* [лат. vivarium] – *wiwarium* [łac. vivarium], *бенефиций* [лат. beneficium] – *beneficjum* [śrdw.łac. beneficium], *критерий* [гр. kriterion] – *kryterium* [późn.łac. criterium] lub ze zmianą w języku rosyjskim: *мавзолей* [лат. mausoleum] – *mauzoleum* [łac. mausoleum], *музей* [лат. musaeum] – *muzeum* [łac. musēum], *лицей* [лат. lycēum] – *liceum* [łac. lycēum]. Drugim wariantem w tym modelu jest końcówka zerowa dla rodzaju męskiego zapożyczeń łacińskich na *-um* – to najmniej liczna grupa wśród badanych rzeczowników: *гонорар* [лат. < honorarius] – *honorarium* [łac. honorarium], *центр* [нем. < лат.

¹⁴ Jan Safarewicz w języku polskim grupuje je jako nowe zapożyczenia, bo stare, przeszły do grupy wyrazów na *-o* (np. *wino*). Zob. J. Safarewicz, *Wpływ łaciński na system gramatyczny polszczyzny*, [w:] *Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski*, Wrocław 1972, s. 145–150.

centrum] – *centrum* [łac. centrum], *спектр* [лат. spectrum] – *spektrum* [łac. spectrum], *аксессуары* [fr. accessoire] – *akcesorium* [niem. akzessorium], *семинар* [лат. seminarium] – *seminarium* [łac. seminarium]. Jako trzeci i najbardziej oczywisty możemy wskazać wariant, w którym jednostki pod względem formalnym są tożsame (ten sam człon *-um*), różni je tylko rodzaj oraz odmiana regularna w języku rosyjskim i jej brak w języku polskim, np. *коллоквиум* [лат. colloquium] – *kolokwium* [łac. colloquium], *форум* [лат. forum] – *forum* [łac. forum], *техникум* [лат. technicum] – *technikum* [łac. technicum], *ультиматум* [лат. ultimum] – *ultimatum* [śrdw.łac. ultimum], *референдум* [лат. referendum] – *referendum* [łac. referendum], *минимум* [лат. minimum] – *minimum* [łac. minimum], *президиум* [лат. praesidium] – *prezydium* [łac. praesidium].

Podsumowując oba modele związane wspólnym wykładnikiem formalnym języka źródłowego *-um*, jeszcze raz powtórzmy, że w języku polskim zapożyczenia te przeszły w niezmienionej formie (również bez zmiany rodzajowej) do rodzaju nijakiego jako rzeczowniki nieodmienne w liczbie pojedynczej. W języku rosyjskim zapożyczenia te przeszły do rodzaju męskiego lub żeńskiego, czyli zawsze ze zmianą rodzajową, jak też w większości przypadków ze zmianą formalną końcówki fleksyjnej na żeńską *-ия* lub męską z możliwymi wariantami: *-ий*, *-ей*, $\emptyset$.

Rodzaj nijaki (j. ros.) – rodzaj męski (j. pol.)

Ostatnie dwa modele prezentujące brak ekwiwalencji rodzajowej możemy badać wspólnie, gdyż w obu występuje dla języka rosyjskiego rodzaj nijaki i są to rzeczowniki nieodmienne.

Zapożyczenia nieekwiwalentne rodzajowo z języka francuskiego wynikają ze sposobu zapożyczenia. W języku polskim związane jest to z zakończeniem na spółgłoskę, co powoduje automatyczne przyporządkowanie do rodzaju męskiego, a w rosyjskim na akcentowaną samogłoskę (*-o*, *-e*, *-u*), typu: *биде* [фр. bidet] – *bidet* [fr. bidet], *кабаре* [фр. cabaret] – *kabaret* [fr. cabaret], *бильбоке* [фр. bilboquet] – *bilbokiet* [fr. bilboquet], *филе* [фр. filet] – *filet* [fr. filet], *марабу* [фр. marabout] – *marabut* [fr. marabout]. Różnica wynika ze sposobu zapożyczenia: w języku rosyjskim są to zapożyczenia ustne, a w polskim graficzne. Do języka rosyjskiego przeszły w ten sposób także: *жабо*, *портмоне*, *фойе* i inne, zmieniając rodzaj na nijaki (w języku polskim rodzaj został również zapożyczony). Zapożyczenia kategorii rodzaju męskiego z języka francuskiego powodują również wyrównywanie podstaw słowotwórczych w sytuacji, gdy rzeczownik zapożyczany jest drogą ustną poprzez dodanie elementu charakterystycznego dla rodzaju męskiego w języku polskim: *дезабилье* [фр. deshabelle] – *dezabil*

[fr. déshabillé], *декольте* [фр. décollete] – *dekolt* [fr. décollete], *сuffed* [фр. soufflé] – *suflet* [fr. soufflé], *неглиже* [фр. negligé] – *negliż* [fr. negligé]. Wspomniane zasady i sposoby zapożyczania dotyczą również innych języków, choć jest ich znacznie mniej, np.: *эссе* [фр. essai] – *esej* [ang. essay, z fr. essai], *промилле* [лат. pro mille] – *promil* [łac. pro mille], *барокко* [ит. barocco] – *barok* [wł. barocco], *моралие* [фр. moralite] – *moralitet* [niem. moralität, za fr. moralité], *алоэ* [лат. aloe] – *aloes* [fr. aloes], *кенгуру* [англ. kangaroo] – *kangur* [ang. kangaroo].

Rodzaj nijaki (j. ros.) – rodzaj żeński (j. pol.)

Zapożyczanie z włączeniem do rodzaju żeńskiego łączy się w języku polskim z dodaniem charakterystycznej fleksji rodzaju żeńskiego, w niektórych przypadkach również sufiksu, co powoduje w dużym stopniu zanik obcości tych leksemów. Większość zapożyczeń dla tej grupy pochodzi z języka francuskiego. Dla języka rosyjskiego są to rzeczowniki zakończone na akcentowane samogłoski *-e*, *-u*, *-y*, np. *драже* [фр. dragee] – *draża*, *дражка* [fr. dragee], *мулине* [фр. moulinet] – *mulina* [fr. mouline], *нанемпу* [фр. papeterie] – *papeteria* [fr. papeterie], *дранпу* [фр. draperie] – *draperia* [fr. draperie], *колье* [фр. collier] – *kolia* [fr. collier], *ревю* [фр. revue] – *rewia* [fr. revue], *безе* [фр. baiser] – *beza* [fr. beiser], *саше* [фр. sachet] – *saszetka* [fr. sachet], *реноме* [фр. renommée] – *renoma* [fr. renommée].

Badanie ekwiwalencji oraz jej braku w ramach kategorii rodzaju rzeczownika jest procesem wymagającym uwzględniania szeregu czynników języka-biorcy, jak również źródła zapożyczenia i ewentualnych pośredników na drodze zapożyczania. Ponieważ zarówno język polski, jak i rosyjski należą do języków fleksyjnych, posiadających w liczbie pojedynczej trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki, badanie ekwiwalencji wykazało wszystkie możliwe kombinacje odpowiedniości rodzajowej. Nie wszystkie grupy są tak samo liczne. Wśród największych znalazł się model *rodzaj męski (j. ros.) – rodzaj męski (j. pol.)* oraz *rodzaj męski (j. ros.) – rodzaj żeński (j. pol.)*. Potwierdza to tezę, iż rodzaj męski jest najczęstszym rodzajem, do którego zapożyczane są wyrazy z innych języków. Dużą grupę stanowią zapożyczenia do rodzaju nijakiego w języku rosyjskim, które w języku polskim nie tworzą jednolitej odpowiadającej grupy. Odnajdujemy je i w rodzaju nijakim, i żeńskim i męskim.

Osobnym, ważkim, lecz niepodejmowanym tutaj przez nas szczegółowo jest problem dubletów oraz wahań w ustaleniu rodzaju dla niektórych rzeczowników. Dotyczy to w dużym stopniu zapożyczeń z języka angielskiego¹⁵. Interesujące w tym aspekcie są badania przeprowadzone przez Elenę Marinową na materiale języka internetu i prasy. Wahania w kategorii rodzaju według niej spowodowane są dwoma czynnikami: formalną analogią (nowe słowo wchodzi do danego rodzaju ze względu na podobieństwo formalne do starszych zapożyczeń, np. *шоп*) oraz analogią znaczeniową (nowe słowo otrzymuje rodzaj ze względu na semantyczną zbieżność ze słowami rodzimymi tej samej kategorii np. *биеннале* r.ż. – *выставка* r.ż.). Marinowa umieszcza w swoich rozważaniach również ciekawą i perspektywiczną myśl, że pozycja rodzaju nijakiego jako podstawowego dla zapożyczeń w ostatnich latach uległa w języku rosyjskim znacznemu osłabieniu. O ile dla rzeczowników zapożyczonych z wygłosowym *-o* jest ona jeszcze mocna, o tyle zapożyczone rzeczowniki nieżywotne zakończone na inne samogłoski często zasilają również rodzaj męski i żeński, np. *фэнтези* (r.ż.), *сна* (r.m.), *гран-нпу* (r.m.)¹⁶. Stefańczyk, omawiając na gruncie języka polskiego wyrazy nieodmienne, także podkreśla, że rzeczowniki nieodmienne posiadają rodzaj żeński lub męski w przypadku zdeterminowania przez semantykę¹⁷.

Wśród najczęstszych przyczyn kontrastów rodzajowych można wskazać z pewnością produktywność danego rodzaju w badanym języku, źródło zapożyczenia i sposób oraz semantyka wyrazów.

Резюме

*Грамматическая категория рода заимствований в русском и польском языках
– параллели и отличия*

В статье рассматривается проблема категории рода для существительных заимствованных русским и польским языками. Материал взятый для анализа это, главным образом, лексемы из латинского и греческого языков, заимствованные посредством западноевропейских языков. Единицы сгруппированы по принципу сходств и отличий в рамках данной категории. Исследования позволили выделить характерные модели и способы адаптации заимствований, ссылаясь на принципы и механизмы характерные для этих языковых систем. Материал показал и современные тенденции родовой принадлежности для новейших заимствований.

¹⁵ Por. np. K. Luciński, *Anglicyzmy w języku polskim i rosyjskim*, Kielce 2000, s. 68.

¹⁶ Е.В. Маринова, *Варьирование иноязычных слов по роду в современной русской речи*, „Lingua Mobilis” 2010, nr 7 (26), s. 29–30.

¹⁷ W. Stefańczyk, op. cit., s. 46.

Summary

*Grammatical category of gender for borrowings in Polish and Russian:
parallels and differences*

This paper analyses the category of gender for nouns borrowed into Polish and Russian languages. Empirical base for the research are lexemes borrowed from Greek and Latin languages with or without intermediary function of the Western European languages. The units are divided according to symmetry and asymmetry occurring within this category. The research has identified the most characteristic manners and models in which borrowings have adapted in other languages as well as some mechanisms of gender classification with reference to trends and principles found in both systems. It also indicates some trends in gender classification for the most recently adapted borrowings.

Key words: borrowing, gender, grammar category.

Maryna Michaluk
Uniwersytet w Białymstoku

Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zjawisko dearchaizacji

Lata 90. XX i początek XXI wieku charakteryzowały się burzliwymi procesami socjalno-politycznymi, które wywarły silny wpływ na różne sfery współczesnego języka rosyjskiego. Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że język przeżywał wówczas zmiany o charakterze rewolucyjnym. W największym stopniu dotyczyły one leksyki. Nowe formy stosunków społecznych znalazły odzwierciedlenie w neologizmach słowotwórczych, w ogromnej ilości zapożyczeń, w procesach dearchaizacji oraz różnorodnych zmianach semantycznych. Wymienione zjawiska najłatwiej zaobserwować na przykładzie języka publicystyki i polityki, ponieważ w tych właśnie sferach najwyraźniej przejawiają się procesy semantyczne i leksykalne uwarunkowane zmianami społeczno-politycznymi.

Współczesny język rosyjski poszerzał zasoby słownictwa nie tylko dzięki zapożyczeniom zewnętrznym (czyli pochodzącym z innych języków), ale także wewnętrznym. W niniejszym artykule na przykładzie rosyjskiej leksyki społeczno-politycznej zaprezentowano zjawisko przejścia leksemów z pasywnego do aktywnego zasobu językowego, tj. podjęto problem zapożyczeń wewnętrznych. Materiał badawczy wyekscerpowano z kilku słowników wydanych w latach 1938–2012, co pozwoliło na prześledzenie zmiany znaczenia lub zniesienia kwalifikatorów wskazujących na nacechowanie ideologiczne.

Wzbogacenie zasobu leksykalnego współczesnego języka rosyjskiego, w tym leksyki społeczno-politycznej, jest rezultatem określonych procesów semantycznych. N. S. Valgina¹ wyodrębnia trzy podstawowe typy takich procesów²:

1. Rozszerzenie znaczenia – zjawisko to dotyczy znaczeń wielu dawno znanych słów, w których zaszły wyraźne zmiany. Swoiste rozszerzenie znaczenia można zauważyć w leksemach oznaczających pojęcia prawne, moralne i społeczno-polityczne. Słowa typu *правосудие, справедливость, гуманность*,

¹ Zapis nazwisk rosyjskich zgodny jest z PN-ISO 9 2000: Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.

² Н.С. Валгина, *Активные процессы в современном русском языке*, Изд. Логос, Москва 2003, s. 83–87.

демократия, партия, реализм w czasach sowieckich miały dość wąskie znaczenie, uwarunkowane jednoznacznym kontekstem (*советское право, социалистическая гуманность, социалистический реализм*), a dziś zakres ich zastosowania znacznie się poszerzył – dany leksem często obrósł całą grupą nowych znaczeń. Jako przykład można podać słowo *диалог*, które weszło do języka polityki i języka biznesu dzięki nabyciu nowych znaczeń (np. *диалог с оппозицией, диалог с фирмой не получился*). Rozszerzeniu znaczenia często towarzyszyło zjawisko polityzacji. Dotyczyło ono słów neutralnych (np. *перестройка, прорыв, подвигка, застой*), które w nowych kontekstach nabrały nowych znaczeń społeczno-politycznych. Jako przykład może posłużyć leksem *подвигка*. Do okresu przemian lat 90. XX wieku miał on wąskie i specjalistyczne znaczenie (*подвигка морского дна, подвигка льда*), a zostało ono rozszerzone dzięki kontekstom społeczno-politycznych (np. *подвигка в области российско-американских отношений, подвигка в союзных структурах*).

2. Zawężenie znaczenia polega na utracie części znaczenia, jednego ze znaczeń bądź konotacji znaczeniowej. N.S. Valgina zwróciła uwagę na procesy depolityzacji i deideologizacji³. Polegają one na „uwolnieniu” znaczenia słów od politycznej i ideologicznej nadbudowy. Na przykład leksem *диссидент* został pozbawiony negatywnego zabarwienia, leksemy *бизнес, коммерсант, миллионер, предприниматель, частник* także utraciły negatywne nacechowanie ideologiczne, pozbawiono je komentarza, wskazującego na odniesienie do ustroju kapitalistycznego czy społeczeństwa burżuazyjnego.

3. Zmiana znaczenia w niektórych przypadkach następuje razem z procesami rozszerzenia lub zawężenia znaczenia. Poprzez metaforyzację lub analogię pojawiają się bowiem nowe słowa-homonimy. Zmiana znaczenia może być spowodowana nie tylko wewnętrznymi potrzebami języka, ale również dążeniem (np. dziennikarzy) do stworzenia modnego słowa możliwego do zastosowania w dowolnej sytuacji. Zwraca na to uwagę Han-Pira⁴, pisząc o nowych zastosowaniach przymiotników *знаковый* i *культовый*, które we współczesnej prasie zupełnie utraciły swoje pierwotne znaczenia.

Zmiany językowe, wywołane przez różnorakie wstrząsy i przemiany społeczno-polityczne, doprowadziły do pojawienia się zupełnie nowych słów. Stały się też źródłem nowych zastosowań słów już istniejących w systemie

³ Ibidem.

⁴ Эр. Хан-Пира, *Государственный чиновник и письменное делопроизводство*, „Русская речь” 1998, nr 2, s. 50.

leksykalnym i posiadających określone znaczenia. Mówiąc o powrocie „starych” słów i wyrażań, mamy na myśli te elementy językowe, których kiedyś zaprzestano używać, w związku z czym trafiły do pasywnego zasobu językowego.

Potrzeba sięgnięcia do „starych” zasobów językowych została wywołana koniecznością zapalenia „референциальных лакун”⁵, powstałych w rezultacie przebudowy systemu społeczno-politycznego w Rosji⁶. Chęć odcięcia się od struktur komunistycznych i sentyment do tradycji, czyli Rosji sprzed roku 1917, przywrócił do życia takie leksemy, jak *чиновник*, *губернатор*, *Дума*. W epoce radzieckiej wymienione leksemy były opatrzone w słownikach komentarzem typu „в царской России”, „в дореволюционной России”, „в старой России” lub „в России до 1917 года”, np.: *дума* – ‘название некоторых государственных учреждений (в старой России). Государственная д. (выборный орган городского управления в царской России)’ [Ож 1973, 167]; *чиновник* – ‘в буржуазных странах и в России до революции: государственный служащий, имеющий чин, служебное звание’ [Ож 1973, 812].

Jak zauważył Han-Pira, leksem *чиновник* uzyskał nowe znaczenie, tj.: ‘человек, занимающий невыборный административно-распорядительный пост’, czyli „произошло расширение значения: исчезла сема «государственная служба», а сему «чин» заменила сема «должностное лицо»”⁷. Nowe znaczenie słowa *чиновник* można zaprezentować w następującym kontekście: *Может ли государственный чиновник или выборное лицо ехать по приглашению в Ниццу?*⁸. Wspomniany leksem oznacza tu urzędnika państwowego mianowanego na określone stanowisko, ale nie w efekcie z wyborów. I rzeczywiście: współczesne słowniki objaśniające języka rosyjskiego prezentują dwa znaczenia słowa *чиновник*: ‘1. Государственный служащий; 2. Должностное лицо, выполняющее свою работу формально, следуя предписаниям, без живого участия в деле; формалист, бюрократ’ [БТС, 1480]. Pierwsze znaczenie danego leksemu wyraźnie wskazuje na jego przynależność do leksyki politycznej, natomiast w drugim przypadku na związek z polityką wskazuje kontekst.

⁵ „Референциальные лакуны” – umowne określenie luk w leksyce, rozumianych jako brak wyrazów zdolnych do wskazywania i nazywania przedmiotów (zjawisk) otaczającej rzeczywistości (wyjaśnienie autorki artykułu).

⁶ Е.В. Какорина, *Трансформация лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет)*, [w:] *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)*, отв. ред. Е.А. Земская, Изд. Языки русской культуры, Москва 2000, s. 68.

⁷ Эр. Хан-Пира, op. cit., s. 50.

⁸ „Московские новости” 1995, nr 22.

Pierwotne znaczenia słów, które powróciły z „obrzeży” języka, nie były przejmowane automatycznie, lecz z uwzględnieniem przeorientowania na współczesne realia, czyli „stare” znaczenie zupełnie nie zniknęło, zostało jedynie przystosowane do aktualnych warunków. Mówi o tym M.V. Il'in: „Хронополитический анализ позволяет установить, что на деле ни одна эпоха не отбрасывает предыдущей, но находит способы усвоить то, что было создано ранее и нарастить свой уровень сложности”⁹.

Analizując zmiany i procesy leksykalne końca XX wieku związane z wykorzystaniem pasywnych zasobów językowych, E.V. Kakorina zwróciła szczególną uwagę na wykorzystanie historyzmów i archaizmów, a ponadto na zastosowanie leksyki konfesyjnej¹⁰. Autorka wskazała na sprzyjające warunki społeczno-kulturowe, tj. zmianę realiów społecznych, odradzanie się tradycji i wartości duchowych oraz kulturowych, budowanie nowego systemu wartości na ugruntowanych zasadach moralnych utraconych w toku wydarzeń historycznych. Historyzmy leksykalne, np. *дума, губерна́тор, гимна́зия, лицей* itp., w większości przypadków są wykorzystywane w celu wypełnienia luk nominacyjnych związanych z nowymi realiami życia.

Użycie przestarzałej leksyki w badanym okresie łączy w sobie dwa różne procesy:

- aktywizację jej użycia (archaizm występuje jako środek stylistyczny);
- aktualizację znaczenia słowa (historyzm stosuje się do neutralnej nominacji).

Powstałe po okresie pierestrojki warunki społeczne i nowe warunki funkcjonowania historyzmów sprawiły, że obowiązująca w języku rosyjskim klasyfikacja leksyki pasywnego zasobu językowego, wprowadzona przez M.V. Panova¹¹, w pewnym zakresie przestała być aktualna. Klasyfikacja ta powstała w okresie radzieckim i grupowała leksykę z ówczesnej perspektywy, traktując jako punkt odniesienia realia radzieckie, o czym świadczy podział na następujące grupy:

1) historyzmy – nazwy specyficznych zjawisk w dorewolucyjnej Rosji (np. *юнкер, градоначалник, анархизм, западник, оппозиция, департамент, великороссы*);

⁹ М.В. Ильин, *Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий*, Изд. РОССПЭН, Москва 1997, s. 398.

¹⁰ Е.В. Какорина, *Трансформация лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет)*, [w:] *Русский язык конца столетия (1985–1995)*, под ред. Е.А. Земской, Изд. Языки русской культуры, Москва 1996, s. 67–89.

¹¹ М.В. Панова, *Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование. Лексика современного русского литературного языка*, Изд. Наука, Москва 1968, s. 100–102.

2) egzotyzymy¹², czyli leksyka stosowana w celu nazwania odpowiednich zjawisk życia za granicą (np. *помещик, рента, спикер, мэр, бизнесмен, президент*);

3) leksemy, w których nastąpiła zmiana znaczenia w celu dostosowania do realiów sowieckiej rzeczywistości (np. *знатный, династия, мещанство*).

Po przemianach lat 90. XX wieku i po pierestrojce przytoczona wyżej klasyfikacja tylko częściowo znajduje zastosowanie, gdyż w systemie leksykalnym i semantycznym zaszły istotne zmiany. Do pierwszej grupy historyzmów, oprócz dorewolucyjnych, należy także odnieść nazwy specyficznych zjawisk życia społecznego porewolucyjnej Rosji, np. *нэпман, лишенец*¹³. Ponadto ukształtowała się grupa potencjalnych historyzmów, oznaczających zjawiska sowieckiej przeszłości, np. *политбюро, социалистический лагерь, стройотряд*. Natomiast niektóre leksemy z grupy egzotyzmów przeszły do aktywnego zasobu językowego, często jako synonimy rosyjskich ekwiwalentów.

W czasach współczesnych do najbardziej aktywnych można zaliczyć przywoływane już historyzmy „dorewolucyjne”. Ten stan rzeczy potwierdzają przykłady nowych znaczeń, które zostały zaczerpnięte z pasywnych zasobów językowych i utraciły kwalifikator znaczeniowy „dorewolucyjny” („дореволюционный”).

W obrębie leksyki społeczno-politycznej można wyodrębnić różne grupy leksykalne, w których znajdują się historyzmy „dorewolucyjne”. Mogą się one skupiać wokół następujących zagadnień:

- władza i jej struktury w okresie dorewolucyjnym (np. *губернатор, дума, департамент, градоначальник, чиновник*);
- ruchy, idee i kierunki polityczne, charakterystyczne dla okresu dorewolucyjnego (np. *анархизм*);
- zwolennicy określonych idei i kierunków politycznych (np. *западник, оппозиция, государственник, конституционные демократы*);
- wyrażenie stosunku do władzy (np. *оппозиция*).

Poniżej zostanie zaprezentowany powrót do aktywnego użycia wybranych leksemów oraz pokazane przykłady nowych znaczeń jednostek leksykalnych, które zaczerpnięte zostały z pasywnego zasobu językowego i pozbawione „dorewolucyjnego” komponentu znaczeniowego.

Przykładami leksemów, reprezentujących pierwszą grupę, są leksemy *губернатор* (‘глава администрации региона России, являющегося самостоятельным субъектом Федерации’ [ТСРЯ XXI, 269]) oraz *Дума*

¹² В.И. Кодухов, *Введение в языкознание*, Изд. Просвещение, Москва 1979, s. 213.

¹³ Д.Н. Шмелев, *Современный русский язык. Лексика. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов*, Изд. Просвещение, Москва 1977, s. 159.

(‘представительное выборное учреждение с законодательными, совещательными и административными функциями; здание такого учреждения’. *Государственная д.* – в России: ‘высшее государственное представительное собрание, построенное на выборных началах’; *Городская д.* – ‘выборный орган городского самоуправления’ [БТС, 287]). W obu wymienionych przykładach istota znaczenia została zachowana, utracony zaś kwalifikator „dorewolucyjny”.

Kolejnym przykładem może być leksem *департамент* (‘в царской России и некоторых других странах отдел министерства, высшего государственного учреждения’ [Ож 1973, 147]; ‘в России и некоторых других странах отдел министерства, высшего государственного учреждения’ [Ож 2012, 140]). Druga z przytoczonych definicji nie posiada kwalifikatora „в царской”.

Leksem *анархизм* (‘враждебное марксизму мелкобуржуазное течение, проповедующее анархию, отрицающее всякую государственную власть (в том числе диктатуру пролетарията), организованную политическую борьбу и руководящую роль пролетарской партии’ [Ож 1973, 26]) należy do grupy „Ruchy, idee i kierunki polityczne, charakterystyczne dla okresu dorewolucyjnego”. W jego współczesnych definicjach słownikowych obciążenie ideologiczne zostało zniesione, np.: ‘общественно-политическое течение, проповедующее анархию, отрицающее всякую государственную власть, организованную политическую борьбу’ [Ож 2012, 32], ‘общественно-политическое течение, отрицающее государственную власть, проповедующее неограниченную свободу личности’ [ТСРЯ XX 1998, 49].

Leksemy *западник*¹⁴ i *оппозиция*¹⁵ określają zwolenników określonych idei, a jednocześnie także stosunek do władzy (*оппозиция*). W definicji słowa

¹⁴ *западник* – ‘сторонник западничества, т. е. общественного течения в России в 30-х–50-х годах XIX века, представители которого, принадлежа к разным политическим направлениям, признавали, в отличие от славянофилов, западноевропейский капиталистический путь развития приемлемым для России’ [Ож 1973, 198; 2012, 183]; ‘публ. Политик-реформатор, выступающий за сближение России с Западом и перестройку российской экономики по западному образцу’ [ТСРЯ XX 1998, 243].

¹⁵ *оппозиция* – ‘1) в буржуазном обществе – деятельность, направленная против данного правительства и его политики (полит.); 2) деятельность оппортунистических антиленинских группировок, боровшихся против руководства и восстановления капитализма и превратившихся в беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям руководительных органов иностранных государств’ [ТСУ 1938, т. 3, 827]. W innych słownikach: ‘1) противодействие, сопротивление (книжн.); 2) группа лиц внутри какого-н. общества, организации, партии, ведущая политику противодействия, сопротивления большинству’ [Ож 2012, 374], ‘1) политика, основанная на противодействии, противостоянии каких-л. партий, движений, фракций официальному курсу правительства; 2) группа лиц, проводящих такую политику’ [ТСРЯ XX 1998, 438].

оннозиция, przytoczonej za słownikiem pod red. D.N. Uśakova, wyraźnie zaakcentowane jest odniesienie do realiów przedrewolucyjnych (społeczeństwo burżuazyjne, antyleninowskie ugrupowania, władza partii itp.). Takich odniesień nie znajdziemy już w definicjach współczesnych – mają one neutralny charakter.

Wielokierunkowość procesów nominacji (tj. zapożyczenia z pasywnego zasobu języka i nowe zapożyczenia obce) doprowadziła do pojawienia się konkurujących ze sobą nazw synonimicznych, np.: *спонсор, меценат, толстосун* czy grupa *мэр, градоначальник, городничий, городской голова*. Należy zauważyć, że zapożyczenia obce adaptują się w języku znacznie szybciej, tworząc grupę nazw neutralnych, pozbawionych wartościującego nacechowania. Jako przykład można przytoczyć znaczenia leksemów tworzących szereg synonimiczny: *мэр, градоначальник, городничий, городской голова*.

Zapożyczone słowo *мэр* w pełni może zastąpić leksemy, które istniały już wcześniej w języku rosyjskim: *градоначальник, городничий* czy *городской голова* (znaczenie objaśniono w przypisie)¹⁶. Pomimo to język rosyjski przyjął słowo *мэр*. Można przypuszczać, że w świadomości Rosjan leksemy *градоначальник, городничий, городской голова* funkcjonowały bardziej jako historyzmy i stąd powstała luka nominacyjną (odczucie braku odpowiedniego określenia dla osoby kierującej miejską administracją) zapełniła inna jednostka językowa, bardziej funkcjonalna i ekonomiczna. Niemniej jednak wszystkie tworzące omawiany szereg synonimiczny leksemy nadal aktywnie funkcjonują we współczesnym języku rosyjskim (np. *московский градоначальник С. Собянин, одесский городской голова, градоначальник Москвы*).

Po przemianach społeczno-politycznych lat 90. XX wieku istotną rolę w społeczeństwie rosyjskim zaczęła odgrywać religia. Religijność bowiem zaczęła się odradzać, co znalazło swoje odzwierciedlenie w słownictwie. Warto zatem zwrócić uwagę na powrót do aktywnego użycia leksyki konfesyjnej, będącej wcześniej tematem tabu.

Funkcjonowanie leksyki konfesyjnej w języku rosyjskim okresu radzieckiego szczegółowo omawia K. Rutkowski¹⁷. W swojej pracy zaprezentował kierun-

¹⁶ *мэр* – ‘глава муниципалитета, городского правления’ [Ож 1973, 337]; ‘глава муниципалитета; градоначальник, глава городской администрации’ [Ож 2012, 307]; ‘глава городской администрации, глава исполнительной власти в городах’ [ТСРЯ XX 1998, 405]; ‘[фр. *aire*, англ. *mayor* < лат. *major* большой, старший] глава муниципалитета’ [СИС 2003, 439]; *градоначальник* – ‘в России XIX в.: начальник с правами губернатора, управляющий градоначальством’ [Ож 2012, 127], [БТС 1998, 224]; *городничий* – ‘начальник уездного города (в России до середины XIX в.)’ [Ож 2012, 125], [БТС 1998, 221]; *городской голова* – ‘руководитель начальник’ [Ож 2012, 122].

¹⁷ K. Rutkowski, *Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu radzieckiego*, Wyd. UwB, Białystok 2007, s. 83.

ki przenikania i zmiany w obrębie owej leksyki, przy czym zauważył, że najistotniejsze były zmiany jakościowe. Wśród nich wyróżnił on pejoratywizację znaczenia konfesyjnego, dezaktualizację słownictwa konfesyjnego (związaną z ograniczeniem zakresu występowania desygnatu nazwy) oraz przesunięcie semantyczne. Jako ilustracja przesunięcia semantycznego może posłużyć leksem *милосердие*. Mamy tu do czynienia ze zmianą pierwotnego znaczenia i usunięciem elementu sacrum. W okresie sowieckim podjęto próbę usunięcia i wymazania tego słowa, bowiem wówczas „potępiane były same przejawy i odruchy miłosierdzia”. Dziś w definicji słownikowej czytamy: ‘сострадательная помощь ближнему как христианская добродетель; вообще бескорыстная помощь, сострадание к людям’ [ТСРЯ XXI, 592]. Jest w niej zawarte nawiązanie do chrześcijaństwa, pomocy bliżniemu, a więc wyraźny związek z religią.

Można zauważyć pewne cechy szczególne zastosowania leksyki konfesyjnej pod koniec XX wieku, gdy wzrastała rola Cerkwi prawosławnej jako instytucji społecznej w życiu narodu, a jednocześnie pojawiła się swoista moda na wierzenia religijne, co pociągnęło za sobą aktywizację pasywnego zasobu leksyki konfesyjnej. Wyróżnić można następujące tendencje:

- aktualizacja znaczenia pierwotnego;
- aktualizacja znaczenia przenośnego;
- ożywienie zatartych modeli metaforycznych;
- tworzenie nowych obrazów metaforycznych.

Jako przykład można podać leksem *благословение* w bezpośrednim i przenośnym kontekście: *Русский Национальный Собор просит благословения у Владыки Иоанна*¹⁸ i *Президент просил парламент благословения на мораторий, т.е. долевым порядком запретить все митинги и забастовки*¹⁹. W pierwszym przypadku Sobór prosi o błogosławieństwo (kontekst religijny), w drugim występuje w znaczeniu przenośnym – prezydent prosi o błogosławieństwo rozumiane jako akceptacja działań.

Przykładem powrotu do znaczenia pierwotnego i jego aktualizacji może być także *ангел-хранитель*. Komponent sacrum wyeksponowany był w słowniku V. Dal’a (‘существо духовное, спаситель’ [Даль 1978, t. 1, 16]), w okresie radzieckim wyszedł z użycia, o czym świadczy definicja w słowniku D.N. Ušakova (‘в религиозной мифологии – бесплотное существо, исполняющее приказания бога’ [ТСУ 1938, t. 1, 14]). W drugiej z przytoczonych definicji nie ma komponentu sacrum i stwierdzenia, że anioł jest istotą duchową, zbawi-

¹⁸ „Русский Собор” 1993, nr 6, s. 1.

¹⁹ „Комсомольская правда” z 17 kwietnia 1991.

cielem. Ponadto słowo *Бог* zapisane zostało małą literą, aby podkreślić i pokazać brak związku z religią. Element sacrum zawiera definicja tego leksemu w słowniku Ożegova: ‘в религии: служитель Бога, исполнитель его воли и его посланец к людям’ [Ож 2012, 32]. lub ‘*Рел.* Ангел, данный Богом каждому человеку при крещении, сопровождающий его всю жизнь и оберегающий от зла, грехов и несчастий’ [ТСРЯ XXI, 63].

Inną kwestią jest zjawisko pejoratywizacji znaczenia konfesyjnego w okresie radzieckim. Osiągane było poprzez wykorzystanie w definicjach elementów negatywnie wartościujących oraz osadzenie w określonych kontekstach. Na przykład leksem *крест* definiowany był jako przedmiot kultu bez jednoznacznego odniesienia do kultu religijnego (‘предмет христианского культа, представляющий собой длинный вертикальный стержень, пересеченный у верхнего конца перекладиной’ [ТСУ 1938, t. 3, 124]). Współcześnie definicja danego leksemu brzmi następująco: *крест* ‘*рел.* Предмет культа в христианстве, символ христианства; символ спасения и искупления человечества’ [ТСРЯ XXI, 514]; ‘1. Предмет в виде стержня с перекладиной под прямым углом как символ христианского культа. 2. У христиан: молитвенный жест рукой ото лба к груди, правому и левому плечу, изображающий такую фигуру’ [Ож 2012, 255]. W drugiej z przytoczonych definicji są uwzględnione dwa znaczenia. Pierwsze z nich wyraźnie odnosi się do sfery religii, opisując *кръж* jako symbol i przedmiot kultu chrześcijaństwa oraz zbawienia.

Przytoczone przykłady potwierdzają zjawisko przechodzenia leksemów z pasywnego do aktywnego zasobu językowego. Należy zgodzić się z poglądem G. Pospelovej, że to idee „возрождения великой России”, „тоска по давно ушедшей монархической эпохе” były powodem powrotu środków leksykalnych z obszarów peryferyjnych języka²⁰. Czynnikiem sprzyjającym temu procesowi jest także poszukiwanie nowych dróg rozwoju Rosji, co wiąże się z powrotem do przeszłości w celu wyciągnięcia wniosków i przeanalizowania błędów oraz wyodrębnienia osiągnięć minionych lat.

Przemiany społeczno-polityczne lat 90. XX wieku zamknęły epokę sowiecką. Zmiany zaszły we wszystkich dziedzinach życia i kultury (także w języku). W systemie leksykalnym pojawiły się luki nominacyjne, związane z tym, że wiele z tego, co było zakazane w ZSRR, odrodziło się i potrzebowało nazwy (w obszarze polityki m.in. nazwy urzędów, stanowisk, funkcji społeczno-politycznych, ruchów społecznych). Jednym ze źródeł nowych nominacji stały się

²⁰ Г. Поспелова, *Лексикон новой власти*, [w:] *Русская культура вне границ. Информационный сборник*, Вып. 2, Москва 1999, s. 62.

zapożyczenia wewnętrzne. Nosiciele języka sięgnęli do historii, przywołali funkcjonujące dawniej leksemy, gdyż słowa te były bliższe kulturze, mentalności czy „rosyjskiej duszy”. Ponadto były łatwiejsze w percepcji, łatwiej się adaptowały i przyjmowały w języku, były bardziej zrozumiałe niż zapożyczenia obce.

Czynniki społeczno-polityczne oraz procesy wewnątrzjęzykowe, w tym zasada ekonomii językowej, były motorem napędowym zjawiska dearchaizacji. Okazało się, że własny język jest na tyle bogaty, iż adaptacja obcych leksemów jest zabiegiem, z którego można korzystać tylko w sytuacji koniecznej.

Wykaz skrótów

- БТС – С. А. Кузнецов, *Большой толковый словарь русского языка*, Изд. Норинт, Санкт-Петербург 1998.
- Даль – В. И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка: т. 1-4*, Изд. Русский язык, Москва 1978.
- Ож 1973 – С. И. Ожегов, *Словарь русского языка*, под ред. Н. Ю. Шведовой, Изд. Советская энциклопедия, Москва 1973.
- Ож 2012 – С. И. Ожегов, *Толковый словарь русского языка*, под ред. Л. И. Скворцова, Изд. Мир и образование, Москва 2012.
- СИС 2003 – В. В. Вурцева, Н. М. Семенова, *Словарь иностранных слов*, Изд. Русский язык – Медия, Москва 2003.
- ТСРЯ XX – *Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения*, под ред. Г. Н. Складневской, Изд. Фолио-Пресс, Санкт-Петербург 1998.
- ТСРЯ XXI – *Толковый словарь русского языка начала XXI. Актуальная лексика*, под ред. Г. Н. Складневской, Изд. Эксмо, Москва 2008.
- ТСУ – Д. Н. Ушаков (ред.), *Толковый словарь русского языка: т. 1-3*, Москва 1938.

Резюме

*Изменения в общественно-политической лексике современного русского языка
– явление деархаизации*

Статья является попыткой показать явление деархаизации на примере изменений в области общественно-политической лексики. Во введении указаны основные семантические процессы, происходящие в современном русском языке, а также объяснены причины использования старых языковых ресурсов – потребность в номинации предметов и явлений изменяющейся общественно-политической действительности. Использование лексики пассивного запаса указано на примере возвращения в активное применение архаизмов и историзмов когда-то обозначенных в словарях пометой „дореволюционный”. Отдельный фрагмент статьи посвящен религиозной лексике, в области которой замечается также возврат к первоначальным значениям, актуализацию и изменения в словарных статьях.

Summary

*Changes within socio-political lexis of the modern Russian language:
The phenomenon of dearchaization*

The article is an attempt at presenting the phenomenon of dearchaization based on examples in socio-political lexis. First, the paper presents basic semantic processes occurring in the modern Russian language and explains the reasons for reaching "old" vocabulary: the need for the nomination of objects and phenomena of the changing socio-political reality. The use of the lexis of passive vocabulary is demonstrated with an example of return to the active use of archaisms once labeled in Russian dictionaries with the qualifier "pre-revolutionary". A separate part is dedicated to confessional lexis, within which a return to original meanings, updating and changes in dictionary definitions can be observed.

Key words: linguistics, the Russian language, political lexis, dearchaization.

Joanna Olechno-Wasiluk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego

W ostatnich latach w nauczaniu języków obcych dostrzega się wyraźny zwrot w kierunku nauczania frazeologii. Od uczniów wymaga się, by ich język był poprawny gramatycznie oraz bogaty idiomatycznie, by odzwierciedlał język, którym posługują się jego nosiciele.

Trudno jest mówić o znajomości języka obcego bez znajomości jego frazeologii. Poprzez „frazeologizm” rozumie się najczęściej utrwalone w danym języku połączenie wyrazów (co najmniej dwóch) o charakterze reprodukcyjnym. Frazeologizmy są charakterystyczne dla obszaru kulturowego, który się danym językiem posługuje. Utrwalają one wiedzę o świecie, są narzędziem służącym do interpretowania danej rzeczywistości, promują wartości danej społeczności, są więc nośnikami wiedzy o niej samej, o jej kulturze. Frazeologizmy odzwierciedlają odrębność kulturową oraz samoświadomość narodu – użytkownika języka¹.

Podając problematykę wpływu znajomości frazeologizmów na wiedzę o kulturze kraju docelowego, należy przyjrzeć się takim terminom jak: kompetencja, kultura oraz interkulturowość.

Słownik wyrazów obcych podaje, że kompetencja to: „zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności”². Elżbieta Zawadzka definiuje pojęcie kompetencji jako „umiejętność efektywnego wykorzystywania wiedzy, uwzględniająca krytyczną jej interpretację i uzasadnienie wyboru”³, dlatego wiedzę i umiejętności dotyczące znajomości i prawidłowego użycia związków frazeologicznych można nazwać kompetencją frazeologiczną.

¹ W.N. Telija, *Frazeologizmy-idiomy jako stereotyp kultury*, tł. D. Misiąg, [online] <www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-12/JK12-telija.pdf>.

² W. Kopaliński, *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem*, Warszawa 2000, s. 269.

³ E. Zawadzka, *Nauczyciele języków obcych w dobie przemian*, Kraków 2004, s. 110.

W praktyce kompetencja frazeologiczna okazuje się jedną z trudniejszych do opanowania, a jednocześnie jedną z najważniejszych, gdyż zapewnia prawidłową komunikację między obcokrajowcem a rodzimym użytkownikiem języka. Nieznajomość frazeologizmów może wyraźnie zakłócić komunikację. Podręczniki do języków obcych w dalszym ciągu skupiają się na nauce poprawności gramatycznej. Rezultatem tego jest duża rozbieżność między teoretyczną a praktyczną znajomością języka. Związki frazeologiczne nadają językowi naturalności, emocjonalności i wyrazistości. Ich znajomość jest niezbędna do zrozumienia dzieł literackich, informacji w środkach masowego przekazu, a także wypowiedzi rodzimego użytkownika języka w swobodnej dyskusji.

Badanie utrwalonych w języku związków wyrazowych ma dość długą i bogatą historię. Jednak stosunkowo niedawno na gruncie badań frazeologicznych pojawiło się pojęcie frazeodydaktyki, czyli dydaktyki frazeologii. W Polsce zagadnieniem tym szeroko zajmuje się doktor Monika Sułkowska⁴ (Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki). Frazeodydaktyka bada procesy związane z naturalnym przyswajaniem związków frazeologicznych, idiomów, przysłów oraz innych odtwarzalnych form wyrazowych w języku ojczystym, a także procesy związane z nauczaniem i uczeniem się tych struktur w języku drugim i kolejnym⁵.

Głównym celem procesu nauczania języków obcych jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach komunikacyjnych. Uczący się musi opanować struktury leksykalno-gramatyczne języka docelowego, zdobyć wiedzę i zrozumieć kulturę kraju, by odnaleźć się w jej realiach. Wysoki stopień kompetencji językowej niekoniecznie oznacza wysoki stopień kompetencji kulturowych. Niewiedza lub nieznajomość pewnych obyczajów czy zachowań może prowadzić do zakłócenia komunikacji językowej.

Henri Boyer (za Sułkowską⁶) zwraca uwagę na to, że kompetencja komunikacyjna obejmuje pięć mikrokompetencji. Są to:

1. Mikrokompetencja semiotyczna, która odnosi się do systemu znaków, podstawowych dźwięków danego języka oraz jego aspektów morfoskładniowych.

⁴ Zob. m.in.: M. Sułkowska, *Od frazeologii do frazeodydaktyki. Studia teoretyczne i praktyczne*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2013, nr 3015, s. 319.

⁵ M. Sułkowska, *Z zagadnień frazeodydaktyki, czyli o kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie związków frazeologicznych*, [w:] *Nauczyciele języków obcych dziś i jutro*, pod red. M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej, Poznań – Kalisz 2009, s. 234.

⁶ Ibidem, s. 236.

2. Mikrokompetencja referencyjna, obejmująca konieczną wiedzę z rzeczywistości pozajęzykowej.

3. Mikrokompetencja dyskursywna i tekstowa, czyli umiejętność argumentowania, opisywania itp.

4. Mikrokompetencja socjopragmatyczna, na którą składa się wiedza i umiejętności komunikacji w różnych sytuacjach (np. powitanie, rozmowa przez telefon itp.).

5. Mikrokompetencja etnosocjokulturalna, czyli wiedza i umiejętności komunikowania się w określonej rzeczywistości kulturowej⁷.

W literaturze przedmiotu wymieniana jest również kompetencja interkulturowa. Kazimiera Myczko pod tym pojęciem rozumie rozwijanie kompleksowej umiejętności radzenia sobie w skomplikowanej rzeczywistości współczesnego świata oraz umiejętność porozumiewania się w obrębie różnych kultur, a także nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur. W końcu podkreśla też, że kompetencja interkulturowa niezbędna jest do niezakłóconego przebiegu komunikacji, w tym również do prawidłowej interpretacji odebranej informacji⁸.

Jak z tego wynika, interkulturowość to zrozumienie i tolerancja obcej kultury oraz wzajemna wymiana kulturowa. Rozwijanie kompetencji interkulturowej następuje w toku edukacji w rodzinie, środowisku, a także poprzez system szkolny. Szczególną rolę w przygotowaniu ucznia lub studenta do funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości odgrywa dydaktyka języków obcych. Nauczanie i uczenie się języka obcego nastawione jest na kontakty z innymi kulturami, służy przystosowaniu studenta do funkcjonowania w kontaktach interkulturowych na co dzień.

Weronika Wilczyńska wyróżnia dwa rodzaje kompetencji: kulturową – doskonała znajomość języka obcego i danej kultury oraz interkulturową – doskonała znajomość dwóch kultur, umożliwiającą ponadto ich porównanie, wyłonienie kontrastów i różnic. W swoim artykule *Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej* przekonuje, że dla potrzeb dydaktyki języka obcego należałoby postulować rozwijanie kompetencji interkulturowej, na którą składałaby się:

- specyficzna świadomość metakulturowa,
- wrażliwość interkulturowa,

⁷ M. Sułkowska, *Z zagadnień frazeodydaktyki...*, s. 236.

⁸ K. Myczko, *Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego*, [w:] *Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa*, pod red. M. Mackiewicz, Poznań 2005, s. 30.

- umiejętność mediacji interkulturowej (umożliwiająca zrównoważoną interakcję, nastawioną na usuwanie barier komunikacyjnych i wzajemne wzbogacanie się)⁹.

Interkulturowość w nauczaniu języków obcych to jeden z zasadniczych kierunków działania Rady Europy. W *Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie* uwagę zwracają takie terminy, jak wrażliwość interkulturowa oraz umiejętności interkulturowe. Wrażliwość interkulturową tworzą wiedza, świadomość i rozumienie relacji między „światem społeczności pochodzenia” a „światem społeczności języka docelowego”. Umiejętność interkulturowa to:

- umiejętność dostrzegania związku między kulturą własną a obcą,
- wrażliwość kulturowa oraz umiejętność dokonywania właściwych wyborów strategii i ich odpowiedniego użycia w kontakcie z osobami z innych kultur,
- umiejętność pośredniczenia między kulturą własną a kulturą obcą oraz radzenia sobie z interkulturowymi nieporozumieniami wynikającymi stąd sytuacjami konfliktowymi,
- umiejętność przezwyciężania stereotypów¹⁰.

Informacje realio- i kulturoznawcze stały się elementem kształtującym postawy i wartości uczących się. Podstawowym zadaniem przekazywania tych informacji w trakcie nauki języka obcego jest wyrabianie wrażliwości na inną kulturę, na wartościowanie i porównywanie, na zrozumienie poszczególnych aspektów kultury. Pojęcie kultury w dydaktyce obejmuje szerokie spektrum – od nauki o sposobie zachowania i życia członków poszczególnych narodów, przyswajanie ich systemu wartości i zwyczajów, poprzez nabywanie zachowania językowego czy tzw. aktów językowych, aż do zdolności obserwacji stereotypów¹¹. Badacze zajmujący się procesem kształcenia i wychowania podkreślają ogromną rolę nauczania języków obcych w kształtowaniu postaw i światopoglądów, gdyż umożliwia ono komunikację pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, zdobywanie wiedzy o kraju języka docelowego oraz poznanie jego kultury, rozumianej jako całokształt wytworów człowieka w sferze materialnej,

⁹ W. Wilczyńska, *Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej*, [w:] *Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa...*, s. 22.

¹⁰ *Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie*, pod red. H. Bawej-Krajewskiej, G. Czetwertyńskiej, Warszawa 2001, s. 96.

¹¹ D. Pasini, A. Čavar, *Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego*, [w:] *Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym*, pod red. I. Generowicz, E. Kaczmarzkiej, I. M. Dolińskiego, Warszawa 2009, s. 311–326.

duchowej i symbolicznej¹². Według Wilczyńskiej „kultura symboliczna jest uznawana za to, co organizuje naszą percepcję świata, naszą w nim egzystencję, a także reguluje nasze kontakty z innymi, umożliwiając tworzenie więzi społecznej”¹³.

Socjolingwiści i antropolodzy kulturowi badają posługiwanie się językiem obcym w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Pojęcie biegłości językowej zastępują terminami: „skuteczność komunikacyjna” i „użycie właściwe w danym kontekście społecznym”. W podejściu społeczno-kulturowym nie podkreśla się znaczenia poprawności gramatycznej czy fonologicznej, kładzie się natomiast nacisk na uczenie się reguł skutecznego komunikowania się i społecznej poprawności. Są to złożone systemy reguł charakterystyczne dla danego języka. Systemy kulturowe różnią się na tyle, że trudno bezpośrednio przetłumaczyć „akty mowy” bez zakłócenia procesu komunikacji. Podejście społeczno-kulturowe podkreśla wręcz, że uczenie się języka obcego to w pewnym sensie „włączanie się w jego kulturę”¹⁴.

Wagę kompetencji interkulturowej podkreślają również Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, zgodnie z którymi sformułowane zostały efekty kształcenia studentów (tab. 1).

Umiejętność posługiwania się językiem obcym pozwala zdobywać wiedzę o realiach życia w kraju języka docelowego, światopoglądach i mentalności przedstawicieli jego społeczeństwa. W związku z tym kompetencję interkulturową należy rozumieć jako umiejętność porozumiewania się w języku obcym, znajomość dwóch kultur – własnej i kraju języka docelowego, a także zdolność ich porównywania i znalezienia pomiędzy nimi podobieństw i różnic w celu uniknięcia konfliktów.

Mówiąc o kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka obcego, należy mieć na uwadze kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów z przedstawicielami różnych kultur i porozumiewania się z nimi. Przy czym, jak podkreśla literatura przedmiotu, pojęcie „porozumiewanie się” nie oznacza jedynie wysyłania i odbierania komunikatów językowych, ale obejmuje prowadzenie rozmowy ze zrozumieniem wszystkich aspektów przekazywanych informacji – do

¹² W. Wilczyńska, *Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej*, [w:] *Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa...*, s. 16.

¹³ Ibidem, s. 17.

¹⁴ C.E. Snow, *Dwujęzyczność i przyswajanie drugiego języka*, [w:] *Psycholingwistyka*, pod red. J.B. Gleason, N.B. Ratner Gdańsk 2005, s. 495, 497.

Tabela 1. Efekty kształcenia absolwentów filologii rosyjskiej

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia:	Po ukończeniu studiów drugiego stopnia:
Absolwent ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, wspierania komunikacji interkulturowej i porozumienia polsko-rosyjskiego; konfrontując się z zagadnieniem tożsamości kulturowej występującej w tekstach literackich, umacnia w sobie poczucie odpowiedzialności za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego ¹⁵ .	Absolwent akceptuje przejawy wielokulturowości oraz globalizacji w świecie współczesnym, docenia i akceptuje ich pozytywny wpływ na język oraz kulturę społeczeństwa, zachowuje krytycyzm wobec ich negatywnych przejawów ¹⁶

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załączników 31, 32 do uchwały nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie.

właściwej interpretacji usłyszanego komunikatu¹⁷. Odbiorca nie zrozumie i nie zinterpretuje odpowiednio komunikatu, jeśli nie będzie miał wiedzy na temat kultury kraju docelowego. Brak płynności komunikacji spowodowany jest często tym, że osoba ucząca się języka nie zna konwencji kulturowej kraju języka docelowego. Oczywiście o powodzeniu komunikacji decyduje również słownictwo. Hanna Komorowska słusznie zauważa, że „Blokada komunikacji to [...] skutek nieznamomości potrzebnego słownictwa”¹⁸. Jakiego słownictwa oraz jakich metod należy używać, by student zdawał sobie sprawę z kulturowo uwarunkowanych konotacji poszczególnych leksemów oraz umiał operować posiadanym zasobem słownictwa adekwatnie do zwyczajów i konwencji panujących w kraju języka docelowego? Uczących się warto zatem zapoznać z przysłówkami i idiomami.

Związki frazeologiczne nawiązują do kultury, obyczajowości dawnej i współczesnej, pochodzą z dzieł literackich, religijnych, są nośnikami wiedzy o danym kraju i jego społeczności, a zatem idealnym materiałem do wykorzystania w kształtowaniu kompetencji interkulturowej.

¹⁵ Załącznik 31 do uchwały nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie.

¹⁶ Załącznik 32 do ww. uchwały.

¹⁷ S. Rapacka, *Kształcenie kompetencji interkulturowych uczestników procesu dydaktycznego poprzez rozwój komunikacji językowej*, [online] <www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rapacka.pdf> (2.02.2013).

¹⁸ H. Komorowska, *Metodyka nauczania języków obcych*, Warszawa 1999, s. 105.

Ze związkami frazeologicznymi uczeń spotyka się już na jednym z pierwszych zajęć: *Сколько лет, сколько зим; какими судьбами; лёгок на помине; добро пожаловать* – to tylko niektóre z nich. Uczący się zna znaczenie wszystkich słów, ale zrozumienie zdania w całości i prawidłowe jego użycie może okazać się kłopotliwe bez znajomości etykiety językowej. W każdym języku i w każdej kulturze występują inne normy grzecznościowe, a poznanie ich stanowi ważny element nauki języka obcego. Są bowiem frazeologizmy, których możemy użyć zarówno w oficjalnej, jak i w nieoficjalnej rozmowie, np. *в двух шагах (от чего), за тридевять земель, рукой подать (от чего)*. Natomiast frazeologizmami: *под самым носом, у чёрта на куличках* możemy posługiwać się jedynie w nieoficjalnej wymianie zdań. Wprowadzając frazeologizmy oznaczające miejsce i odległość, należy zasygnalizować studentowi, że Rosjanin użyje ich, ponieważ są one bardziej sugestywne: *Куда Макар телят не гонял; на краю света* itp. Trudno zaś zrozumieć i prawidłowo zastosować frazeologizm *с лёгким паром*, nie mając wiedzy na temat znaczenia łaźni w tradycji rosyjskiej. *В Тулу со своим самоваром не ездят* to kolejny frazeologizm, który prawidłowo zinterpretujemy jedynie wtedy, gdy posiadamy wiedzę na temat kultury rosyjskiej. *Вот тебе, бабушка, и Юрьев день; на авось* – to przykłady na to, że frazeologizmy mają bogatą historię i tylko wiedza na temat współczesnej i dawnej Rosji pomoże nam poznać ich etymologię¹⁹.

Język rosyjski jest bogaty we frazeologizmy określające charakter człowieka: *душа нараспашку, не робкого десятка, семи пядей во лбу, ума палата* itd. Po ich analizie studenci mogą przygotować charakterystykę Rosjanina i Rosjanki, zwrócić uwagę na narodowe cechy i przy okazji obalić niektóre stereotypy, które są głęboko zakorzenione w naszej świadomości. Umiejętność przewyższania stereotypów to umiejętność interkulturowa. Przytoczone wyżej przykłady są więc dowodem na to, że kompetencja frazeologiczna rozwija kompetencję interkulturową studenta.

W procesie uczenia się języka obcego student powinien poznawać wyznaczniki relacji społecznych panujące w danym kraju oraz przyjęte w społeczeństwie języka docelowego konwencje grzecznościowe i nośniki „mądrości ludowej”. Bez wątplenia są nimi frazeologizmy, które wyrażają i utrwalają poglądy. Na zajęciach z języka obcego student powinien zdobywać wiedzę, jaką wykorzysta w sytuacjach kontaktu z danym językiem. Dopiero wtedy osiąga on odpowiednią kompetencję w danym języku.

¹⁹ Н.В. Баско, *Русские фразеологизмы в ситуациях*, Москва 2011.

Kompetencja interkulturowa jest istotnym uzupełnieniem celów kształcenia językowego. Jej rozwijanie sprzyja pełniejszej realizacji nadrzędnego celu kształcenia językowego, jakim jest kompetencja komunikacyjna²⁰.

Wiedza o kraju języka docelowego od zawsze stanowiła element kształcenia językowego, lecz często traktowano ją jako dodatkową umiejętność osoby uczącej się. Współczesna metodyka języków obcych pokazuje, że nauka języka oznacza jednocześnie przyswajanie kultury danego kraju i wzorców kulturowych.

Резюме

Фразеологическая компетенция и её влияние на формирование межкультурной компетенции в обучении русскому как иностранному

В данной статье автор обращает внимание на то, как фразеологическая компетенция влияет на формирование межкультурной компетенции у студентов русистики.

Исследование устойчивых словосочетаний имеет долгую и богатую традицию. Однако, довольно недавно появился термин – фразеодидактика, обучение фразеологии. Фразеологизмы отражают историческое развитие этноса, что позволяет осуществить выход к ментальности носителей изучаемого языка. В связи с этим, среди множества выделяемых лингвистических компетенций, необходимым представляется развитие фразеологической компетенции. Фразеологизмы являются хорошим материалом для формирования другой компетенции – межкультурной.

Общение с другими языками и с другой культурой влияет на развитие межкультурной коммуникативной компетенции.

Summary

Phraseological competence and its impact on the intercultural competence in students of Russian studies

In this article the author draws attention to how phraseological competence affects the development of intercultural competence.

The study and description of fixed word combinations is quite long and has rich history. However, more recently, in grounds of phraseological studies, a concept of didactics of phraseology appeared. Collocations refer to culture ancient and modern customs, they derive from literature and religion, they also carry the information about the country and its communities, which makes them an ideal material for use in the development of intercultural competence in students of philology. Generally speaking, interculturalism is the understanding and tolerance of a foreign culture and a cross-cultural exchange.

Contact with other languages and cultures enables the development of intercultural communicative competences.

Key words: didactics of foreign languages, phraseology, phraseological competence, interculturalism, intercultural competence.

²⁰ K. Myczko, *Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego*, [w:] *Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa...*, s. 34.

Siergiej Preobrazhenski
Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów
w Moskwie

Логаэд адоний: славянский ритмико-синтаксический инвариант

Предмет настоящей статьи – ритмическая формула, свидетельствующая об общности пространства славянского стиха и славянской поэзии вне традиционной лингвистической (западной/восточной) и равно традиционной стиховедческой (силлабика/силлабо-тоники) дистинкций. Характеризуя используемый ниже метод анализа, Вяч. Вс. Иванов подчеркивал: „применительно к поэтическим размерам аналогичные [сравнительно историческим языковедческим реконструкциям – С.П.] результаты можно получить только в случае, если одновременно обнаруживаются закономерности соответствия между формальными особенностями и функцией этих размеров в различных литературах, пользующихся в качестве своего средства разными родственными языками”¹. Итак, речь пойдет о ритмико-синтаксической формуле, для русской силлабо-тоники явно маргинальной настолько, что у нее нет общепринятой стиховедческой характеристики (а следовательно, и названия). Предметом полемики она стала в первую очередь в связи с прецедентами анализа теперь уже хрестоматийного стихотворения И. Бродского *На смерть Жукова* и его наиболее очевидного прототекста – *Снигиря* Г. Державина.

М.Ю. Лотман охарактеризовал размер стихотворения Державина (и Бродского) как „цезурованный 4-стопный дактиль с усечением предцезурного слога”², а в нескольких случаях усматривал модификацию – смещение цезуры. Вот фрагмент его ритмической интерпретации *Снигиря*: „Нет теперь мужа в свете столь славна: (_UU/_U/_U/U_)// Полно петь песню военну, снигирь! (_U/U_ U/U_ U/U_)”. Попутно заметим, что на схеме

¹ В.В. Иванов, *Происхождение древнегреческих эпических формул и метрических схем текстов*, [в:] *Структура текста*, „Наука”, Москва 1980, с. 62.

² М. Лотман, *На смерть Жукова*, [в:] *Как работает стихотворение Бродского*, НЛЮ, Москва 2002, с. 68.

цезура не обозначена, а словоразделы соответствуют гипотетической реконструкции фонетического слова. В свое время автор настоящей статьи в соавторстве с О.Я. Бараш предлагал иную ритмическую интерпретацию для двух указанных стихотворений, основанную на том, что исходной ритмической единицей в них является логоэд-пятисложник (адоний) – UU U³. Существенным для определения статуса и имени описываемого феномена является и то, извод ли это привычного русского трехсложника или некая самостоятельная ритмическая данность, и то, на отрезке какого минимального числа слогов феномен себя реализует. Напр., приступая к изложению истории бытования указанного усеченного дактиля (он же логоэд), М.В. Акимов определяет объект таким образом: на основе UU UU UU UU (правильный четырехстопный дактиль) возникают два варианта „с колебанием второго межиктового интервала”, а именно: а) 0: UU UU UU; б) 1: UU U UU UU⁴.

Трактуемый логоэды как результат антиномического (для русского стиха) противоположения силлабо-тонического и чисто тонического (акцентного) начал М.В. Панов определял „логоэдические стихи, как такие, в которых ударения падают в каждой строчке на одни и те же места, но строки не делятся на одинаковые стопы”⁵. В таком случае логоэд коррелирует с отдельным стихом, однако его самостоятельная идентификация в полиметрическом контексте оказывается под вопросом, неясно из приводимой после дефиниции схемы, какую длину для русского логоэда М.В. Панов считает необходимой и достаточной, поскольку в качестве примера приводятся катрены с укороченной четвертой строкой: „Взором ловающий/ страсти улыбки!!// Видела это – оцепенела,/ Сжалось сердце;/ в устах не(по)движных// Голос прервался” (Алексей Мерзляков, *К счастливой любовнице* из Сафо); здесь, кстати, нарушение размера М.В. Панов трактует как „лишний слог после цезуры”⁶, заставляя предположить некий „логоэдический дольник”, но определяющийся не „лишним” слогом, а показанной скобками синонимической заменой. Тем не менее эта

³ С. Преображенский, О. Бараш, *Фонетическая теория Потебни и новые подходы к русскому стиху*, „Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія”, № 632, Харків 2004, с. 164–167.

⁴ М.В. Акимов, *Семантика 4-стопного дактиля с односложным цезурным усечением русской поэзии 18 – нач. 19 века*, [в:] *Славянский стих 7: Лингвистика и структура стиха*, „Языки славянской культуры”, Москва 2004, с. 308.

⁵ М.В. Панов, *Рассказы о русском стихе. Логоэдический стих*, [в:] *idem, Труды по общему языкознанию и русскому языку*, т. 2, „Языки славянской культуры”, Москва 2007, с. 485.

⁶ Ibidem.

и подобные оговорки работают на признание того, что логаэд-стихема, вопреки приводимой схеме, представляющей последнюю строчку как „половинку метра” (_UU_U/_UU_U//_UU_U), являет собой пятисложный отрезок, не содержащий внутри себя признаков регулярности чередования ударных и безударных (согласно определению М.В. Панова), но парадоксальным образом сохраняющий устойчивость и даже неизменную просодию – компенсаторную долготу на вокалах. Странность истории возникновения и бытования в русском контексте стихемы, которую будем именовать адонием (_UU_U), отмечается многими стиховедами, и, собственно говоря, имеются две версии: а) подражание античному (греческому) размеру; б) заимствование из неопределенного источника. Например, М.Л. Гаспаров отдал должное обеим версиям: в 1974 г. он называл первоначальные логаэды „имитациями античных лирических строф”, отмечал, что к концу XIX в. логаэды должны интерпретироваться как „подступ к дольнику”, а в советское время продолжают существовать „главным образом как песенные размеры”⁷.

М.Л. Гаспаров периода зрелости, естественно, считал возможным атрибутировать логаэд только при условии постоянного повторения в стихотворении: „размеры, в которых слоговой объем слабых интервалов между сильными местами внутри строки неодинаков, но из строки в строку повторяется [...] обычно это бывает тогда, когда стихи сочиняются на заданный образец, подсказываемый мелодией или иноязычным текстом”⁸, тем самым стиховед подчеркивает сугубую чужеродность логаэдов в русском „говорном” стихе. Рассказывая о том, как Сумароков, Елагин, Бекетов сочиняли песни на „мелодии невыясненного происхождения”, М.Л. Гаспаров напоминает, что эти тексты „рассчитаны только на пение”⁹ – заявление более чем априорное, особенно с учетом признания о неведомых источниках мелодий и условиях бытования песенных логаэдов. „Весь фейерверк логаэдических экспериментов остался в истории русского стиха без последствий”¹⁰ – апофеоз торжества „стихovedения больших чисел”.

В упомянутой работе М.В. Панов солидаризируется с „античной” гипотезой, полагая, что логаэд обязан своим существованием: „русским

⁷ М.Л. Гаспаров, *Современный русский стих*, „Наука”, Москва 1974, с. 70.

⁸ М.Л. Гаспаров, *Очерк истории русского стиха*, „Наука”, Москва 1984, с. 67.

⁹ Ibidem, с. 68.

¹⁰ Ibidem.

преобразованием античной традиции, переводами”¹¹. Не разделяя в целом исключительно „античную” версию, М.В. Акимова указывает на хронологически первые случаи применения, как она его именует, „метра” 4-стопного дактиля с цезурным усечением: „История метра началась в 1788 г., с послания Карамзина к Д(митрию) и с *Оды Российским солдатам на взятие крепости Очаков сего 1788 года декабря 6 дня, сочиненная от лица некоего древнего российского Пииты Николаева*”¹². Уже послание Н. Карамзина задало, по утверждению М.В. Акимовой, „два основных идеологических вектора в разработке метра” – „это военная тематика и высокие жанры... а с другой стороны, любовная и деревенская тематика и средние жанры”¹³. В жанре элегическом „метр” использовал Н. Карамзин, А. Бенитцкий, П. Катенин и др. „В жанре *Снигирия* и в его метре (в том числе в сочетании с другими размерами) выступили П. Политковский, Ширинский-Шихматов, Победин, С.А. Тучков [...]”¹⁴, называются еще А. Бестужев и Ф.М. Рындовский. В этом списке „героических” авторов обращает на себя внимание тот факт, что некоторые из них (Политковский и Рындовский) обладают неким сходством биографий – обучение в Черниговской семинарии. Для „славянской” версии логаяда это факт значимый, равно как и время появления „4-стопного дактиля с цезурным усечением” в „высокой” русской поэзии. Рассматривая возможные прототексты оды И. Бродского *На смерть Жукова*, О.Я. Бараш наряду с общепризнанной параллелью – *Снигирь* Г. Державина – отмечает и не замеченные другими интерпретаторами очевидные польские параллели из Ц. Норвида: *Beta pamięci rapsod żałobny*, само заглавие которого является логаядом, а прежде всего *Pieśń Tyrteja (Песнь Тиртея)*, в которой использован логаяд – в первом (предцезурном) полустипии некоторых стихов польского 11-сложника (**Czemuż... ich pieśni/ już tak mało pewna/ Treść – i skażonej całości?// Lutnie ich czemu.../ z łomliwego drewna,// A nie ze słoniowej kości?**)¹⁵. Понятно, что стихотворение Ц. Норвида не было для И. Бродского ритмическим первообразом, но, возможно, нобелиат первый, кто явно угадал „польский” след „героического” адония. Как раз перед тем, как на рубеже XVIII–XIX вв. в русской поэзии зазвучал адоний, в польской

¹¹ М.В. Панов, *op. cit.*, с. 486.

¹² М.В. Акимова, *op. cit.*, с. 308.

¹³ *Ibidem*, с. 308–309.

¹⁴ *Ibidem*, с. 311.

¹⁵ О.Я. Бараш, *Смыслообразующая функция „чужого слова” в стихотворении И. Бродского „На смерть Жукова”, [в:] Стратегия исследования языковых единиц*, Изд-во ТвГУ, Тверь 2012, с. 25–29.

получила массовое распространение так называемая „станиславова строфа” (по имени последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, отца „польского просвещения”). Указанная строфа представляет собой четверостишие с перекрестной рифмой. 1-я и 3-я строки – 10-сложные с цезурой после 5-го слога; 2-я и 4-я – восьмисложные без цезуры. 10-сложные строки четырех-, а 8-сложные – трехударные. Типичные примеры станиславовой строфы: „Wszystko zwyciężysz,/ łódka szlachetna,// Na ciosy przeciwne twarda;// Statek twój sława/ uwieczni świetna// Chlubniej niż podróż Blancharda” (Adam Naruszewicz, *Balon*); „Niech będzie tobie/ dziś poświęcona// Nowego poety wena// Czcigodna paro,/ dzisiaj sprzężona// Pod miłe jarzmo Hymena” (Stanisław Trembecki, *Epitalamion Hipolitowi i Belinie*).

Легко заметить, что 10-сложные стихи комбинируются обычно из двух 5-сложных адониев. При этом важно отметить, что инициальное словосочетание с адонием для польского языка – одна из наиболее естественных пятисложных синтагм из двух фонетических слов, частотная на фоне ограничения на акцентуацию последнего слога. Вероятностное распределение весьма ограничено: $Xx\ xXx$; $xXx\ Xx$. То есть или адоний, или польский ямб, исключения, связанные с особенностями употребления проклитиков и энклитиков, редки и обычно задаются тремя знаменательными словами, см. ниже „**Drzę cały, kiedy/** bają o tym starce”. В десятисложных стихах мы имеем вдвоенный адоний: $_UU_U/_UU_U$ (в польской нотации $XxxXx/XxxXx$), то есть высказывание, включающее два словосочетания, из которых одно эквивалент темы, а другое – ремы (с синтаксической темой и ремой они не вполне совпадают: „Wszystkieś wyprawił/ myśli do góry:// Tam dowcipnego cel smaku:// Dziwisz się cudom/ obcej natury,// A swojej nie znasz, prostaku” (Adam Naruszewicz, *Astronom*)).

В польских поэтических текстах очевидна функциональная значимость стихемы вида $XxxXx$ ($_UU_U$), поскольку она фиксирует ритм естественного строя речи и обеспечивает, повторяясь, рекуррентность ритма, по существу, превращая силлабику в силлабо-тонику собственного польского извода. Однако дублирование адония после цезуры перестало быть обязательным к XIX в. И логаэдический пятисложник проявил себя как самодостаточная и независимая стихема, начав комбинироваться в 11-сложных строках до или после (первое чаще) цезуры, причем у поэтов, как будто бы экспериментирующих в области силлабо-тоники: „**Tak w noc, pogodna/** jeśli służy pora,// Wzrok się przyjemnie uludzi;// **Lecz żeby w nocy/** jechać do jeziora,// Trzeba być najśmielszym z ludzi.// **Bo jakie szatan /**wyprawia

tam harce!// Jakie się larwy szamocą!// Drzę cały, kiedy/ bają o tym starce,// I strach wspominać przed nocą” (Adam Mickiewicz, *Świtez*). Возможно, именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что один из виднейших польских стиховедов Л. Пщоловская не усматривает в адонии национальных версификационных корней: „it is as though the symmetric reproduction in each of the half-lines of the accentual imitation of the Latin adonic verse (or the last segment of the hexameter): Xxx Xx”¹⁶.

Есть дополнительные аргументы в пользу того, что именно с польским контекстом „станиславовой строфы” связан „героический” семантический ореол адония у восточных соседей. Украинского поэта Евгена Маланюка нелегко заподозрить в сознательном воскрешении русской героической традиции, имея в виду радикальные взгляды этого поэта и эссеиста на взаимоотношение русской и украинской культур. Тем не менее автор концепции „мазепианства”, нашедшей отражение в труде *Ілюстрісїмус Домїнус Мазєна – тло і постать*, написаном в 1960 г., в 1932 создал свое знаменитое стихотворение *До портрета Мазєни*, где параллель с текстами „героического” адония очевидна. Вопрос только в том, какие тексты для Е. Маланюка первичны и неужели это русские образцы: Бем ближе борцу за свободу Украины или „Снигирь” Суворов. Адонические отрезки в первых четырех строках текста выделены: „Се відчути, вчитатись в се треба,// Розчинитись єством в сім сенсі:// Illustrissimus Dominus Mazepa// Dux Cohortis Zaporojiensis./// **Срібна чуприна,/ чоло пророче,**// Ні, не порожній зір Ніоби –// Зимні телескопічні очі// Бачать майбутнього буряні доби./// **В панцір закуто/ груди і плечі,**// **Тінню за ними –/ спалені крила.**// Серце юне і тіло старече/ Пурпур и бронза окрили./// Риму козацького сивий Марсе!// Чули століттями, **віщий гетьмане,**// Гул погребовий полтавського маршу// Крізь Петербургу затруті тумани...” (Євген Маланюк, *До портрета Мазєни*). Собственно, для украинской традиции (фольклорной и песенной) адоний не чужой, а самый что ни есть родной, он – ритмическая основа чуть ли не самой любимой украинцами песни: „**Місяць на небі,/ зіроньки сяють.**// **Тихо по морю /човен пливе.**// **В човні дівчина/ пісню співає,**// **А козак чує /серденько мре**”. Впрочем, действительно, песни не то, что авторские тексты, и можно только обратить внимание на тот факт, что в вокальных текстах адоний укоренен прочнее, возможно потому, что в ряде языков (в польском, русском

¹⁶ L. Pszczółowska, *On the Ukrainian translation of Mickiewicz's drama „Dziady”*, [в:] *Славянський стих*, „Рукописные памятники Древней Руси”, Москва 2012, с. 331.

и украинском совершенно точно) эта стихема подразумевает компенсаторную долготу на гласных иктов.

Распев многолетия („Многая/многия лета...”) – адоний, „Боже, царя храни” (коллективное сочинение) – адоний. Возможно, что песенный фольклор славян – общий источник „античного” адония. Правда, в качестве песенного размера адоний быстро сбрасывает и приобретает ореолы, иногда подсказывая при этом почти необъяснимую интертекстуальную связь. Поэт, идущий следом за великими польскими романтиками, представитель школы Варшавской богемы („цыганерии”), вероятно, расценивал балладный 11-сложник с включением предцезурного логаэдического пятисложника как типичный размер народной песни. Сиверин Гжегож Филеборн, прибегая к модному „романтическому” приему литературной мистификации, публикует в 1841 г. собственное стихотворение *Волостная песнь* (*Pieśń gminna*), снабдив его комментарием, подписанным инициалами F.S. В комментарии сочинитель сообщает, что „pieśń o tragicznej miłości dwojga kochanków znana jest wśród ludu polskiego w rozmaitych wersjach. O. Kolberg zapisał ich kilkanaście z różnych stron Polski... z wyjątkiem tej, którą podaj Filleborn”¹⁷. Далее комментарий повествует о тысячах вариантов изложенной в песне истории, с разными именами любовников, местами действия (в том числе Варшава), отношением родни к убийству девушки, способами казни убийцы, каковые (варианты) были обнаружены неутомимым Оскаром Кольбергом, короче говоря, перед читателем настоящий пародийный „гелертерский” текст. И тем не менее массовое сознание, похоже, не приняло иронических обертонов и в его коллективных глубинах текст закрепился как образчик подлинной трагедии. Ср.: „**A jednej wiosce /cóż to się stało?// Dwoje się ludzi/ w sobie pokochało.// Przyszli on do niej o ósmej godzinie:// «Wstań, Magdaleno, wyprowadzisz ty mnie!» // I ona wstała,/ I zapłakała,// Wzięła chusteczki, oczki obcierała**” (Seweryn Fil-leborn, *Pieśń gminna*, первая строфа); „**Пришел мой милый/ из города пьяный// Тук-тук в окошко:/ «Я твой коханий!»// С постели встала,/ дверь отворила,// Поцеловала, спать уложила**” или: „Идет мой милый, с утра-то пьяный:// «Открой мне двери, моя кохана!// Открой мне двери или оконце,// Люблю тебя я, мое ты солнце»” (третья строфа или припев в двух официально не признаваемых вариантах народной песни *Позарастили стежки-дорожки*, зафиксированных, впрочем, не только в Рунете, но и в ряде художественных текстов, напр. Г. Белых и Л. Пантелеева,

¹⁷ *Cyganeria Warszawska*, Ossolineum – DeAgostini, Wrocław 2004, с. 7–8.

а также В. Солоухина, в этих вариантах от официального „народного” текста сохранились только первые строки).

От польской „цыганерской” стилизации середины позапрошлого века до русского „городского романа” рубежа позапрошлого и прошлого веков, казалось бы, солидная дистанция, хронологическая и географическая. Тем не менее поражает не столько даже мотивное сходство, сколько лексические и акцентные полонизмы и буквальные совпадения с текстом Филеборна в русском аналоге. Правота упомянутых суждений М.Л. Гаспарова, как кажется, состоит в том, что пространство песенных текстов, опирающихся на мелодии и счет по музыкальным четвертям гораздо меньше зависит от специфики языка версификации, нежели пресловутое „говорное”. И в нем возникновение не связанных напрямую со спецификой языка формул гораздо более вероятно. О возвращении адонию – в исходном немецком тексте заведомо интернациональному, возможно и имитирующему подлинный античный адоний – статуса славянской ритмико-синтаксической формулы посредством путешествия по сложным маршрутам интертекстуальных отношений повествует почти анекдотическая история пионерского гимна *Взвейтесь кострами, синие ночи!*, сочиненного А. Жаровым под впечатлением услышанного *Марша солдат* из оперы Ш.Гуно *Фауст*. В советском театре оперы пелись только в переводе. В *Фаусте* для большинства номеров использовались не переводы из французского либретто Ж. Барбье и Ш. Карре, а непосредственно литературный перевод *Фауста* И.В. Гете, сделанный Н. Холодковским. Отличия от французской версии ритмически довольно существенны, поскольку она далека от немецкого оригинала, а русский перевод, напротив, к оригиналу близок, ср.: 1) немецкий оригинал: „Burgen mit hohen/ Mauern und Zinnen// Mädchen mit stolzen/ höhnenden Sinnen// möcht’ ich gewinnen!/// Kühn ist das Mühen,/ herrlich der Lohn! [нерифмуемый стих, повторяющийся далее рефреном] Und die Trompete/ lassen wir werben// wie zu der Freude,/ so zum Verderben...”; 2) французский вариант: „Gloire immortelle// De nos aïeux,// Sois-nous fidèle,// Mourons comme eux!// Et sous ton aïe,// Soldats vainqueurs,// Dirige nos pas, enflamme nos coeurs! 3) русский перевод: „Башни с зубцами,// Нам покоритесь!// Гордые девы,// Нам улыбнитесь!// Все вы сдадитесь!// Славная плата// Смелым трудам!// Подвиг солдата// Сладостен нам”. Возможно, неполное совпадение с французской версией создает для русских исполнителей некоторые неудобства, но зато из трех приведенных вариантов этот наиболее регулярно чередует собственно адоний и двустопный усеченный дактиль

(„Смелым трудам... Сладостен нам”). Именно такая ритмическая организация, причем со строгим чередованием адония и дактиля и была заимствована А. Жаровым (о ямбовидных строчках французского либретто – *Dirige nos ras, enflamme nos coeurs!* – он ничего не знал, а то, возможно, пионерский гимн выглядел бы иначе). Тем не менее, как ни относиться к методу сочинения пионерской песни, этот текст вернулся в контекст многочисленных песенных славянских адониев с характерным усилением долготности вокалов на иктах, передающийся, между прочим, и строчкам усеченного двустопного дактиля с мужской рифмой. Так что факт интернационализации, как представляется, отнюдь не отменяет сказанного о естественном генерировании адония в акцентной модели польского пятисложного словосочетания и переносе его, уже как маркированного и коннотированного, на русскую и украинскую высокопоэтические почвы: „Sam jeden tylko – i ten sam zawsze!” (Włodzimierz Wolski, *Geniusz*).

Streszczenie

Logaed adonik: słowiański rytmiczno-składniowy inwariant

W artykule analizuje się znane (G. Dzierżawin – J. Brodski) i mniej znane (G. Dzierżawin? C.K. Norwid? A. Mickiewicz? – J. Malanuk) przykłady ustalenia „heroicznego” *oreolu logaedu* (wersu adonicznego). Jest możliwe polskie pochodzenie tego *oreolu* oraz jego wczesna polska „deheroizacja”, która ujawniła jego początkowe konotacje i ogólnosłowiańskie źródło „obcego” wersemu (logaed, skrócony daktyl).

Summary

Logoaedic adonic verse: the Slavonic rhythmical and syntactic invariant

The article examines well-known (G. Derzhavin – J. Brodsky) and less known (G. Derzhavin? C.K. Norwid? A. Mickiewicz? – J. Malaniuk) samples of the establishment of “heroic” aureole of logaoedic (adonic) verse, the possible Polish source of this aureole, and its early Polish “de-heroization” which has revealed the initial connotations and the general Slavonic source of the “alien” verse (logaoed, truncated dactyl).

Key words: Slavonic verse, adonic verse, five-syllable, verse, Polish origin.

Anna Rygorowicz-Kuźma
Uniwersytet w Białymstoku

Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach ogólnych

Duchowość religijna to obszar, który prawie przez cały XX wiek był w krajach Europy Środkowo-Wschodniej deprecjonowany i marginalizowany. Szczególne represje dotknęły narody byłego Związku Radzieckiego. Dopiero po zmianach społeczno-politycznych religia wyszła „z podziemia” i zaczęła się intensywnie odradzać. Dziś nie sposób mówić o życiu politycznym, społecznym czy kulturalnym Rosjan bez odniesienia do wiary i duchowości – zwłaszcza duchowości prawosławia, będącej skarbnicą ich kulturowo-narodowych i historycznych tradycji.

W Polsce, choć Kościół nie był represjonowany w takim stopniu, jak u naszych wschodnich sąsiadów, również można zaobserwować wzrost zainteresowania obszarem *sacrum*. Dotyczy to nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego – dominującego w Polsce, ale też bratniego Kościoła prawosławnego. Powstają nowe świątynie, wspólnoty zakonne, rozwija się szkolnictwo i nauki teologiczne, powstaje wiele publikacji o charakterze popularnonaukowym, jak i ściśle teologicznym. W przypadku prawosławia są to najczęściej prace przekładowe, tłumaczone z języków zachodnich (angielski, francuski), choć największa baza tekstów o duchowości prawosławia powstaje na gruncie rosyjskim.

Zainteresowanie tym obszarem pod kątem dwujęzycznych opracowań leksykograficznych jest więc zasadne z paru powodów. Pierwszy z nich to ten, iż przez wiele lat w słownikach dany obszar był poddawany cenzurze i ideologicznej indoktrynacji, skażony i deprecjonowany¹, w związku z czym trudno było na leksykę religijną spojrzeć w sposób obiektywny i bezstronny. Dziś zarówno Polska, jak i Rosja postrzegane są jako państwa wysoce religijne, które można porównać, używając słów papieża Jana Pawła II, do dwóch płuc chrześcijaństwa – zachodniego i wschodniego. Ostatnie lata znamionuje też znaczne ożywienie

¹ Zob. na ten temat np.: Н.А. Купина, *Тоталитарный язык. Словарь и речевые реакции*, Екатеринбург 1995; K. Rutkowski, *Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu radzieckiego*, Białystok 2007.

dyskusji o wymiarze kulturowym i religijnym, rozwija się – choć powoli i z pewnymi oporami – polsko-rosyjski dialog ekumeniczny. Znajomość realiów religijnych, zarówno rodzimych, jak i narodu sąsiedniego, jest dla tych kontaktów niezwykle ważka. Czy współczesne źródła leksykograficzne wychodzą na przeciw nowym zjawiskom, czy też pozostają wobec nich obojętne? Wspomaga ją je, a może hamują? W jakim zakresie słownictwo religijne jest odzwierciedlone w słownikach, w jaki sposób są opisane i zestawione jednostki języka rosyjskiego i polskiego, w których duchowość sakralna się zawiera?

W niniejszej pracy zostanie poruszone zagadnienie zakresu i sposobu fiksacji terminologii religijnej w słownikach rosyjsko-polskich, w związku z czym lewa strona słownika będzie reprezentować głównie obszar chrześcijaństwa wschodniego. Jakie ekwiwalentne jednostki języka polskiego odnajdziemy po stronie prawej? Czy będą one odwoływać się do kultury prawosławia, czy też wskazywać na podobne zjawiska i pojęcia funkcjonujące w Kościele rzymskokatolickim? Kościół prawosławny w Polsce i jego terminologia stanowią przecież swoistą kulturową i językową niszę. Tym bardziej znaczące stają się rezultaty pracy autorów słowników rosyjsko-polskich, którzy w pewien sposób pośredniczą w międzykulturowych (międzywyznaniowych) kontaktach i wpływają na ich jakość.

Rozpatrując słownictwo religijne (tu: prawosławia), trzeba pamiętać, iż jest to obszar włączany do leksyki specjalnej, o charakterze terminologicznym, często pozostającej poza granicami słownictwa ogólnego. Dlatego fiksację może odnaleźć tylko w najobszerniejszych słownikach ogólnych. Do takich należą dwa źródła leksykograficzne, podobne objętościowo (ok. 70 tys. haseł), ale różniące się sposobem opracowania. Pierwsze z nich zaliczane jest do opracowań tradycyjnych, powielających koncepcje teoretyczne i strukturalne słownikarstwa XIX wieku². To *Wielki słownik rosyjsko-polski* autorstwa A. Mirowicza, I. Dulewiczowej, I. Grek-Pabisowej i I. Martyniakowej (dalej: WSRP), który po raz pierwszy ukazał się w 1970 r. Słownik ten doczekał się już siedmiu wznowień (wydanie 8 opublikowano w 2004 r.). Jego trzecie wydanie (z lat 1986–1987) zostało poprawione i uzupełnione, kolejne wyszły już bez żadnych zmian. Zatem słownik był aktualizowany po raz ostatni ponad ćwierć wieku temu, w okresie dość specyficznym zarówno dla Rosjan, jak i Polaków, tj. na progu burzliwych przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych. Mimo to wciąż ma niemały wpływ na poziom znajomości języka rosyjskiego w Polsce, jest też wyko-

² Zob. J. Wawrzyńczyk, *Rosyjsko-polskie relacje przekładowe w praktyce leksykograficznej*, Warszawa 1997, s. 8–9.

rzystywany przez językoznawców i tłumaczy. Już wstępna analiza pozwala przypuszczać, iż leksyka religijna zajmuje w nim dość wyraźne miejsce. Terminologia prawosławna wyróżniona jest tu najczęściej za pomocą kwalifikatora *cerk.* ('cerkiewny') bądź *rel.* ('religia').

Drugi, nowatorski i opracowany od podstaw *Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim* pod redakcją J. Wawrzyńczyka (dalej SWaw.), ukazał się na polskim rynku wydawniczym po raz pierwszy w 2004 r. Jest to najbardziej aktualny współczesny dwujęzyczny słownik o przeznaczeniu ogólnym, który jak twierdzą jego autorzy: „zaspokaja potrzeby językowe kulturalnego Europejczyka – wykształconego Rosjanina i Polaka, otwartego na cały współczesny świat, pozytywnie odnoszącego się do rzeczywistości, aktywnego uczestnika dialogu kultur, dobrze znającego własny kraj, jego tradycje XX – początku XXI w., pragnącego poruszać się swobodnie w najróżniejszych sytuacjach życiowych, osobistych i społecznych, jakie dziś stwarza europejska integracja, procesy globalizacji, wolny rynek” (SWaw., s. 7). Powyższa rekomendacja wskazuje, iż w słowniku fiksację powinny znaleźć m.in. jednostki leksykalne związane z rosyjską kulturą i tradycją, której nieodłącznym elementem jest duchowość prawosławia.

Rzeczywiście, w źródle tym zanotowano ponad 300 haseł odnoszących się do obrzędowości i kultury tego wyznania. Z leksyki ogólnej można je wyodrębnić częściowo dzięki informacji dodatkowej typu '*в православной церкви*', '*у православных*', '*в церкви*' umieszczanej w nawiasie po hasle słownikowym. Dla niektórych jednostek hasłowych taki komentarz (z określeniami '*prawosławny*', '*cerkiewny*', '*cerkiew*') pojawia się po odpowiedniku przekładowym. Gros leksemów dotyczących duchowości religijnej nie zostało jednak opatrzonych żadnym kwalifikatorem czy objaśnieniem (zob. np. hasła: *акафист*, *архимандрит*, *митра*, *отпевание*, *фелонь* i in.), co w niektórych przypadkach może utrudniać prawidłowe użycie terminu.

W obu słownikach fiksację znalazła (oczywiście wybiórczo ze względu na ich objętość oraz rodzaj) zarówno leksyka konkretna, obrazująca materialną rzeczywistość prawosławia, tj. nazwy budynków cerkiewnych i ich części (zob. np. hasła: *келья*, *подворье*, *ризница*, *лавра*, *монастырь*, *церковь*, *скит*, *собор*, *соля*, *трапезная* i in.), określenia przedmiotów, naczyń i szat liturgicznych (zob. np. hasła: *ѓналой*, *дарохранительница*, *епитрахиль*, *жертвенник*, *купель*, *плащаница*, *просфора*, *скуфья*, *служебник*, *ряса* i inne), określenia osób duchownych i laikatu (zob. hasła: *архимандрит*, *владыка*, *дьяконница*, *исповедник*, *митрополит*, *схимник*, *преосвященство*, *причастница*, *расстрига*, *трапезник* i in.) itp., jak i leksyka wskazująca na pojęcia wiary

i terminy teologii (zob. np. hasła: *богословие, анафема, единосущный, ипостась, душа, покаяние, триединство* i in.), sakramenty (zob. np. hasła: *исповедь, брак, крещение, миропомазание, священство* i in.), nabożeństwa i ich części (zob. hasła: *литургия, ектенья, молебен, панихида, песнопение, сорокоуст, утренья* i in.) oraz cykl świąteczny (zob. hasła: *успенский пост, святки, Богоявление, Покров Богородицы, Преображение Господне, сырная неделя* i in.). Takich jednostek oba słowniki rejestrują podobną liczbę (ponad 300). Hasła w większości przypadków powtarzają się, różnice w rejestracji bądź jej braku są nieznaczne i nie wpływają na całościowy obraz danej leksyki. SWaw. nie notuje np. zafiksowanych w WSRP haseł: *дароносица* (WSRP, I 242), *иеродьякон* (WSRP, I 406), *поминальник* (WSRP, II 150), *святитель* (WSRP, II 426), *страстотерпец* (WSRP, II 543), *троеперстие* (WSRP, II 605), *церковность* (WSRP, II 720), z kolei w WSRP brak m.in. wielu nazw własnych poświadczonych w SWaw., takich jak: *Богоявление* (SWaw., 63), *Введение во храм Пресвятой Богородицы* (SWaw., 81), *Воздвижение Креста Господня* (SWaw., 101), *Минеи Четьи* (SWaw., 381) i in. Tak więc zarówno w SWaw., jak i WSRP użytkownicy znajdują podstawową leksykę dotyczącą obrzędowości prawosławia, ważniejsze pojęcia wiary i terminy cerkiewne, a także część konfesyjnych nazw własnych.

Przed przystąpieniem do analizy artykułów słownikowych należy podkreślić, iż przekład na język polski tak specyficznej grupy leksykalnej, jaką jest leksyka religijna (tu konkretniej: prawosławna) jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Mimo iż obszar zawęży się do chrześcijaństwa i nie dotyczy kultur i tradycji znacząco odległych, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, jak obcość pewnych realiów i pojęć prawosławia w kulturze polskiej, różnice w realiach na pozór zbieżnych w chrześcijaństwie Wschodu i Zachodu, możliwe konotacje itp. Słownictwo tego obszaru wymaga więc niezwyklej skrupulatności, kulturowego wyczucia, językowej intuicji i pewnego zasobu wiedzy podczas opracowania leksykograficznego. Autorzy słowników radzili sobie z tymi problemami w różny sposób.

Zarówno WSRP, jak i SWaw. dla interesujących nas haseł rosyjskich podaje najczęściej jeden odpowiednik w języku polskim, por. np.: *дьякон* diakon (SWaw., 192), *елеосвящение* sakrament chorych (SWaw., 197), *купель* *cerk.* chrzcielnica (WSRP, I 524), *Пасха* Wielkanoc (SWaw., 516), *плащаница* całun (SWaw., 549), *преосвященный* *cerk.* przewielebny (WSRP, II 200) itp., a w przypadku wieloznaczności hasła translaty wyodrębnione są za pomocą numeracji, od odpowiednika ze znaczeniem ogólnym do bardziej specjalistycznych, por. np.: *собор* 1. sobór, 2. (*собрание представителей духовенства*)

sobór (SWaw., 752), **спас**³ *rel.* 1. Zbawiciel; 2. cerkiew Zbawiciela; 3. spas (*nazwa święta Zbawiciela w końcu lata*) (WSRP, II 511) i in. Rozwiązanie takie wydaje się najkorzystniejsze dla użytkowników słownika, którzy otrzymują jeden konkretny odpowiednik przekładowy, nadający się do bezpośredniego podstawienia w tłumaczonym tekście. W roli ekwiwalentów występują tu leksemy o różnym źródłosłowie.

Kościół prawosławny posługuje się częściowo terminologią ogólnochrześcijańską, wspólną dla Kościoła zachodniego i wschodniego. Stąd wśród translatów pojawiają się leksemy typu *arcybiskup*, *męczennik*, *nabożeństwo*, *pielgrzym* i in. W związku z tym, iż językiem liturgicznym zarówno Cerkwi rosyjskiej, jak i polskiej jest język staro-cerkiewno-słowiański, gros terminów prawosławnych zostało zapożyczonych właśnie z tego języka, zob. np.: *акафист*, *архиереј*, *дарохранительница*, *клирос*, *владыка*, *требник* i in. Część haseł tłumaczona jest poprzez termin grecki, bez pośrednictwa cerkiewnosłowiańskiego, zob. np.: **епитрахиль** epitrachelion (SWaw., 197), **Триодъ** Triodion (SWaw., 810), **фелонь** felonion (SWaw., 848) i in. Sporadycznie, zwłaszcza w WSRP, translaty przybierają też postać terminów łacińskich, np.: *cyborium*, *dalmatyka*, *monstrancja*. Ekwiwalenty tego typu nie są jednak określeniami typowymi dla prawosławia i należy je traktować przede wszystkim jako odpowiedniki funkcjonalne, nazywające zjawiska czy pojęcia semantycznie zbieżne, funkcjonujące w Kościele katolickim. W niektórych przypadkach, głównie dla zapożyczeń cerkiewnosłowiańskich, odpowiednik przekładowy uzupełniony jest umieszczoną w nawiasie informacją dodatkową, ułatwiającą jego zrozumienie i mającą wspomóc prawidłowe użycie, zob. np.: **архиереј** archierej (*biskup wszelkich szczebli w cerkwi prawosławnej*) (WSRP, I 41), **венец** 2 zn. *cerk.* wieniec (*w cerkwi prawosławnej – korona trzymana nad głowami nowożeńców podczas obrzędu ślubnego*) (WSRP, II 105), **камилавка** kamiławka (*nakrycie głowy duchownego prawosławnego otrzymywane za specjalne zasługi*) (SWaw., 297), **требник** *trebник* (*prawosławna księga do nabożeństw wotywnych*) (SWaw., 807), **Радоница** Radonica (*powielkanocne modlitwy nad grobami*) (SWaw., 659) i in. Taka konkretyzująca informacja okazuje się niezbędna zwłaszcza w sytuacjach, gdy transland jest zastępowany odpowiednikiem zgeneralizowanym, o szerszym zakresie znaczeniowym, por. np.: **благовест** dzwon (*na nabożeństwo*) (SWaw., 60), **великомученик** męczennik (*za wiarę*) (SWaw., 84), **клирос** *cerk.* 1 zn. (*месно*) chór (*miejsce w prezbiterium cerkwi na podwyższeniu*) (WSRP, I 474), **схимник** mnich (*przestrzegający ścisłej ascezy*) (SWaw., 786) itp.

³ Pisownię *снас*, *спас* z małej litery przytaczam za WSRP.

W SWaw. transland otrzymuje często dwa bądź trzy polskie ekwiwalenty. Podobne przypadki autorzy słownika objaśniają następująco: „Niekiedy trudno jest ustalić kryteria i warunki użycia poszczególnych odpowiedników oraz sformułować adekwatną, wyrazistą zasadę ich wyboru – przy założeniu, że w językach nie ma synonimii zupełnej; wówczas jedynie wyliczamy bezkomentarzowo same te odpowiedniki, stosując specjalny symbol, ukośnik (który również jednak hierarchizuje odpowiedniki, ponieważ następują one w kolejności od adekwatniejszego, w naszym odczuciu, do mniej adekwatnego, a także od częstszego do rzadszego)” (SWaw., 13). Przytoczmy parę takich przykładów: **акафист** akatyst / akafist (SWaw., 25), **аналой** pulpit (*cerkiewny*) / anałoj / analogion (SWaw., 30), **архиерей** archijerej / biskup (SWaw., 38), **батюшка** 2. zn. (*православный священник*) batiuszka / ksiądz prawosławny (SWaw., 48), **вечерня** (*у православных*) wieczernia / nabożeństwo wieczorne (SWaw., 88), **игумен** igumen / ihumen / przeor (SWaw., 265), **клирос** kliros / chór (*miejsce*) (SWaw., 310), **Покров** Pokrow / Pokrowa (SWaw., 574), **скуфья** skufia / skufija (SWaw., 741) i in. Powyższe translaty nie wymagają komentarza, gdyż okazują się najczęściej synonimami dokładnymi o różnym rodowodzie. Część z nich to polskie warianty fonetyczne tego samego terminu zapożyczonego bezpośrednio z języka greckiego bądź cerkiewnosłowiańskiego, por. np.: *akatyst* (gr.) / *akafist* (cs.), *anałoj* (cs.) / *analogion* (gr.) i in. Pojawiają się też różne warianty (fonetyczne, graficzne, gramatyczne) spolszczeń cerkiewnosłowianizmów, np.: *igumen* / *ihumen*, *skufia* / *skufija*, *Pokrow* / *Pokrowa* itp.

Obok cerkiewnosłowiańskich i greckich zapożyczeń wskazujących wyraźnie na kulturę prawosławia, w roli odpowiedników przekładowych notowane są jednostki funkcjonujące w języku polskim głównie w powiązaniu z nomenklaturą Kościoła katolickiego, zob. np.: **обедня** msza / nabożeństwo (*poranne, przedpołudniowe*) (SWaw., 446), **служебник** służebnik / mszał (SWaw., 745), **игумен** (*настоятель православного монастыря*) igumen / ihumen / przeor (SWaw., 265), **Рождество Богородицы** Narodzenie Bogarodzicy / Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (SWaw., 700), **Крещение** Chrzest Pański / Trzech Króli (SWaw., 333) itp. Jednostki typu *msza*, *mszał*, *przeor*, *Trzech Króli* to analogi funkcjonalne (dokładniej: katolickie), oznaczające analogicznie funkcjonujące zjawiska odnoszące się do wyznania najbardziej w Polsce rozpowszechnionego. Ich obecność w roli słownikowych odpowiedników przekładowych jest zatem jak najbardziej zasadna, choć niezbędny wydaje się w takich przypadkach dodatkowy komentarz, wskazujący na kulturowy (wyznaniowy) obszar użycia. W WSRP takie artykuły hasłowe są jeszcze bardziej wyraźne, gdyż terminologia prawosławna otrzymuje łacińskie odpowiedniki, opatrzone dodatkowo kwalifi-

katorem *cerk.* (!), zob. np: **дароносица** *cerk.* monstrancja (WSRP, I 242), **дарохранительница** *cerk.* cyborium (WSRP, I 242), **епитрахиль** *cerk.* stuła (WSRP, I 301), **святцы** *cerk.* rubrycel (WSRP, II 426), **стихарь** *cerk.* dalmatyka (WSRP, II 537) i in.

Jeszcze jeden sposób przekładu zastosowany w analizowanych słownikach (częściej w WSRP) to metoda opisowa, zob. np. artykuły hasłowe: **говеть** *rel.* przygotowywać się do spowiedzi i komunii; odbywać rekolekcje (WSRP, I 217), **паникадило** (*в церкви*) wielki żyrandol / wielki świecznik (SWaw., 512), **причт** *cerk.* duchowieństwo i służba kościelna parafii (WSRP, II 240), **расстрига** *cerk.* kapłan pozbawiony godności kapłańskiej; mnich pozbawiony habitu (WSRP, II 359), **схима** reguła zakonna (*surowa*) (SWaw., 786), **сорокоуст** *cerk.* modlitwy na czterdziestodniowy okres po śmierci (WSRP, II 503) i in. Rolę translatów pełnią tu w rzeczywistości krótkie definicje wyrazów hasłowych, co nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym w słowniku dwujęzycznym. Taki opisowy ekwiwalent pozwala na zrozumienie znaczenia leksemu wyjściowego, ale nie może być jego równoważnym odpowiednikiem przekładowym.

Tłumaczenie leksyki realio- i kulturoznawczej, do jakiej terminologia prawosławna się zalicza, jest jednak niezwykle trudne i problematyczne. W wielu przypadkach niełatwo skorygować zastosowane rozwiązanie translatorskie, wiedząc, że każde inne będzie równie, a może i bardziej niedoskonałe. Autorzy słowników, mając świadomość iż pełna adekwatność translandu i translatu jest często niemożliwa, skazani są bądź na powielanie tłumaczeń stosowanych w innych źródłach, bądź poszukiwania autorskie, indywidualne. Dlatego w różnych słownikach dwujęzycznych ten sam transland może otrzymać różne odpowiedniki przekładowe. Takich przykładów nie brak w analizowanych słownikach rosyjsko-polskich, zob. np.:

схимник *cerk.* pokutnik boży (WSRP, II 560); mnich (*przestrzegający ścisłej ascezy*) (SWaw., 786);

многолетие 2 zn. *cerk.* (*часть богослужения*) „mnoga leta” (*życzenia długiego życia i pomyślności*) (WSRP, I 597); (*часть богослужения*) wielolecie / „Długich lat...” (*życzenia długiego życia i pomyślności stanowiące część nabożeństwa prawosławnego*) (SWaw., 383);

христосование (trzykrotny) pocałunek wielkanocny (WSRP, II 712); pozdrowienie wielkanocne (*prawosławne, ze słowami „Христос воскрес! – Воистину воскрес!” i trzykrotnym pocałunkiem*) (SWaw., 870).

Jak widać, ekwiwalenty zastosowane w WSRP i SWaw. różnią się. Nie sposób tu jednak dowodzić, które rozwiązanie translatorskie jest właściwsze,

gdyż każde ma swoje zalety i wady. Ważne jest, że leksykografowie podejmują próby, stosują nowe rozwiązania, starają się doskonalić swój warsztat i ulepszać słowniki⁴.

Na podstawie powyższej analizy można pokusić się o określenie pewnych tendencji dotyczących przekładu i zarazem funkcjonowania terminologii prawosławia w języku polskim. Jak już wspomniano, część terminologii prawosławnej jest wspólna z polską leksyką ogólnochrześcijańską. Obok niej translaty oddawane są poprzez transkrypcję terminów cerkiewnosłowiańskich. W SWaw. widoczny jest już podział na funkcjonujące równolegle bezpośrednie greckie i cerkiewnosłowiańskie zapożyczenia, które w słowniku otrzymują ten sam status, zob. np.: *analoj* / *analogion* (SWaw., 30), *akatyst* / *akafist* (SWaw., 25) itp. Co ciekawe, dla niektórych translandów podawany jest tylko odpowiednik pochodzenia greckiego (przy funkcjonujących obu), zob. np.: *felonion* (SWaw., 848), *epitrachelion* (SWaw., 197), *prokimenon* (SWaw., 635) i in. Stosowanie greckich odpowiedników bez pośrednictwa cerkiewnosłowiańskiego jest tendencją dosyć nową, dającą się zauważyć od lat 90. XX wieku. Dlatego też w WSRP takie przypadki są jeszcze rzadkością⁵.

Mówiąc o potrzebie ulepszania słowników, należy zwrócić uwagę na poddany tu analizie WSRP, który ukazał się w 2004 r., lecz wciąż jest to, niestety, przedruk wydania sprzed okresu zmian politycznych. W związku z tym zauważalna jest w nim pewna deprecjacja słownictwa religijnego. Najwyraźniej jest to widoczne w zastosowaniu małej litery w hasłach i podhasłach będących nazwami własnymi, zob. np.: *богородица* (WSRP, I 77), *вербное воскресение* (WSRP, I 106), *радуница* (WSRP, II 308), *спас* (WSRP, II 511), *святой дух* (WSRP, I 295), *тройца* (WSRP, II 606) itp. Co ciekawe, zabieg ten dotyczy tylko nazw w języku rosyjskim, polskie ekwiwalenty otrzymują pisownię z wielkiej litery, zob. np.: **богородица** Matka Boska, Bogarodzica, Bogurodzica (WSRP, I 77), **покров** *cerk.* święto Pokrowu (opieki Matki Boskiej) (WSRP, II 133) i in. W przypadku nazw świąt uwagę zwraca też niedopracowanie artykułów hasłowych i brak (zapewne celowy) ich pełnych nazw jako połączeń stałych. Dla hasła *преображение* brak na przykład wyrażenia *Преображение Господне*, dla *рождество* brak połączenia *Рождество Христово* itp., zob. np.: **рождество** *rel.* Boże Narodzenie (WSRP, II 387) i in.

⁴ Zob. np.: *Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych*, pod red. W. Chlebdy, Opole 2011.

⁵ Zob. np.: *плащаница* – ‘cerk. epitafion, płótno grobowe, całun’ (WSRP, II 70).

W nowatorskim SWaw. również nie uniknięto niedoskonałości. Mimo iż autorzy słownika dążą do maksymalnej prostoty opracowania haseł i eliminacji informacji nieprzekładowej, zauważalna jest niekonsekwencja w stosowaniu objaśnień dodatkowych. W wielu przypadkach opisy te wydają się zbędne, zob. np.: **камилавка** kamiławka (*nakrycie głowy duchownego prawosławnego otrzymywane za specjalne zasługi*) (SWaw., 297), **клубук** kłobuk (*wysokie nakrycie głowy, z welonem, noszone przez duchownych*⁶) (SWaw., 310) i in.

Poza tym w słowniku tym odnajdujemy jednostki przekładowe, które niestety prowadzą do dezinformacji czytelnika. Tak jest m.in. w przypadku nazwy jednego z dwunastu głównych świąt prawosławnych. Zgodnie z SWaw. *Сретение / Сре́тение* to *Oczyszczenie Maryi Panny* z dodatkową informacją w nawiasie ‘święto prawosławne obchodzone 2(15) lutego’ (SWaw., 769). Po pierwsze, pełna nazwa święta to *Сретение Господне* i takie hasło powinno znaleźć się w słowniku. Po drugie, nazwie tej w języku polskim odpowiada *Spotkanie Pańskie*. Przekład rosyjskiej nazwy nie powinien sprawiać trudności, wyraz *сретение*, choć pochodzenia staro-cerkiewno-słowiańskiego, znajduje fiksację w słownikach języka rosyjskiego⁷ w głównym znaczeniu „встреча” (czyli „spotkanie”). Podanie innego polskiego odpowiednika budzi więc zdziwienie, tym bardziej iż nazwa *Oczyszczenie Maryi Panny* nie jest używana (i zrozumiała) ani w środowiskach prawosławnych, ani w literaturze dotyczącej prawosławia. Jak się okazuje, ten „odpowiednik” trafił do słownika najprawdopodobniej z tłumaczenia tekstu literackiego⁸. Podstawą do umieszczenia w słowniku dwujęzycznym ekwiwalentów pochodzących z tłumaczeń rosyjskich tekstów literackich i naukowych była zapewne koncepcja J. Wawrzyńczyka, który dowodził, iż słownik przekładowy „powinien być oparty na przekładach dzieł literatury rosyjskiej. [...] Z tekstów literackich można wydobyć odpowiedniki zwłaszcza takich na ogół trudnych do przełożenia jednostek, jak nazwy realiów kultury materialnej i duchowej Rosjan”⁹. Rzeczywiście, tzw. dwuteksty, czyli oryginalne teksty literackie i ich opublikowane przekłady, stanowią ogromną bazę dla tłumaczy i mogą być wykorzystywane w dwujęzycznych źródłach leksykograficznych, jednakże po uprzednim szczegółowym opracowaniu, weryfikacji użyć w możliwie dużej liczbie tekstów oraz eliminacji użyć jednostkowych.

⁶ W objaśnieniu hasła wystąpił błąd. Kłobuk jest noszony tylko przez osoby stanu zakonnego, nie jest to nakrycie głowy wszystkich duchownych, co sugeruje podana w nawiasie informacja.

⁷ Zob. np.: *Большой толковый словарь русского языка*, главн. ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 1998.

⁸ *Сретение* ≡ *Oczyszczenie Marii Panny* (Лихачева, Р. Lewin 11/18) za: J. Wawrzyńczyk, *Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu rosyjsko-polskiego*, t. II, Łódź 2001, s. 342.

⁹ *Ibidem*, t. I, s. 5–6.

Automatyczne przenoszenie ekwiwalentu tekstowego zastosowanego przez jednego tłumacza jako wzorca słownikowego jest rozwiązaniem błędnym i niewłaściwym.

Jeszcze jeden przykład z SWaw. to fiksacja nieznanego dla prawosławia i tradycji rosyjskiej połączenia *родительская неделя* z niezrozumiałym dla czytelnika tłumaczeniem ‘Tydzień Zmarłych (w prawosławnym kościele)’ (SWaw., 700). Dane wyrażenie zanotowane jest w słowniku obok poprawnego, funkcjonującego w terminologii prawosławnej połączenia *родительская суббота*, używanego na określenie niektórych sobót poświęconych modlitwom za zmarłych. Wyrażenie *родительская суббота* odnaleźć można zarówno w słownikach języka rosyjskiego, jak i rosyjskich leksykonach poświęconych prawosławiu, nie notują one jednak wyrażenia *родительская неделя*. Skąd taki błąd? Być może to wynik zwykłego niedopatrzenia bądź nieprawidłowego skojarzenia dwóch różnych nominacji i pojęć (mam tu na uwadze nazwy niedziel w kalendarzu liturgicznym: *неделя отцов* i *неделя праотцев*). Twórcy słownika ogólnego nie mogą być przecież specjalistami w każdej dziedzinie. Nie oznacza to jednak, iż takich błędów nie należy wskazywać.

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż rosyjsko-polskie słowniki ogólne prezentują i opisują sferę prawosławia w zakresie wystarczającym do podstawowej komunikacji międzykulturowej. Nie zaspokajają jednak potrzeb bardziej wymagającego użytkownika, np. tłumacza, który w słowniku dwujęzycznym poszukuje nie tyle relacji między jednostkami leksykalnymi, ile praktycznych rozwiązań i informacji pozwalającej na prawidłowy wybór translatu w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Analizowane słowniki rejestrują leksykę prawosławną w sposób wybiórczy i nie włączają wszystkich ważnych terminów, połączeń stałych czy nazw własnych. W artykułach hasłowych zdarzają się też błędy natury merytorycznej, nieścisłości lub informacje sprzeczne. Problemy i pomyłki tego rodzaju, które mają prawo znaleźć się w słowniku ogólnym, można jednak częściowo przezwyciężyć, poprawiając i udoskonalając kolejne wydania słowników, a także sięgając do nowatorskich specjalistycznych źródeł przekładowych¹⁰.

¹⁰ Takim źródłem jest niewątpliwie praca R. Lewickiego zatytułowana *Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski*, Warszawa 2002.

Резюме

Православная терминология в русско-польских общих словарях

В настоящей статье рассматривается православная терминология, зафиксированная в современных общих русско-польских словарях: *Большом русско-польском словаре* А. Мировича, И. Дулевичовой, И. Грек-Пабисовой, И. Марыняковой и *Большом русско-польском словаре*, под ред. Я. Вавжинчика.

Прослеживается словарный объём данной лексики, анализируются способы её перевода на польский язык, указываются положительные и отрицательные стороны разработки словарных статей. Анализ переводческих эквивалентов позволяет также выявить главные тенденции, связанные с формированием православной терминологии на польском языке.

Summary

Orthodox terminology in the Russian-Polish general dictionaries

This article focuses on Orthodox terminology found in modern Russian-Polish general dictionaries: *Wielki słownik rosyjsko-polski* by A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Martyniakowa and *Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim* edited by J. Wawrzyńczyk.

The author shows the extent given lexicon is reflected in dictionaries, explores the ways of its translation and presents strengths and weaknesses of elaboration of entry articles. The analysis of translated equivalents also permits the identification of the main tendencies in Orthodox terminology in the Polish language.

Key words: Orthodox terminology, bilingual dictionaries, translation, Polish language, Russian language.

Swietlana Waulina, Inga Lashkova
Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta
w Kaliningradzie

Текстовая функция экспликаторов ситуативной модальности в русском и литовском политическом дискурсе

Учет в современных лингвистических исследованиях человеческого фактора, играющего важную роль экстралингвистического компонента языковых преобразований, вызывает закономерный интерес специалистов к модальности как антропоцентрической категории, выявляющей „позицию адресанта по поводу определенного фрагмента картины мира”¹ и отражающей национальную ментальность. При этом заметный поворот к интенсивному изучению содержательной структуры языка дополняет традиционное понимание модальности ее текстовыми характеристиками, поскольку „категория модальности может быть вынесена за пределы предложения-высказывания – в текст и речевую ситуацию”². В этом случае становится отчетливым прагматический аспект данной категории, ибо „на передний план выдвигается сам акт коммуникации, т.е. для письменного текста – взаимоотношения автора и читателя”³. „Текст, – отмечает Михаил Дымарский, – позволяет представить картину мира в виде развернутой системы представлений, суждений, идей – то есть концепции, – в отличие от неразвернутых форм. Определенная концепция мира может скрываться, угадываться и за афоризмом, но она не явлена, не выражена: для того, чтобы представить эту концепцию в явной форме, необходим текст”⁴. В связи с этим исследователи едины в том, что только при учете

¹ И.Ю. Кукса, *Диахронический аспект изучения модальности публицистического текста*, [в:] *Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению*, Калининград 2008, с. 171.

² В.Н. Мещеряков, *К вопросу о модальности текста*, „Филологические науки” 2001, № 4, с. 22.

³ И.Ю. Кукса, *op. cit.*, с. 171.

⁴ М.Я. Дымарский, *Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX – XX веков)*, Санкт-Петербург 1999, с. 74.

функционирования модальности в тексте как продукте активной речевой деятельности человека возможен ее адекватный семантический анализ⁵.

Впервые модальность как текстовую категорию, формирующуюся под воздействием ряда экстралингвистических факторов (объект изображения, личность автора, особенности его мировосприятия и др.), обозначил, как известно, Илья Гальперин, представивший сущность категории модальности текста через ряд признаков: „субъективная по природе, в тексте она носит не грамматический, а функционально-семантический характер, проявляясь неравномерно в разных фрагментах текста и выражаясь через характеристику героев, распределение отрезков текста, сентенции автора, актуализацию отдельных частей текста и т.д.”⁶. При этом как только „предметом рассмотрения становится текстовая модальность, – отмечает Людмила Бабенко, – стройность и четкость дифференциации модальных значений утрачивается, размываются их границы, наблюдается их пересекаемость и взаимодействие”⁷. Такие случаи семантического варьирования, модального синкретизма, являющиеся результатом взаимодействия модальных пластов и значений и способом отражения реализованной коммуникации, позволяют трактовать модальность как одну из текстообразующих категорий, как силу, структурирующую, развивающую, формирующую концептуальное содержание текста⁸.

В аспекте вышесказанного вполне очевидно, что изучение модальности текста не может быть полноценным без рассмотрения авторской модальности, „скрепляющей все единицы текста в единое смысловое и структурное целое”⁹ и формирующейся „широкой системой модально-оценочных значений, содержащихся в различных структурно-смысловых элементах текстового пространства”¹⁰. Рассматривая модальность текста

⁵ См., например: В.Н. Мещеряков, *op. cit.*, с. 99–105; Т.В. Романова, *Категория текстовой модальности в функциональном аспекте*, [в:] *Русская словесность как основа возрождения русской школы*, т. 2, Липецк 2012, с. 163–169; А.И. Ткаченко, *Текстообразующая роль модальности в газетно-публицистическом дискурсе (на материале новостных заметок и аналитических статей)*, автореф. дис. канд. филол. наук, Калининград 2011.

⁶ И.Р. Гальперин, *Текст как объект лингвистического анализа*, Москва 1981, с. 115.

⁷ Л.Г. Бабенко, *Оценочный фактор в формировании модального пространства текста*, [в:] *Оценки и ценности в современном научном познании*, Калининград 2009, с. 134.

⁸ И.Ю. Кукса, *op. cit.*, с. 172.

⁹ С.С. Валгина, *Теория текста*, Москва 1998, с. 96.

¹⁰ О.В. Девина, *Семантическая доминанта как структурообразующий компонент авторской модальности (на материале поэмы А.Т. Твардовского „За далью – даль”)*, „Вестник Волгоградского государственного университета” 2011, № 1(13), с. 28.

как „языковое и речевое воплощение образа автора”¹¹, мы не разграничиваем термины „авторская модальность” и „текстовая модальность” и используем их в своей статье как синонимы.

С точки зрения выражения «авторства» интерес представляют текстовые источники политической направленности, где личностные характеристики и психологическое состояние автора (преимущественно – политика) значительно влияют на процесс убеждения адресата и побуждения его к политическим действиям. „В процессе политической дискуссии, в процессе обмена информацией о политических событиях и решениях, – пишет Ольга Эпштейн, – адресанты используют свой личный профессиональный опыт, проявляют авторскую индивидуальность как в отборе фактического материала, так и языковых средств его организации”¹², среди которых особый научный интерес, на наш взгляд, представляют лексические модификаторы значений ситуативной модальности (возможность, необходимость, желательность), выражающих соответствующие аксиологические категории и выполняющих поэтому важную оценочную функцию. Обращение же к сопоставительному анализу на материале продуктов политической коммуникации двух стран „позволяет отчетливее дифференцировать «свое» и «чужое», случайное и закономерное, «общечеловеческое» и свойственное только тому или другому национальному дискурсу”¹³, что благоприятствует „лучшему взаимопониманию между народами и межкультурной толерантности”¹⁴.

Как показал контекстуальный анализ фактического материала, наибольшей частотностью характеризуются экспликат модального значения необходимости (в русских текстах – 65% от общего числа экспликатов ситуативной модальности, в литовских – 55%), среди которых ведущее место занимают русский предикатив *должен* ‘обязан; вынужден, принужден’¹⁵ и эквивалентный ему в своем модальном значении литовский глагол *turėti* ‘иметь’; ‘быть должным (обязанным); долженствовать’¹⁶. Ср.: „В конечном счете заработная плата *должна*

¹¹ Т.В. Романова, *op. cit.*, с. 164.

¹² О.В. Эпштейн, *Семантико-прагматические и коммуникативно-функциональные категории политического дискурса*, „Филологические науки. Вопросы теории и практики”, Тамбов 2008, № 2(2), с. 152.

¹³ Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, *Современная политическая лингвистика*, Екатеринбург 2006, с. 27.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ *Словарь русского языка: В 4 т.*, Москва 1981–1984, т. 1, с. 423.

¹⁶ A. Lyberis, *Lietuvių – rusų kalbų įtadas*, Vilnius 2008, с. 868.

платиться не за факт принадлежности к определенному учреждению, а за реальный вклад в науку, образование, здравоохранение, культуру, в оказание обществу и гражданам конкретных услуг” (Владимир Путин 2012); „Stabilizavę valstybės finansus, turime sutarti dėl ekonomikos variklio – verslo skatinimo” (Dalia Grybauskaitė 2012). Меньшим числом реализаций характеризуются модификаторы модального значения возможности (в русских текстах – 30%, в литовских – 25%), где доминантой выступают глаголы *мочь*: ‘быть в состоянии, в силах что-л. делать’, ‘иметь возможность что-л. делать’; ‘быть способным, уметь что-л. делать’¹⁷ и *galėti* ‘мочь, быть в состоянии; иметь возможность’¹⁸. Ср.: „В условиях внешнеполитической нестабильности полную и безусловную гарантию безопасности нашей страны *может дать* только наличие высокоэффективных Вооруженных сил, отвечающих требованиям XXI века и соответствующих статусу великой державы” (Сергей Миронов 2012); „Reikalausiu, kad antras Ignalinos atominės elektrinės blokas nebūtų uždaromas iki to laiko, kol *gali* saugiai *dirbti*” (Valentinas Mazuronis 2009). Периферийное положение в политическом тексте занимают экспликативные модального значения желательности (в русских текстах – 5 %, в литовских – 20%), что „объясняется особенностью модальной семантики желательности, связанной с сугубо личной, внутренней природой факторов, детерминирующих возникновение ситуации желательности”¹⁹. Центральную часть микрополя желательности занимают собственно модальные глаголы, в качестве доминанты среди которых выступают русский глагол *хотеть* ‘испытывать желание, охоту к чему-л.’, и ‘стремиться к осуществлению чего-л.’, ‘иметь намерение (делать что-л.)’²⁰ и литовский – *norėti* ‘желать, хотеть’²¹. Ср.: „Я *хочу построить* настоящее будущее России вместе с вами” (Михаил Прохоров 2012); „Pirmiausia *noriu padėkoti* visiems kas padėjo savo parašus ir draugiškai prisidėjo prie organizacinio darbo, kad šiandien galėčiau dalyvauti rinkimuose ir siekti Lietuvos Respublikos Prezidento posto” (Valdemar Tomaševski 2009).

Применительно к политическому тексту можно говорить о том, что используемые авторами экспликативные ситуативной модальности, актуализирующие представления различных политических партий об

¹⁷ *Словарь русского языка...*, т. 2, с. 305.

¹⁸ А. Lyberis, *op. cit.*, с. 185.

¹⁹ А.И. Ткаченко, *op. cit.*, с. 14.

²⁰ *Словарь русского языка...*, т. 4, с. 622.

²¹ А. Lyberis, *op. cit.*, с. 447.

идеальном государственном устройстве и раскрывающие видение перспектив развития государства и общества, являются ведущим средством реализации авторских коммуникативных стратегий, среди которых релевантными представляются выделяемые американскими исследователями²² стратегии атаки, защиты, продажи, игнорирования, перехвата инициативы, создания псевдособытий, позиции „над схваткой”, критики деятельности оппонентов, призыва к переменам, подчеркнутого оптимизма, выступления в защиту традиционных ценностей и др.

Рассмотрим примеры функциональной реализации ядерными экспликаторами ситуативной модальности коммуникативных стратегий участников политических кампаний.

Как указывалось нами выше, центральное положение среди экспликаторов ситуативной модальности в русских и литовских политических текстах занимают модальные модификаторы необходимости, в частности, предикатив *должен* и глагол *turėti*. При этом стоит отметить особенность употребления *turėti*: широко функционируя в литовском языке как лексически однозначный глагол со значением ‘иметь’, в сочетании с зависимым инфинитивом он способен выполнять также функцию модального экспликатора значения долженствования. Такое „присутствие” данного значения в семантической структуре глагола с общим значением ‘иметь’, по наблюдениям Любови Дроновой, „явление, исторически оправданное, отражающее, вероятно, этап развития этноса, связанный с процессом имущественного расслоения общества, формированием частной собственности [...] когда обязательства, долг возникали как следствие проступка, причинения серьезного ущерба, как оборотная сторона владения / обладания”²³. В ходе анализа нами было установлено, что модальные экспликатеры *должен* и *turėti* в большинстве случаев зафиксированы при реализации коммуникативной стратегии *призыва к переменам*, тематической доминантой которой является требование серьезных изменений политического курса или методов решения назревших проблем. Ср.: „Мы должны изменить само государство, исполнительную и судебную власть” (Владимир Путин 2012); „Россия должна перестать быть аутсайдером мирового процесса, а напротив,

²² M. Martel *Political campaign debates: images, strategies, and tactics*, New York 1983, с. 62–63; J. S. Trent, R.V. Friedenberg, *Political campaign communication: Principles and practices*, New York 1983, с. 89–121.

²³ Л.П. Дронова, *Когнитивный аспект истории модальности необходимости*, [в:] *Модальность в языке и речи...*, с. 272.

стать образцом, «хэдлайнером» цивилизованного мира» (Михаил Прохоров 2012); „Šiandien, kalbėdami apie saugų gyvenimą, *turime galvoti ne tik apie karinį, bet ir apie energetinį, ekonominį, informacinį, socialinį, finansinį ir upač apie kibernetinį saugumą*” (Dalia Grybauskaitė).

Особая манипулятивность модального модификатора *должен*²⁴ определяет его функционирование также в качестве актуализатора ведущей стратегии российской политической коммуникации, описывающей речевые действия коммуникантов с точки зрения их отношения к предыдущим / следующим речевым действиям политического соперника – *стратегии атаки*, что усиливает агрессивную направленность аргументов коммуниканта против позиций личности или кампании его оппонента. Ср.: „Россия *должна оставаться* активным участником глобальной борьбы с международным терроризмом. Я убежден в необходимости переноса акцента с преимущественно военных мер на организационно-политические меры. Они *должны быть направлены* на устранение питательной среды терроризма” (Сергей Миронов 2012); „ЛДПР уменьшит количество миллиардеров и мультимиллионеров в 20 раз. Доходы государства *должны равномерно распределяться* между его гражданами. Хочешь иметь много денег? Работай, а не воруй из бюджета страны” (Владимир Жириновский 2012); „Никаких дармоедов Россия больше *кормить не должна*” (Владимир Жириновский 2012). Литовские же политические лидеры по большей части исключают из арсенала средств борьбы за власть агрессивный прием атаки. Стремясь избежать конфликты в поликультурном обществе, они используют не нацеленную против речевых действий политического противника коммуникативную *стратегию продажи*, которая осуществляется преимущественно путем использования модального оператора *galėti*, эксплицирующего в исследуемом нами текстовом материале частное значение объективной возможности ‘иметь возможность выполнить действие’, связанное с внешними по отношению к субъекту условиями и объективными причинами, благодаря чему

²⁴ Этот факт, по-видимому, обусловлен тем, что среди компонентов, определяющих модальную семантику данного предикатива, отчетливо выделяется сема ‘долг’: согласно этимологическим данным *должен* восходит к слав. **dьlgъ*, который характеризуется исходной терминологичностью, изолированностью, функционально-семантическими особенностями. В текстах XII–XIII вв. др.-рус. *dьlgъ*, *долгъ* имеет значения ‘взятое или данное взаймы’, ‘задолженность’, ‘дань’, позднее, в текстах XV–XVI вв., употребляется и в значении ‘обязанность’. Производное *дължѣнь* продолжает и развивает оба эти значения – *дължѣнь* как ‘имеющий долги’, ‘платящий подать’ и ‘обязанный (что-л. делать)’, с XIII в. – ‘грешный’, ‘подобаящий, надлежащий’, с XV в. – ‘обязательный, неизбежный’ (*Словарь русского языка XI–XVII вв.*, Вып. 4, Москва 1977, с. 301–304).

аргументы выглядят в формально-смысловом плане нейтрально. Ср.: „Uždelsus ir laiku nepriėmus būtinų sprendimų, pasekmes *gali pajusti* [= имеют возможность ощутить – С.В., И.Л.] visos Europos Sąjungos šalys, tai yra 500 milijonų Europos piliečių” (Dalia Grybauskaitė 2013); „Prezidentas *gali įtakoti* [= имеет возможность влиять – С.В., И.Л.] viešojo gyvenimo standartus, taip pat atitinkamą kadrų politiką” (Valdemar Tomaševski 2009).

Важно также отметить, что в ходе анализа нами было установлено весьма регулярное употребление префиксального деривата модального глагола *мочь* – модификатора *смочь* ‘оказаться в состоянии сделать что-л.; получить возможность сделать что-л.’²⁵, основными эквивалентами которого в литовском языке выступают глаголы *pajėgti* ‘быть в силах, в состоянии; смочь/мочь’²⁶, *įstengti* ‘смочь/мочь; быть в состоянии, в силах’²⁷, *išgalėti* ‘быть в силах, в состоянии; смочь/мочь’²⁸. Однако в исследуемых литовских политических текстах указания на неблагоприятные условия, которые президенту (или кандидату в президенты) придется преодолевать, совершая определенное политическое действие, эксплицируются преимущественно глаголом *sugebėti* ‘суметь / уметь; быть способным’²⁹. Наличие в компонентной структуре указанных модальных операторов семы сверхнормативного приложения усилий определяет их функционирование при реализации коммуникативной *стратегии подчеркнутого оптимизма*: политик не может не обещать, что он сумеет обеспечить людям лучшее будущее. Ср.: „Каждый из вас будет обеспечен достойным жильем. Семьи с низкими доходами получают его бесплатно. Остальные *смогут приобретать* жилье в кредит по ставке не более 5% годовых” (Геннадий Зюганов); „Vyriausybė iš esmės apsisprendė dėl viso paketo svarbių energetikos projektų. Tačiau už šalies energetinę ateitį, atominės energetikos plėtrą atsakingos visos politinės jėgos. Todėl būtinas galutinis apsisprendimas ir platus politinis sutarimas, nes šiuos projektus įgyvendinti reikės kelioms politinėms kadencijoms. Reali politinė ir ekonominė nepriklausomybė ámanoma, tik jeigu pradėtus darbus *sugebėsime užbaigti* naudingai Lietuvai” (Dalia Grybauskaitė 2012).

Что же касается экспликаторов желательности *хотеть* и *norėti*, обладающих обобщенностью модального значения и достаточной

²⁵ *Словарь русского языка...*, т. 4, с. 159.

²⁶ A. Lyberis, op. cit., с. 502.

²⁷ Ibidem, с. 252.

²⁸ Ibidem, с. 263.

²⁹ Ibidem, с. 756.

прозрачностью внутренней формы, то они зафиксированы преимущественно при актуализации коммуникативной *стратегии выступления в защиту традиционных ценностей*. Характерная психологичность указанных модальных операторов в процессе провозглашения политиком нравственных устоев общества и семьи обеспечивает поддержку широкого круга избирателей, обеспокоенных ростом преступности в различных слоях общества и структурах власти. Ср.: „Мы выбираем настоящее будущее, так как *хотим жить* и быть счастливыми в своей стране, *хотим работать, строить, совершать* открытия и прорывы в науке и искусстве для ее блага” (Михаил Прохоров); „Susitvarkyti reikalus be kyšio bus įmanoma, tik jeigu patys *norėsime veikti* sąžiningai. Lietuvos daugumą sudaro sąžiningi ir kantriai dirbantys žmonės” (Dalia Grybauskaitė 2012).

Таким образом, проведенный анализ позволил, как нам представляется, выявить важную роль ситуативной модальности в построении важнейших конструктивных элементов русского и литовского политического текста с его стилистической неоднородностью и своеобразием авторских интенций. Кроме того, проведенный сопоставительный анализ позволяет установить общие типологические черты и специфические внутриязыковые особенности в характере функционирования ядерных модальных модификаторов, приобретающих в рамках политического текста отчетливый субъективно-оценочный характер. Так, центр микрополей ситуативной модальности образуют модальные операторы, характеризующиеся емкостью модальной семантики и высокой частотностью. В русском языке это предикатив *должен*, глаголы *мочь* и *хотеть*, в литовском языке – глаголы *turėti*, *galėti*, *norėti*. Идеоэтнические же особенности в функционировании модальных экспликатов ситуативной модальности связаны с наличием значительно большего числа реализаций в литовских текстах модального значения желательности, выражающего внутреннее состояние, чувства и переживания автора-политика, что определяет общее повышение субъективно-модальной тональности и снижение манипулятивного фона литовского политического текста. Данный факт, по всей видимости, можно объяснить этнокультурной традицией, основанной на принципах политической корректности и толерантности.

Streszczenie

*Tekstotwórcza rola wykładników modalności
w rosyjskim i litewskim dyskursie politycznym*

Na podstawie rosyjskich i litewskich prezydenckich programów, artykułów, przemówień przedwyborczych autorki wyróżniają centralne wykładniki modalności, potwierdzające ich rolę jako kluczowych komponentów tekstotwórczych w tekstach politycznych.

Summary

*Text function of explicators of situational modality in the Russian
and Lithuanian political discourse*

The central explicators of situational modality are revealed on the basis of the Russian and Lithuanian presidential election programs, articles and references. The analysis proves the role of situational modality as a key component of text generation in political texts.

Key words: modality, situational modality, explicators of situational modality, the Russian language, the Lithuanian language, political discourse.

Spis treści

Od Redaktora	3
--------------------	---

Literaturoznawstwo

Lucija Abdullina (Ust-Kamenogorsk), <i>О некоторых параллелях в польской и русской поэзии XIX–XX вв. (поэма Густава Зелинского „Киргиз” и русский перевод Георгия Гребениčkова)</i>	7
Daria Ambroziak (Opole), <i>Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich metuarystek XIX wieku</i>	17
Iwona Borys (Olsztyn), <i>Poeci i Róża: wiersze polskich poetów w tłumaczeniu Rozy Alimpijewej jako ilustracja koncepcji przekładu wo/man</i>	29
Ilona Dulisz (Olsztyn), <i>Wschodnie kontakty Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich (Łwów – Wilno – Białowieża)</i>	37
Elena Janczuk (Warszawa), <i>Советская действительность на страницах варшавской газеты российских эмигрантов „Меч”</i>	47
Monika Karwacka (Katowice), <i>Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova</i>	61
Anna Kościółek (Toruń), <i>Obraz Rosji mikołajowskiej w „Pamiętnikach” św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego</i>	71
Agnieszka Lenart (Lublin), <i>„Jeruzalaim de Lite”. Obraz Wilna w opowiadaniu Grigorija Kanowicza „Sen o Jeruzalem, którego już nie ma”</i>	87
Walentina Macapura (Połtawa), <i>Баллады Адама Мицкевича в художественной интерпретации Александра Пушкина</i>	99
Halina Mazurek (Katowice), <i>Konfrontacje rosyjsko-polskie w dramatach Gabrieli Zapolskiej</i>	111
Wioleta Nikitiuk-Perkowska (Białystok), <i>Паэзія Наталлі Арсеневай ваеннага часу</i>	119
Grzegorz Ojcewicz (Szczytно), <i>Słońce w kaftanie bezpieczeństwa, czyli najkrótsza historia misji Chrystusa (na przykładzie „Na wielkiej głębokości...” Borysa Popławskiego)</i>	133
Irena Rudziewicz (Olsztyn), <i>Польша в жизни и творчестве Наталлии Горбаневской</i>	145
Izabella Siemianowska (Olsztyn), <i>Obraz emigracji rosyjskiej w twórczości Władimira Maksimowa</i>	155

Językoznawstwo

Roza Alimpijewa, Swietlana Babulewicz (Kaliningrad), <i>Аксиологическая значимость авторской модальности в поэтических текстах Сергея Есенина</i>	171
--	-----

Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler (Warszawa), <i>Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia</i>	179
Magdalena Dąbrowska (Warszawa), <i>Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku)</i>	191
Marcin Dziwisz (Lublin), <i>Zjawisko „wędrowki neologizmów” między tekstami z kręgu literatury fantasy jako wyzwanie dla tłumacza (na materiale przekładów utworów J.R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego na języki polski i rosyjski)</i>	207
Tatiana Kwiatkowska (Katowice), <i>Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim: paralele i różnice</i>	217
Maryna Michaluk (Białystok), <i>Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zjawisko dearchaizacji</i>	231
Joanna Olechno-Wasiluk (Olsztyn), <i>Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego</i>	243
Siergiej Preobrazhenski (Moskwa), <i>Логосд адоний: славянский ритмико-синтаксический инвариант</i>	251
Anna Rygorowicz-Kuźma (Białystok), <i>Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach ogólnych</i>	261
Swietlana Waulina, Inga Lashkova (Kaliningrad), <i>Текстовая функция экспликаторов ситуативной модальности в русском и литовском политическом дискурсе</i>	273

Spis treści

From the Editor	3
-----------------------	---

Study od Literature

Lucija Abdullina (Ust-Kamenogorsk), <i>Parallels in the Polish and Kazakhstan Russian-speaking poetry of the XIX–XX centuries: G. Zelinsky and G. Grebenshchikov</i>	7
Daria Ambroziak (Opole), <i>Mickiewicz and other Poles through the eyes of the nineteenth century Russian women memoirists</i>	17
Iwona Borys (Olsztyn), <i>Poets and Rose: Polish poems translated into Russian by Rosa Alimpieva</i>	29
Iłona Dulisz (Olsztyn), <i>Eastern contacts of Feliks and Rudolf Nowowiejski (Lviv – Vilnius – Białowieża)</i>	37
Elena Janczuk (Warszawa), <i>Soviet realities by the Warsaw Russian emigrants' weekly "Mech"</i>	47
Monika Karwacka (Katowice), <i>Polish researches on literary criticism of Vladimir Nabokov</i>	61
Anna Kościółek (Toruń), <i>The image of Nicholas Russia in the „Memoirs” of saint Zygmunt Szczęśny Feliński</i>	71
Agnieszka Lenart (Lublin), <i>„Yerushalayim de Lite”. Image of Vilnius in the story of Grigory Kanovich “Dream of Jerusalem, which no longer exists”</i>	87
Walentina Macapura (Połtawa), <i>Ballads by Adam Mickiewicz in Alexander Pushkin's artistic interpretation</i>	99
Halina Mazurek (Katowice), <i>Russian-Polish confrontations in the dramas of Gabriela Zapolska</i>	111
Wioleta Nikitiuk-Perkowska (Białystok), <i>The wartime poetry of Natalia Arsienniewa</i>	119
Grzegorz Ojcewicz (Szcztytno), <i>The sun in a strait jacket or the shortest history of Christ's mission (by the example of “At Great Depth...” by Boris Poplavsky)</i> ...	133
Irena Rudziewicz (Olsztyn), <i>Poland in Natalya Gorbanevskaya's life and literary output</i>	145
Izabella Siemianowska (Olsztyn), <i>The picture of Russian emigration in Vladimir Maximov's literary output</i>	155

Linguistics

Roza Alimpijewa, Swietłana Babulewicz (Kaliningrad), <i>Axiological value of the author modality in S. Esenin's poetic texts</i>	171
Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler (Warszawa), <i>The changes in glottodidactics workshops in the process of teaching Russian as a foreign language at bachelor's degree in Russian philology</i>	179

Magdalena Dąbrowska (Warszawa), <i>Samuel Bogumił Linde and the Russian culture and science (on the basis of the periodicals in the early 19th century)</i>	191
Marcin Dziwisz (Lublin), <i>Phenomenon of “neologisms hike” among texts of fantasy literature as a challenge for translator (based on the material of translated poems of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski into Polish and Russian)</i>	207
Tatiana Kwiatkowska (Katowice), <i>Grammatical category of gender for borrowings in Polish and Russian: parallels and differences</i>	217
Maryna Michaluk (Białystok), <i>Changes within socio-political lexis of the modern Russian language: The phenomenon of dearchaization</i>	231
Joanna Olechno-Wasiluk (Olsztyn), <i>Phraseological competence and its impact on the intercultural competence in students of Russian studies</i>	243
Siergiej Preobrazhenski (Moskwa), <i>Logoaedic adonic verse: the Slavonic rhythmical and syntactic invariant</i>	251
Anna Rygorowicz-Kuźma (Białystok), <i>Orthodox terminology in the Russian-Polish general dictionaries</i>	261
Swietlana Waulina, Inga Lashkova (Kaliningrad), <i>Text function of explicators of situational modality in the Russian and Lithuanian political discourse</i>	273